

Куп
буки

Или
на
своде

Куп
бумаг

Восстановление
управления

Зоране
приветствие

в духе

твоем

Куп
бухгалтер

Или
на
своём
раскрась

Москва XPOCOC 1992

ВНИМАНИЕ !

Издательство «Хронос» доводит до сведения всех заинтересованных лиц и организаций, что обладает исключительными правами на издание произведений Кира Булычева (И.В.Можейко) на всей территории Российской Федерации и стран Содружества. Литературное агентство издательства осуществляет охрану прав автора и уполномочено вести переговоры от его имени.

Булычев Кир

Б90 Избранное: В 2 т. Т. 2: Тиран на свободе. — М.: „Хронос“, 1992. — 320 с.

ИСТОРИЯ И ФАНТАСТИКА

Существует, как известно, миг настоящего. Все, что было раньше,— история. Все, что будет потом,— фантастика.

Миг настоящего несется в потоке времени. История все время удлиняется, будущее, если оно не бесконечно, сокращается.

История человечества состоит из множества индивидуальных историй. История каждого человека подчиняется тому же правилу. Только мы с вами, если не отягощены манией величия, знаем, что наше собственное земное будущее конечно.

Человеку свойственно оборачиваться назад и рассматривать свою жизнь. То, чем он в ней недоволен, легче забывается или искажается спасительным беспамятством. Так что *объективное прошлое* и *прошлое* далеко не однозначны.

Свойственное личности свойственно человечеству. Совершенно точной, объективной истории, даже в документах, не существует. Она постоянно забывается, исправляется, домысливается, искажается. Обращаясь к прошлому, мы видим более-менее фантастическую картину.

Отсюда близость истории и фантастики.

Во-первых, они всегда части одного процесса — временного.

Во-вторых, обе они изучают человека на фоне вымышленного пейзажа.

Фантастика не только глядит в будущее, хотя именно интерес к будущему питает в значительной мере интерес к фантастике.

Истинная фантастика всегда отталкивается от современности, от мига настоящего. Она отвечает на сегодняшние вопросы читателя, но большей частью рассматривает их в

перспективе. Если мы боимся сегодня атомной войны, то читаем в фантастическом романе о ней, как о свершившемся ужасе. Если мы со страхом смотрим на гибель природы, то в фантастическом рассказе мы прочтем о планете, где природа, погубленная человеком, убивает за это его самого.

Фантастика — предупреждает. История — учит.

Тысячу лет назад люди были не глупее нас, но они не могли угрожать существованию мира и самих себя. Однако они могли уничтожить себе подобных с не меньшей жестокостью, чем наши современники. Фантаст может обратиться к истории, когда ищет социальную аналогию, урок, который могут понять читатели. Но делает он это с целью предупредить людей от повторения и усугубления ошибок и преступлений прошлого.

Но и история, и фантастика в области художественного творчества должны быть современны.

Наиболее известные и удачные исторические романы близки к романам фантастическим, разумеется, к наиболее значительным. В обоих случаях мы имеем дело с реальными людьми, нашими современниками, существующими в гипотетической обстановке. Читателю в самом деле интересен только он сам. Писатель, который уделяет особенное внимание воссозданию реалий прошлого, заставляет персонажей говорить именно так, как говорили тысячу лет назад, либо мыслить по тем же правилам, обречен на провал. И «Петр I» Алексея Толстого, и «Три мушкетера» Александра Дюма с точки зрения строгой истории полны ошибок. Но они — о людях. Быт марсиан в «Войне миров» Уэллса либо местоположение Города в «Граде обреченных» Стругацких не важны. Важны наши, современные проблемы.

Попытки соединения истории и фантастики в литературе многочисленны. Они прослеживаются в двух направлениях: первое — это встреча современного героя с прошлым (для чего и изобретена была машина времени, некогда отправленная Уэллсом в будущее, но вскоре научившаяся двигаться в обратном направлении); второе — переосмысление истории.

В первом направлении сделано немало. В нашей литературе известна «Плутония» В. Обручева, в англоязычной — романы Дж. Финнея «Между двух миров» и Г. Гаррисона «Машина времени в цвете» (из тех, что переводились у нас).

К переосмыслению историй обращались чаще всего не фантасты, а сатирики. Замечательный тому пример «Исто-

рия», написанная знаменитыми в начале века авторами журнала «Сатирикон» А. Аверченко и его коллегами. Именно эти авторы осознали, что историческая притча, прочитанная современно, оставаясь в русле истории, начинает звучать не столько фантастично, сколько актуально.

Я помню версию мифа о Минотавре, в которой Тезей, когда захопнулась за ним дверь в лабиринт, подумал: ну, пойду я к Минотавру, ну, убьет он меня... кому от этого будет польза? Поэтому Тезей просидел некоторое время у двери, затем начал в нее стучать и кричать: «Открывайте, я убил Минотавра!» Его выпустили и стали спрашивать: «А где доказательства?» «Идите и сами проверьте?», — грубо ответил молодой герой. Никто не осмелился пойти проверить. А Минотавр ждал девушек, ждал, не дождался — и помер от голода.

В наши дни фантастическая литература обогатилась «альтернативными» романами и повестями. В них делается допущение, что то или иное известное историческое событие происходило вовсе не так, как принято считать. В романе Лена Дайтона «СС—ВБ» («СС — Великобритания») рассказывается о том, как фашисты во время второй мировой войны оккупировали Англию. Действие происходит через несколько лет после победы Германии, и герои романа включаются в сопротивление фашизму. Роман весьма современен, и его антифашизм весьма актуален в наши дни. Есть романы, в которых Наполеон победил при Ватерлоо, Александр Македонский добрался до Америки и так далее... Некоторые из них написаны, чтобы развлечь читателя, другие потому, что автор именно таким образом намеревался обратить внимание читателя на наши сегодняшние проблемы.

Нередко, когда я встречаюсь с читателями, мне задают вопрос: «Как связана ваша специальность историка с вашей литературной работой фантаста?» Раньше я уверенно отвечал, что прямой связи искать нельзя: история — это строгая наука, несмотря на то, что далеко не все ее таковой считают. Фантастика для меня — совершенно иная сфера деятельности.

Но недавно, просматривая свои рассказы, опубликованные в газетах и журналах, я обратил внимание, что на самом деле я не раз обращался к истории, ставя перед собой задачи литературные. Особенно в последние годы, когда само развитие нашего общества вызвало явные аналогии с некоторыми событиями прошлых эпох и прямо напрашивалось на сравнение.

Я обнаружил, что таких «псевдоисторических» рассказов у меня накопилось более двух дюжин. И так как они в той или иной степени обращаются к материалу различных исторических эпох, то при хронологическом их расположении получается более-менее связанная альтернативная история Земли, вернее иллюстрации к таковой.

И тогда я решил собрать такие рассказы в один сборник.

И представить его на суд читателей.

Но понял, что не могу этим ограничиться.

Ведь если сегодня история кончается сегодня, то завтра она окончится завтра. А послезавтра ее продолжительность вырастет еще на день. Как фантаст я имею моральное право отправиться вслед за историей в наше будущее, то есть дополнить историю альтернативную историей гипотетической, однако тесно связанной с сегодняшним днем.

Что я и сделал.

Поэтому настоящая книга состоит из двух разделов: «Возможное прошлое» (от весьма отдаленного до близкого) и «Невозможное будущее», которое начинается сегодня и кончается с концом человеческого бытия на Земле.

Расположив рассказы по порядку, я вдруг понял, что они весьма различны стилистически. И неудивительно — написаны они в разные годы и с разными целями — порой мне хотелось говорить с читателем серьезно, порой хотелось пошутить. Но я себя утешаю тем, что история также весьма неравномерно устроена. Она бывает трагичной и комичной.

И комедия зачастую с трагедией соседствует. «Поручик Киже» Ю. Тынянова (тоже ведь историко-фантастическая повесть) отлично раскрывает соседство трагического и смешного в эпоху Павла I. Был в нашей истории Иван Грозный, был Сталин, но можно вспомнить и то, как Хрущев стучал башмаком в ООН или Брежнев получал премии по литературе.

Так что я решил оставить в этой книге рассказы веселые рядом с рассказами печальными.

Итак, вы раскрываете историю Человечества от зарождения жизни на Земле до ее последнего дня. Историю вполне фантастическую. Так что по примеру иных писателей прошу учесть, что все географические названия и даже события в этой книге вымышлены и любое совпадение имен моих героев с именами ныне живущих или когда-либо живших людей — чистая случайность.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ВОЗМОЖНОЕ ПРОШЛОЕ

КОСМИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

Было это в августе, в субботу, в жаркий ветренный день. Николай Ложкин, пенсионер, уговорил своих соседей — профессора Минца Льва Христофоровича и Корнелия Удалова — провести этот день на озере Копенгаген, отдохнуть от городской суеты, от семьи и работы.

Озеро Копенгаген лежит в двадцати километрах от города, туда надо добираться автобусом, потом пешком по тропинке, через смешанный лес.

Название озера объясняется просто. Когда-то там стояла усадьба помещика Гуля (Гулькина), большого англо-мана, который полагал, что Копенгаген — английский адмирал. Название прижилось из-за странного для окрестных жителей звучания.

Корнелий Удалов притащил с собой удочки, чтобы порыбачить: профессор Минц — чемоданчик со складной лабораторией, хотел взять воду на пробу, задумал разводить в озере мидий для народного хозяйства. Николай Ложкин желал загорать по системе йогов. Для начала они выбрали место в тени, под коренастой сосной, устроили там лагерь — расстелили одеяло, положили на него припасы, перекусили и завели разговор о разных проблемах. На озере

был и еще кое-какой народ, но из-за жары никто рыбу не ловил, отдыхали.

— Давно не было событий,— сказал Удалов. Он разделся, остался в синих плавках с цветочком сбоку и в газетной треуголке, чтобы не обжечь солнцем лысину.

— Обязательно будут события,— сказал старик Ложкин.— Погода стоит хорошая. Такого в наших местах не наблюдалось с 1878 года.— Для наглядности он нарисовал дату на песке, протянул стрелочку и написал рядом другую — 1978.— Столетие.

В этот момент над ними показался космический корабль. Он беззвучно завис над озером, словно облетел всю Галактику в поисках столь красивого озера, а теперь не мог налюбоваться.

— Глядите,— сказал Удалов.— Космические пришельцы.

— Я же говорил,— сказал Ложкин.

— Такие к нам еще не прилетали,— сказал Удалов, поднимаясь и сдвигая назад газетную треуголку. Вид у него был серьезный.

Профессор Минц, который еще не раздевался, лишь ослабил галстук, также встал на ноги и расставил пальцы на определенном расстоянии от глаз, чтобы определить размеры корабля.

— Таких еще не видели,— подтвердил Ложкин.— Это что-то новенькое.

— Издалека летел,— сказал профессор Минц, закончив измерения.— Пю-мезонные ускорители совсем износились.

Удалов с Ложкиным пригляделись и согласились с Минцем. Пю-мезонные ускорители требовали ремонта.

Корабль медленно снижался, продвигаясь к берегу, и наконец завис над самой кромкой воды, бросив тень на песок.

— Скоро высадку начнут,— сказал Удалов.

«Да,— подумал Ложкин.— Сейчас откроется люк и на песок сойдет неизвестная цивилизация. Вернее всего, она дружелюбная, но не исключено, что могла пожаловать злобная и чуждая нам космическая сила с целью покорения Земли. А ведь никаких действий не предпримешь. До города двадцать километров, к тому же автобус ходит редко».

Из корабля выдвинулись многочисленные щупы и анализаторы.

— Измеряют условия,— сказал Удалов.

Минц только кивнул. Это было ясно без слов.

Анализаторы спрятались.

И тут случилось неожиданное.

Открылся другой люк снизу. Вместо космонавтов на берег, словно из силосной башни, вывалился ком зеленой массы, похожий на консервированный шпинат, такие консервы были недавно в гастрономе и шли на приготовление супа. Люк тут же захлопнулся. Зеленая масса расползлась по песку густым киселем и приближалась к воде. Корабль взвился вверх и исчез.

— Похоже,— сказал Минц,— на водную цивилизацию.

Ложкин, который уже про себя отрепетировал приветственное слово, так как обладал жизненным опытом и опытом общественной работы, молчал. Зеленая масса не имела никаких органов, к которым можно обратиться с речью. Поэтому Ложкин сказал шепотом, чтобы кисельный пришелец не подслушал:

— Хулиганство в некотором роде. Все озеро загадит, а люди купаются.

— Купаться пока не придется,— сказал Корнелий Удалов.— Возможно, у пришельца нежные части и можно их повредить.

— Плесень он, а не пришелец,— пришел к окончательному выводу Ложкин.

— Может, он радиоактивный?— спросил Удалов.

— Сейчас проверим.— Минц раскрыл чемоданчик, в котором находились складной микроскоп, спектрограф, счетчик Гейгера, пробирки, химикалии и другие приборы.

Старик Ложкин, проникшись недоверием к зеленому пришельцу, который уже частично вполз в воду и расплывался по ее поверхности зеленой пленкой, достал химический карандаш и на листе фанеры написал печатными буквами:

Купаться,
ловить рыбу,
стирать белье
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
ОПАСНО!

Потом он прикрепил фанеру к сосновому стволу, и люди, сходящиеся к месту происшествия с других участков берега, останавливались перед объявлением и читали его.

Минц спустился к воде и нагнулся над зеленой жижей. Счетчик радиации молчал, что было утешительно.

— А не исключено,— сказал он Удалову, который стоял над ним, страховал сзади,— что это — космический десант.

— Жалко,— сказал Удалов.— Я всегда стою за дружбу между космическими цивилизациями.

— Если эта зеленая плесень начнет быстро размножаться, покроет слоем всю нашу планету, то инопланетным агрессорам нетрудно будет взять нас голыми руками.

— Можно попроще способ придумать,— сказал Удалов.

— Что мы знаем об их психологии?— спросил Минц.— А сами они всегда так покоряют чужие планеты?

Один из посторонних посетителей сказал:

— Поеду домой. Мне с огорода надо помидоры снять. А то эти пришельцы все потравят.

За ним последовали некоторые другие из купальщиков и рыбаков. Но основная масса осталась, потому что для среднего горожанина нет большего удовольствия, чем встреча с неведомым, прикосновение к тайнам космоса.

— Теперь,— заявил профессор Минц,— надо исследовать поведение плесени в водной среде.

Он начал брать пробы и смотреть на пришельца в микроскоп.

Удалов тоже не терял времени даром. Он сначала нарисовал в воздухе круг и треугольник, взывая в общем для всех разумных существ знанию геометрии, а затем достал из-под сосны свои брюки, чтобы наглядно объяснить пришельцу теорему Пифагора о штанах. Плесень не обратила внимания на усилия Удалова, но тут были опубликованы выводы Минца.

— Совершенно безопасная субстанция,— сказал профессор.— Микроскопические водоросли, примитивные организмы, встречаются на Земле. Разумом не отличаются.

— Это еще не факт,— возразил Удалов, но штанами

махать перестал, а надел их на место.— Может, если сложить их вместе, получится коллективный разум.

— Если даже целое поле капусты сложить вместе, получится большая куча капусты, но никакого разума,— сказал Минц.

— А если она размножится и покорит Землю?— спросил Ложкин.— Вы же сами предупреждали, Лев Христофорович?

— У нее было много времени, чтобы это сделать в далеком прошлом,— сказал Минц.— Миллиарды лет эта водоросль обитает на Земле.

— Она рыбу всю поморит,— высказал предположение молодой человек в тельняшке.

— Рыба ее уже кушает,— сказал Минц.

Так рухнула теория о космическом десанте, пропала втуне заготовленная Ложкиным речь и провалились усилия Удалова по поводу теоремы Пифагора. Минц свое дело знал. Если он сказал, что космический корабль вывалил на берег озера Копенгаген просто кучу мелких водорослей, так оно и есть.

Разочарованные зрители разошлись по берегу, а Минц с соседями сел под сосну у запретительной надписи и стал думать, что бы это значило. Не может быть, чтобы из космоса прислали корабль только для того, чтобы привезти кучу водорослей.

Водоросли, оставшиеся на берегу, быстро сохли под солнцем, чернели, впитывались в песок.

— Нам поставили логическую загадку,— сказал Удалов.— Нас испытывают. Испугаемся мы или нет.

— А если наблюдают?— спросил Ложкин.

— Сами наблюдают.

Минц поднялся и пошел по берегу, чтобы определить границы выпадения водорослей. Озеро жило своей жизнью, тихой субботней жизнью, и ничто не напоминало о недавнем визите космического корабля. Минц споткнулся обо что-то твердое. Полагая, что это камень, он ударил по препятствию, но препятствие не поддавалось, зато Минц, который был в легких сандалиях, ссадил большой палец ноги.

— Ой! — сказал он.

Удалов уже спешил к нему на помощь.

— Что такое?

— Камень,— сказал Минц.— Он водорослями покрыт.

Интуиция подсказала Удалову, что это не камень. Он быстро опустился на корточки, разгреб водоросли, еще влажные и липкие. И его старания были вознаграждены. Небольшой золотистый цилиндр, верхняя часть которого выступала из песка, медленно ввинчиваясь, уползал вглубь.

— А вот и пришелец,— сказал Удалов, по-собачьи разгребая обеими руками песок, чтобы извлечь цилиндр.

Цилиндр был невелик, но тяжел. Минц живо достал из чемоданчика ультракоротковолновый приемник, который оказался там только потому, что в чемоданчике было все, что могло пригодиться, настроил его и сказал:

— Так я и думал. Цилиндр издает сигнал на постоянной волне.

— И на нем что-то написано,— сказал Удалов.

И вправду, на нем было что-то написано.

— А он развинчивается,— сказал Удалов.

Цилиндр развинтили. Внутри обнаружили свернутый в трубочку свиток металлической фольги с такими же буквами, как и на его оболочке.

— Похоже на эсперанто,— сказал Минц, разглядывая текст.— Только другой язык. И неизвестная мне графика. Но ничего, окончания и префиксы просматриваются, знаки препинания угадываются, структура проста. Дайте мне десять минут, и я, как и любой лингвистический гений на моем месте, прочту этот текст.

— Вот и хорошо,— сказал Удалов.— А я побегу колбасу порежу и пиво открою.

Удалов приготовил пищу, Минцу тоже дали бутерброд, и через десять минут расшифровка была закончена, ибо Минц использовал в своей работе опыт Шампольона—Кнорозова и других великолепных мастеров, специалистов по клинописи и письменности майя.

— Внимание,— сказал Минц.— Если вы заинтересованы, я прочту перевод космического послания. Оно не лишено интереса.— Минц тихо хихикнул.— Сначала надпись на цилиндре: «Вскрыть через четыре миллиарда лет».

— Чего?— спросил Ложкин.

— За точность перевода ручаюсь.

— Тогда зря мы это сделали,— сказал Удалов.— Они надеялись, а мы нарушили.

— Мне столько не прожить,— сказал Ложкин.— Поэтому раскаиваться нечего. Кроме того, мы сначала вскрыли, а потом уже прочли запрещение.

— А теперь текст,— продолжал Минц.— «Дорогие жители планеты, названия которой еще не придумано...»

— Как так?— удивился Ложкин.— Наша планета уже называется.

— И это в космосе многим известно,— поддержал его Удалов.

Минц переждал возражения и продолжал:

— «Сегодня минуло четыре миллиарда лет с того дня, как автоматический корабль-сеялка с нашей планеты Прекрупидан совершил незаметный, но принципиальный шаг в вашей эволюции. Будучи адептами теории и практики панспермии, мы рассылаем во все концы Галактики корабли, груженные примитивной формой жизни — водорослями. Попадая на ненаселенную планету, они развиваются, так как являются простейшими и неприхотливыми живыми существами. Через много миллионов лет они дадут начало более сложным существам, затем появятся динозавры и мастодонты, и наконец наступит тот счастливый в жизни любой планеты день, когда обезьяночеловек возьмет в лапы палку и начнет произносить отдельные слова. Затем он построит себе дом и изобретет радио. Знайте же, что вы, наши отдаленные во времени-пространстве родственники по эволюции, изобрели радио и поймали сигнал нашей капсулы, захороненной четыре миллиарда лет назад на берегу необитаемого и пустынного озера, потому что мы засеяли его воду примитивными водорослями. Мы не оставляем нашего обратного адреса — срок слишком велик. Мы подарили вашей планете жизнь и создали вас совершенно бескорыстно. Если вы нашли капсулу и прочли послание — значит, наша цель достигнута. Скажите нам спасибо. Счастливой эволюции, друзья!»

— Вот и все,— сказал Минц, не скрывая некоторой грусти.— Они немного опоздали.

— Я же говорил, что они разумные, — сказал Удалов. — И никакой враждебности.

Удалов верил в космическую дружбу, и записка в цилиндре лишь укрепила его в этой уверенности.

Микроскопические водоросли плавали по озеру, и их ели караси. Но Ложкин вдруг закручинился.

— Ты чего? — спросил Удалов. — Чем недоволен? Адреса нету? Адрес мы узнаем. Слетаем к ним, вместе посмеемся.

— Я не об адресе, — сказал Ложкин. — Я думаю, может, поискать еще одну капсулу.

— Какую еще?

— Ну ту самую, которую кто-то оставил на Земле четыре миллиарда лет назад.

КРАСНЫЙ ОЛЕНЬ — БЕЛЫЙ ОЛЕНЬ

В сумерках Лунин пристал к берегу, чтобы переночевать. Место было удачное — высокий берег, поросший поверху старыми деревьями. Под обрывом тянулась широкая полоса песка, утрамбованного у воды и мягкого, рассыпчатого, прогретого солнцем ближе к обрыву. Кое-где на песке лежали стволы свалившихся сверху деревьев — река постепенно размывала высокий берег. Лунин привязал катер к черному, корявому, ушедшему корнями в воду пню. Катер легонько мотало на мелкой волне. Палатку он решил разбить наверху. Там не будут досаждают москиты — снизу было видно, как гнутся от ветра вершины деревьев.

Лунин приторочил палатку на спину и начал подъем. Обрыв был сложен из рыхлого песчаника и слежавшегося, но предательски непрочного кварцевого песка. Лунин цеплялся за корни и колючие кусты, которые поддавались с неожиданной легкостью, и приходилось прижиматься всем телом к обрыву, чтобы не сползти обратно.

Никто не мешал Лунину остаться внизу и переночевать в катере, но Лунин предвкушал час отдыха, неспешных размышлений и воображаемой разборки сегодняшних трофеев. Трофеи остались на катере, но Лунин знал их наизусть. Да и не находки важны сейчас, а связанная с ними возможность подтверждения идей, которые еще не успели отстояться и стать теорией.

Наверху дул свежий, набиравший силу над зеркалом реки ветер. Дальний берег уже утонул во мгле. Ветер разгонял москитов. Поставив палатку и перекусив, Лунин уселся спиной к корявому стволу, свесил ноги с обрыва.

Где-то неподалеку перекликались птицы. Треснул сук. Лунин слышал голоса леса, но они не мешали ему. Он знал, что в случае опасности успеет одним прыжком достигнуть палатки и включить силовое поле. Лунин нагнулся и поглядел на катер. Тот тоже в безопасности. Катер казался сверху маленьким, словно жучок, прибитый к берегу волной. Лунин почувствовал приближение приступа одиночества, преследовавшего, как болезнь. Здесь не было своих. Только чужие. Лунин был чужим. И геологи, которые тоже где-то в тысяче километров отсюда разбили сейчас палатки и сидят около них, прислушиваясь к звукам леса или степи. И ботаник тоже ночует где-то. Один.

Лунин поглядел вверх. Словно знал, что именно сейчас Станция пролетает над ним. Станция была яркой звездочкой. Но не более как звездочкой. Можно заглянуть в палатку и вызвать Станцию. И спросить, например, какая здесь завтра будет погода. Ответят, пожелают спокойной ночи. Диспетчеру скучно. Он геолог. Или геофизик. Ему кажется — планета так интересна и богата, что ему некогда будет почувствовать свое одиночество. Может, он прав. Наверно, Лунин исключение.

Эта планета могла быть другой. Совсем другой. Может быть, из-за сознания того, что Лунин нечаянно овладел ее невеселым секретом, он и мучился одиночеством.

На Станции он единственный палеонтолог. Сначала он работал вместе с партией геологов. Потом оставил их. Все равно он мог лишь угадывать, чего ждать, вести самую предварительную разведку. Не более. Искать планомерно, делать открытия, подготовленные временем, предстояло другим. На долю Лунина оставались случайности и догадки. Одна из случайностей произошла вчера. Вторая сегодня утром.

Утром он нашел вторую стоянку. Она оказалась не старше, чем вчерашняя...

— Ух,— послышалось в кустах. Такое «ух» могло значить лишь одно — сигнал к нападению. Лунин метнулся к палатке, успев подумать, что плуги, к счастью, никогда не нападают молча. Всегда оставляют тебе секунду на размышление. Правда, не более секунды.

Он не успел спрятаться в палатке. Плуги бросились к

нему из-за стволов и сверху, с вершин деревьев. Падая под тяжестью горячей шерсти, Лунин дотянулся до кнопки силовой защиты, и поле придавило к земле ноги чуть ниже колен. Он рванул ноги, стараясь поджать их, но это оказалось трудно сделать — не столько из-за поля, сколько потому, что один из плугов успел вцепиться лапой в башмак и тянул к себе. Остальные — трое или четверо — бились о невидимую стенку, отделявшую их от Лунина.

В полумраке было видно, как светятся красным их слишком большие по земным меркам глаза. Оттого выражение яростных морд казалось двусмысленным — глаза никак не вязались с оскалом клыков и морщинами, топорщившими редкую шерсть на низком покатом лбу. В глазах виделись удивление, растерянность и даже жалоба. Но плуги лишены жалости и милосердия. Они непобедимые и мрачные хищники, господа ночи. Величина и форма глаз — необходимость. Они видят почти в полной темноте.

Башмак остался в лапе плуга, и тот сразу вгрызся в него, но насладиться добычей не успел. Другой плуг, покрупнее, преисполнился зависти. И плуги забыли о Луине. Он знал, что забыли ненадолго — вернутся. Но пока они рвали башмак.

Лунин устроился у входа в палатку и нашарил сзади себя кинокамеру. Луч света, вышедший из нее, обозначил лишь черный громадный ком, шевелящийся, словно рой пчел, — плуги дрались. И тогда из-за дерева вышел крупный матерый самец. Он шел на задних лапах и ставил их уверенно и прочно. Он не смотрел на пустую драку: его интересовала добыча покрупнее — палатка и человек в ней.

Плут не обращал внимания на свет — лишь зрачки сузились до ниточек, и Лунин, глядя на него сквозь видискатель камеры и поджимая разутую ногу, невольно улыбнулся. (Когда первые фотографии этих гигантских обезьян прибыли на Станцию, доктор Павлыш с «Космоса» сказал совершенно серьезно: «Там побывал Густав Плуг». Густава Плуга знали многие. Он был главным врачом на Земле-14 и отличался ангельским характером, умением отыскивать болезни у самых на вид здоровых космонавтов и устрашающей внешностью. Он был похож на черную

гориллу. Только в очках. Тогда-то Павлыш и нарисовал на фотографии очки, и питеков назвали плугами.)

— Здравствуйте, доктор Плуг,— сказал Лунин медленно подходившему зверю.— Я кажусь легкой добычей? Со мной можно поступать по законам джунглей? Ну так постарайтесь вообразить, что и я могу вас съесть...

На мгновение Лунину показалось, что силовое поле может отказать. Он даже вытащил из-под себя босую ногу и ткнул ею вперед. Нога уперлась в преграду. Тут же Лунин подумал, что завтра придется слетать на Станцию. Босиком здесь долго не проходишь.

Вожак распластал лапы по невидимой стенке и прижал к ней морду. Он исходил злобой. Лунин внушал ему воспоминания. И именно поэтому Лунин сегодня относился к плугам без того интереса, с каким привыкший жить в поле исследователь относится к неразумной жизни вокруг. Сегодня Лунин испытывал некоторые весьма обоснованные подозрения. Подозрения внушили стоянки.

Всего их было пока две. Вчерашняя, в распадке, на склоне, где несколько неглубоких пещер смотрели на травянистую лужайку. В одной из пещерок Лунин обнаружил следы копоты, а на полу, под пометом летучих мышей, кухонные отбросы — разбитые кости, золу и осколки кремня. Часа через полтора, опомнившись и отдышавшись от возни с камерами и фиксаторами, Лунин вызвал Станцию и сообщил дежурному о находке. Говорил Лунин спокойно, буднично, и поэтому сначала дежурный не осознал значения его слов.

— Записываю координаты,— отвечал дежурный равнодушно, как по несколько раз на день отвечал различным группам, каждая из которых была уверена, что ее сегодняшнее открытие войдет в историю.— Палеолитическая стоянка... Предварительный анализ кухонных отбросов... восемьсот — девятьсот лет плюс-минус пять... Постой,— сказал тут дежурный.— Какие кухонные отбросы?

— Кости,— сказал Лунин.— Зола.

— Ты что хочешь сказать?..

— Сообщение принято? Продолжаю работу,— сказал Лунин и отключился, представляя себе, как суматоха, вызванная его сообщением, прокатывается волной по Стан-

ции, отрывает от срочной и недавно еще Самой Важной Работы физиков, астрономов, зоологов, перекидывается на планету и становится достоянием работающих внизу групп. «Послушай, ты знаешь, что Лунин нашел?»

Минут пять прошло спокойно. Лунин не заблуждался относительно этого спокойствия. Он сидел на валуне и ждал событий.

— Лунин,— сказал голос в рации.— Ты слышишь меня? Говорил Вологдин, шеф экспедиции.

— Слышу,— сказал Лунин, покусывая тонкую травинку.

— Ты не ошибся?

Лунин игнорировал такое предположение.

— Лунин, ты чего молчишь?

— Я уже послал сообщение.

— Но ты уверен?

— Да.

— Мы вышлем тебе группу?

— Пока не надо. Ничего особенного не произошло.

— Вот это да!

Лунин представил, как вся Станция стоит за спиной у шефа и слушает разговор.

— Послушай, Вологдин,— сказал Лунин.— Да, я нашел палеолитическую стоянку. Но не знаю, кто ее бывший хозяин. Стоянка по нашим масштабам свежая. Значит, если даже на планете есть разумные существа, они не вышли из состояния троплодитов. В ином случае мы отыскиали бы их уже давно.

— Но почему раньше никто не видел даже следов?

— А что мы знаем о планете? Работаем здесь всего третий месяц. И нас горстка.

— И все-таки планета уже вся заснята, и любое свидетельство...

— Они, наверно, живут в лесу.

— Может, это плуги?

— Не надейся. О плугах тебе расскажет Ли. Он за их стаей следил две недели. Жуткие звери, чуть поорганизованней горилл, зато вдесятеро злее и сильнее. Отлично обходятся без огня.

— Так ты справишься?

— Да. Можешь прислать капсулу. Я заложу в нее пленки. Сами посмотрите, своими глазами. Но ничего сенсационного не обещаю.

— Сейчас высылаем. Ты, по-моему, недооцениваешь значения открытия.

— Это даже не открытие. Я наткнулся на стоянку случайно. Но в любом случае пройду теперь вниз по реке. Может, еще что-нибудь увижу.

Капсулу за пленками прислали ровно через двадцать минут. Лунин к тому времени как раз перебрался на катер, чтобы пообедать. В капсуле обнаружилась записка от Володи Ли. Частного характера. «Послезавтра кончаю обработку темы. Могу присоединиться». На записку Лунин отвечать не стал. Сможет — прилетит.

В течение дня его еще раз десять вызывала Станция. Как будто Лунин нашел не следы палеолита, а по крайней мере город с железной дорогой. И через каждый час должен находить по новому городу.

Так и прошел день. И вот сегодня утром он обнаружил вторую стоянку. Может быть, он даже пропускал палеолит раньше. Не рассчитывал найти. Искал кайнозой, в одном месте наткнулся на триас. А на следы человека не смотрел. Теперь же глаза крутились, словно радарные установки. Нет ли скола на куске кремня? Не вход ли в пещеру — темное пятно на обрыве?

Стоянка оказалась небольшой, отбросов мало. Зато в яме, полузасыпанной песком, Лунин отыскал первый череп. И остатки скелета. Череп пришлось собирать по кусочкам — он был раздроблен сильными зубами хищника. А может, зубами сородичей. Стоянка принадлежала гуманоидам. Лунин оказался прав — они не имели никакого отношения к плугам. Вдвое ниже плугов, куда тоньше в кости, с покатым лбом и скошенным подбородком, они все же были куда ближе к разумным людям, чем черные обезьяны. Покружившись по стоянке, Лунин нашел еще несколько человеческих костей. И смог предположить, что жители ее подверглись нападению. Причем враги не только перебили, но сожрали обитателей стоянки.

Потратив несколько часов на сбор и фиксацию трофеев, на прием и отправку капсул, на разговоры с нахлынувшими

ми на катерах и флаерах визитерами, Лунин пошел дальше. Уже тогда у него появились некоторые подозрения, но проверить их он не мог. В этом поясе водились медведи и хищники, схожие с крупными волками. Ни те, ни другие не собирались, как установил Ли, в стаи. И вряд ли они могли перебить всех жителей стоянки, числом более десяти. Убить, разодрать буквально на мелкие клочки. Оставались плуги.

И вот теперь, сидя в палатке в одном ботинке и глядя на яростную, в пене, морду вожака-плуга, Лунин испытывал к нему почти ненависть.

Природа жестока к разуму. Еще не окрепнув, не научившись толком осознавать собственное потенциальное могущество, он оказывается среди сильных врагов, и борьба с ними все время нависает дамокловым мечом над самим существованием разумной жизни. Враги — и здесь, и на Земле — всегда зубастее и нахальнее, чем предки разумных существ. И нужно перехитрить их, спрятаться от них, выжить... хотя без сильных врагов тоже не станешь разумным.

А плуг все не желал отказываться от добычи. Лунину даже казалось уже, что плуг отождествляет его с троглодитами и относится к нему не только как к добыче, но и как к злейшему врагу, существу, с которым не поделишь власть на планете.

К вожаку присоединились остальные плуги, которые благополучно разделились с башмаком, и в конце концов, когда Лунину надоело глядеть в мохнатые, озлобленные морды, он дал ослепляющую вспышку, и плуги разбежались.

Заснуть сразу не удалось. Вызвал Володю Ли. Он, оказывается, уже закончил исследование царапин на костях людей. Следы соответствовали зубам плугов. Обвинение подтвердилось. И, засыпая наконец, Лунин понял, что положение его на этой планете изменилось. Он не только исследователь. Он должен стать и защитником. Наверно, людей здесь осталось не так уж много. Плуги оказались более опасными врагами, чем пещерные медведи для наших предков.

На следующий день пришлось вернуться на Станцию.

Из-за башмака. Показалось неудобным просить дежурного: «Пришли мне, голубчик, в капсуле правый башмак сорок второго размера, желательно черный. Мой плуги съели». Да и надо было посоветоваться с Ли и шефом и получить флаер хотя бы недели на две, чтобы обшарить на бреющем полете бассейн большой реки.

А потом Лунин с Ли три недели обследовали бассейн, возвращаясь на Станцию, чтобы разобрать материалы. И пытались опровергнуть выводы, к которым их толкали новые находки.

Плуги пришли сюда тысячи четыре лет назад. Совсем недавно. Может быть, с другого континента, где их видимо-невидимо. К тому времени первые люди на планете уже научились обкалывать камень и зажигать огонь. Люди не были готовы к войне с громадными обезьянами, организованными в яростные стаи, видящими ночью как днем, с такой толстой шкурой, что каменные наконечники копий не могли ее пробить. Разбросанные по лесу горстки людей становились одна за другой жертвами яростных нападений. Тысячу пятьсот лет, тысячу лет, восемьсот лет насчитывали покинутые и разоренные стоянки. Наконец, на берегу большого мелкого озера, среди торчащих, словно растопыренные пальцы, сизых скал Лунин нашел поле одной из последних, если не последней битвы. Здесь погибло более восьмидесяти людей. Тут же валялись и костяки плугов. Люди научились объединяться, но, видно, опоздали. Битва датировалась полутысячелетием назад. Плюс-минус десять лет. Поиски можно было прекращать. Ни одного человека на планете не осталось.

— Эх, поспешить бы,— сказал кто-то из физиков.— Мы бы их силовым полем прикрыли.

— Пятьсот лет назад?

— А может, еще в прошлом году последние здесь скрывались? Мы же не знаем.

— Вряд ли,— сказал Лунин.

— Я понимаю,— сказал физик.— И все-таки жалко младших братьев.

На следующий день Лунин вылетел на большую стоянку у обрыва, где из розоватого песчаника вывалились на берег речушки черные конкреции и ammonites высыва-

лись из обрыва, словно завитые рога горных баранов. Там была пещера, у которой тоже лет восемьсот назад шумела битва, наверно, короткая, ночная, как и все битвы, когда в свете костра у пещеры крутились, рычали плуги и, сопя, отмахиваясь от ударов копий, растаскивали камни, которыми люди завалили вход в пещеру.

Лунин осмотрел все закоулки пещеры, разыскивая следы долгой жизни, подобрал рыболовный крючок из согнутой и обточенной кости, нашел выдолбленный камень, куда с потолка пещеры капала вода. Второй, дальний ход в пещеру был широким, и солнце заливало плоский песчаный пол и гладкие стены. У одной из стен лежал обтесанный камень. Над ним были рисунки. Первые рисунки, найденные на планете. Лунин затаил дыхание, словно опасаясь, что от дуновения воздуха рисунки могут осыпаться, пропасть.

Кто-то выбрал эту стену, чтобы выразить на ней свое удивление перед миром, остановить движение, заколдовать его волшебной силой единства с этим миром и зарождающейся властью над ним. Там был нарисован медведь — горбатый, с неровными вертикальными полосками под брюхом, изображавшими длинную шерсть. Были смешные человечки — две палочки ножек, две палочки ручек. Человечки куда-то бежали. Была лодка и над ней солнце. Песчаник и мел надоумили художника (а может, он был и первым жрецом?) пользоваться разными красками. Солнце было красным, человечки белыми.

Лунин медленно передвигался вдоль стены, читая все новые рисунки. Черный плуг. Сутулый и оскаленный. Плуг был маленький. А рядом большой красный человек, который пронзил плуга копьем. Рисунок был неправдой. Искусство, еще не родившись толком, уже начало мечтать.

И у Лунина испортилось настроение.

Он вспомнил, что камера осталась во флаере и надо возвращаться туда.

Но перед тем как уйти, он выглянул наружу: нет ли там других рисунков? Рисунок был. Один. Плоская глыба, нависшая над стеной у входа, сохранила его от дождей. Рисунок был крупнее других, свободнее в линиях, будто

вне пределов пещеры художник мог отступить от канонов, рождающихся вместе с искусством.

Это был олень. Красный олень, нарисованный легко и небрежно, запечатленный памятью художника в момент прыжка.

Лунин бежал к флаеру. За камерой. У него даже закололо в сердце. Он свыкся с тем, что разум на этой планете погиб, только успев родиться. И сожаление по этому поводу, и даже раздражение против плугов были несколько абстрактными. В конце концов, перед ним был исторический факт.

А существование оленя, полет разрушили ход абстрактного мышления. Окончателность смерти разума стала трагедией, задевшей самого Лунина. И оттого родился страх перед возможной гибелью красного оленя. От землетрясения, дождя — черт знает от чего.

Он сказал только, включив на секунду рацию: «Нашел на скальные рисунки. Сниму, зафиксирую, потом выйду на связь. Ждите». Схватил камеру, консервант и поспешил обратно. Он шел быстро, но осторожно, стараясь не наступить на кости и осколки камней. И когда до второго выхода из пещеры оставалось несколько шагов, замер. Ему показалось, что там кто-то есть. Да, он теперь уже ясно слышал сопение. Лунин закинул камеру за плечи, положил ладонь на бластер, заряженный парализующими патронами. Сопение не смолкало. Будто маленький паровоз разводил пары под скалой. Лунин на носках дошел до края пещеры и выглянул.

Худшие его опасения оправдались. Перед красным оленем сидел на корточках громадный черный плуг и старался уничтожить рисунок. Лунин поднял бластер. Еще не поздно. Но не выстрелил.

Он заметил в лапе плуга кусок мела. Лапа дрожала от напряжения. Сопя, подвывая, скалясь, плуг царапал мелом по стене. Как раз под красным оленем. Он уже провел почти прямую горизонтальную линию, от нее пошли короткие палочки вверх. Палочек было четыре, разной длины, одна из них не достала до горизонтальной линии, и плуг принялся тыкать мелом в стену, стараясь белыми точ-

ками соединить палочку с линией, прежде чем продолжить свой изнурительный труд.

И Лунин понял, что же старается плуг изобразить на стене. Оленя. Того же оленя, но белого и перевернутого вверх ногами, убитого, ставшего пищей.

Плуг взялся за задачу, которая оказалась ему не по плечу. Ни лапы его, ни глаза не были подготовлены к тому, чтобы снимать копии с произведений искусства. И тем более творчески переработанные копии.

Плуг возил куском мела у конца горизонтальной линии — получилась звезда. Это была голова оленя. Не важно, что она не была похожа на голову, — Лунин и плуг признавали за искусством право на условность.

Плуг отодвинулся от стены, склонил морду набок и замер, наслаждаясь лицезрением рисунка. В нем зарождалось тщеславие. В палочках он видел громадную, теплую еще тушу оленя и потому не искал сравнений с тем, что умели делать уничтоженные враги. Теперь оленю не убежать. Он повержен.

А Лунин почувствовал какую-то странную благодарность, чуть ли не нежность к черной обезьяне и сделал шаг вперед. Плуг в этот момент оглянулся, словно искал взглядом кого-нибудь, кто оценил бы его труд. Взгляды человека и плуга встретились.

И плуг забыл об олене. В плосках красных глаз вспыхнула бессмысленная злоба, бешенство и страх застигнутого врасплох зверя. Эволюция, сделав неожиданный шаг вперед, была бессильна еще удержаться на новой ступеньке, и шаг был забыт. Не навсегда, конечно.

Плуг метнул кусок мела в Лунина — под рукой не оказалось ничего более существенного. Кусок мела отскочил к стене, оставив на груди скафандра белую точку. Лунин инстинктивно отпрянул за выступ скалы.

А когда выглянул вновь, увидел лишь черное пятно — спину плуга, ломящегося сквозь заросли.

Черное пятно исчезло. Листья трепетали, словно под порывом ветра. Треск сучьев затих.

Лунин обернулся к скале. Камень в тени был сиреневым, и на нем светились два оленя. Красный и белый.

БРАТЯ В ОПАСНОСТИ!

Открытое письмо

Находясь в последние годы на заслуженном отдыхе, я много размышлял о смысле жизни и важных явлениях. Меня посетила мысль, что наши беды проистекают от отсутствия веры в Бога или высшее существо, включая светлое будущее коммунизма. Народ наш мало во что верит, а все равно каждый боится. Боится заболеть, помереть, атомной войны, экологического бедствия, повышения цен и так далее. Отсюда получается желание верить черт знает во что, потому что лучше верить черт знает во что, чем не верить ни во что. Раньше у людей был Бог и все надеялись, что, если случится плохое, он не оставит в беде, хотя бы на том свете. У нас же тот свет совсем отменили, а на этом неблагоприятные климатические условия. Поэтому люди наши стали крутить головами и искать, во что бы им поверить. Некоторые стали верить в экстрасенсов, некоторые в пищу без нитратов, а другие в индийского бога, имя которого я забыл. Но больше всего верят в пришельцев с другой планеты. А почему?

Потому что каждый советский человек ощущает за отсутствием Бога жуткое одиночество и даже незащищенность. И любой Минводхоз или исполком могут сделать с ним, советским человеком, любую каверзу без всякой ответственности. А ведь как хочется, чтобы кто-то был за нас — а то все против нас!

Так что понятно: простому человеку необходим брат по разуму.

Такой, чтобы приземлился, если мы уж совсем распустимся, вышел из своей тарелочки, погрозил нам зеленым пальчиком и сказал бы: «Ни-ни!», «Нишкни!», «Прекрати безобразие и начинай разоружаться!» И мы тогда с удовольствием!

А стоит ли, говорю я вам, закидывать головы к небу или заниматься йогой, не лучше ли внимательно поглядеть вокруг и поискать настоящих братьев, только на Земле?

Нет, я не в переносном смысле, не в смысле любви к человеку. Для этого есть общество милосердия, у нас на той неделе в доме престарелых на него взносы собирали. А в детский дом мы уже собрали деньги на телевизор. Только пока нет телевизоров в нашем магазине.

Я в смысле науки.

Я заявляю с полной ответственностью, что рядом с нами проживают настоящие братья по разуму, которых мы безжалостно уничтожаем себе на потребу, которые даже не внесены в Красную книгу. Об этом отлично известно в некоторых научных кругах, но эти круги из эгоистических соображений закрывают глаза, а не бьют тревогу.

Теперь перейдем к сути вопроса: какое существо на Земле обладает самым большим мозгом по отношению к весу тела? Какое существо в процессе эволюции построило самую крепкую семью, какое существо не убивает себе подобных, не кусается, не дерется и не портит экологию? У кого нам надо учиться жить, забыв о пришельцах из космоса? Кто, наконец, разделит с нами одиночество?

Надеюсь, что самые умные из читателей уже догадались.

Правильно! Наш брат по разуму и сосед по Земле — грецкий орех!

Я убежден, что, разбивая молотком или раскалывая щипцами твердый череп нашего несчастного брата по разуму, вы не раз поражались совершенству его внутреннего строения. Твоему взору, убийца, предстают два полноценных мозга, занимающие все пространство черепа.

Но как это случилось? Как орехи стали орехами? Какими они были раньше? Вопрос не такой простой, как может показаться. Уже давно прогрессивные ученые разных стран подозревали, что грецкие орехи не всегда были только орехами. Но решающим толчком к раскрытию тайны грецких орехов

послужила заметка французского археолога Гастона Валуа, выходца из крестьянской семьи, в журнале «Сьянс и палеонтологик» за 1908 год о находке в среднем Плейстоцене Нижней Нормандии крупного архаичного черепа грецкого ореха без нижней челюсти, но с ярко выраженными ручками и ножками. Последние сомнения были рассеяны открытием в Танзании двух коренных зубов молодой самки грецкого ореха. Рядом с челюстью обнаружены были каменные скребки, наконечники стрел и бедренная кость мамонта.

Деятельность ученых (в нашей стране исследования грецких орехов начались лишь после революции и связаны с именем туркменского археолога Абдусалимова, нашедшего стоянку грецкого ореха в районе г. Сочи) позволяет сегодня уже с уверенностью поведать неискушенному читателю о ходе эволюции наших братьев.

Покинув в Верхнем Палеозое солоноватое море, далекие предки грецкого ореха вышли на берег и в краткий срок освоили пляжи и прибрежные заросли. Динозавры не преследовали их ввиду малого размера, а быстрота ножек спасала праорехи от прочих хищников.

Еще и речи не шло о появлении человека, а грецкие орехи уже покорили сушу и перешли к древесному образу жизни. Многочисленными оживленными колониями они собирались на определенных видах деревьев, отпечатки листьев которых всегда сопутствуют находкам ореховых скелетов. Там они охотились на вредных насекомых, а благодарные деревья опекали их, прикрывая листьями от ливней и прямых лучей первобытного солнца.

Когда неуклюжий волосатый предок человека взял в руки первую палку, грецкие орехи, далеко обогнавшие его в своем развитии, сознательно избрали другой путь. Первым шагом на этом пути было объединение мужского и женского начала под одной скорлупой. Выбрав себе спутника жизни, самка грецкого ореха обволакивала его не только заботой и вниманием, но и скорлупой, буквально привязывая к себе до конца дней. Крепкая семья грецкого ореха — добрый пример подрастающему грецкому поколению — стала настолько стабильна, что с течением времени грецкие орехи стали жениться еще до рождения. Этот шаг

эволюции, одновременно разумный и трагический, имел место шестьдесят тысяч лет назад.

Ранние браки грецких орехов завершили поступь эволюционного развития. Объединившись с близким существом под одной скорлупой (именно поэтому мы всегда находим в грецком орехе два мозга), орехи потеряли стимул к передвижениям, охоту к перемене мест, отказались от соперничества и тревог. Нет нужды искать общества себе подобных, если один из них обязательно присутствует в тебе самом.

Сравнительно недавно, с точки зрения истории, это привело к атрофированию конечностей. И если Платон в своих «Диалогах об Атлантиде» еще пишет о том, как грецкие орехи спасались от сборщиков, переползая на слабых ножках с ветки на ветку, то позднейшие исследователи об этой способности умалчивают.

Эволюция зашла в тупик. Грецкий орех повис на дереве, нежась под Солнцем, получая соки от дерева через единственную руку-плодоножку и обмениваясь мыслями со своей половиной. Очевидно, сегодня орехи лишились дара речи, заменив ее телепатическим общением. Хотя существуют исключения. Известный исследователь Востока Пржевальский рассказывает, что в отдаленных районах пустыни Гоби орехи, срываемые с деревьев в недозрелом состоянии, пищат и плачут. Автор этих строк пытался наладить контакт с орехом, выстукивая различные фразы с помощью азбуки Морзе по скорлупе. Ответа я, к сожалению, не дождался.

Осенью, завершив свой краткий жизненный цикл, умирающие орехи падают на землю и становятся жертвой нашего чревоугодия. Мы кладем их в пироги или едим в сыром виде. Часто, не дожидаясь естественной гибели ореха, мы срываем его с дерева...

Прочтя мое краткое сообщение, читатель вправе задать вопрос:

— Почему же такие очевидные факты о разумности грецких орехов неизвестны широкой общественности?

Причиной тому классовый эгоизм человечества. Как всем известно, уже в Древнем Вавилоне жрецы запрещали простым людям питаться грецкими орехами, пожирая их мозги в отрыве от народных масс (Геродот, кн. 16, гл. 24).

Впоследствии прерогатива есть орехи перешла к феодалам и эксплуататорам, включая иезуитов и капиталистов.

Наконец, с XVIII века эстафету убийства подхватило мировое масонство. Именно масоны стали употреблять грецкие орехи на своих тайных сборищах, укрепляя этим свои темные силы.

Подумайте, дорогой читатель, много ли было шансов у русского крестьянина в Рязани или Архангельске встретиться с грецким орехом, взглянуть в него и заподозрить неладное? Нет, отвечу я, такого шанса русский крестьянин не имел.

Да, среди нас есть узкие специалисты, палеонтологи, археологи, для которых не секрет, что грецкие орехи — настоящие законные властители Земли и наши братья.

Грецкие же орехи, способные на прямой контакт еще тысячу лет назад, за последние тысячелетия полностью разочаровались в людях, которых прозвали каннибалами, и предпочитают с презрением умирать молча.

Но археологи молчат. Некоторые боятся масонов, другие — сами масоны, третьи, признавая в частных беседах преступность наших коллективных действий, не могут отказать от привычного лакомства. Их любовь к пирогам с орехами высится неприступной плотиной на пути к спасению братьев по разуму.

Две проблемы стоят перед человечеством. Еще не поздно установить контакт с грецкими орехами с помощью телепатии, радиосвязи и азбуки Морзе. Сделать это надо немедленно, ибо замкнувшиеся в гордой изоляции грецкие орехи теряют память о прошлом и иссякает их древняя мудрость, которая столько могла бы дать нам поучительного.

Вторая проблема — гуманистическая.

Я призываю: люди, опомнитесь! Внушите каждому ребенку, что рвать с деревьев живые орехи безнравственно, а пожирать трупы упавших грецких орехов постыдно! Товарищи, неустанно разоблачайте мировой масонский заговор, остановите руку палачей! Торопитесь, люди, еще не поздно!

Ложкин Н. В., пенсионер,
г. Великий Гусляр

АГЕНТ ЦАРЯ

Уважаемая редакция!

Вы меня, надеюсь, хорошо знаете, несмотря на мою личную скромность. Я имел честь неоднократно Вам писать, и, хотя большинство моих писем, к сожалению, остались без ответа, я отношу это не к личным отрицательным качествам сотрудников редакции, а к отсутствию достаточной гражданской смелости и научного предвидения с Вашей стороны. Разрешите напомнить Вам, что к числу безответных писем относились мои предложения по переводу комаров, бича наших лесов, в разряд перелетных насекомых, которые, перезимовав в нашей зоне, с наступлением тепла откочевывали бы в просторы Ледовитого океана. Разрешите также освежить Вашу память напоминанием о моем письме с идеей ввести приливы и отливы на протекающей возле нашего города реке Гусь с последующим использованием дешевой энергии для нужд городского хозяйства.

Однако в настоящем письме я обращаюсь к Вам не с очередной идеей или открытием. Я бью тревогу!

В Вашем журнале мне попало на глаза в целом любопытное исследование о загадочных обстоятельствах, сопровождавших трагическую смерть царевича Дмитрия. В ином случае я не стал бы обращать на это исследование специального внимания, потому что не чувствую себя компетентным в этой области. Но неожиданная встреча в городе-курорте Ялте заставила меня изменить моим принципам.

Напоминаю, что в Вашей статье говорилось, будто смерть юного царевича произошла от естественных причин

(под таковой подразумевается ножик) и в том не было злого умысла со стороны тогдашнего правительства, возглавлявшегося Борисом Годуновым. То есть историческое высказывание А.С. Пушкина, указывающее на наличие умысла, опровергается с помощью привлеченных для этой цели документов следствия, которые якобы велись объективно.

Итак, когда я находился на отдыхе в городе-курорте Ялте и наслаждался природой и климатом, мне попался в руки журнал «Знание—сила» номер семь за текущий год. Я отдыхал душой и телом, когда ко мне подошел незнакомый мне человек в белой сорочке-водолазке и брюках-джинс. Этот человек был немолод и имел бороду клиновидного типа.

Человек присел рядом со мной и обратился ко мне с незначащим вопросом о погоде и очереди в столовую, а затем разговор перешел на другие темы, и мой собеседник показал себя компетентным в истории России отдаленных эпох. Когда отношения между нами приняли характер приятельских, этот человек обратился ко мне с просьбой оказать ему финансовое содействие, так как ему задерживают высылку командировочных. Не обладая нужной суммой денег и не считая себя вправе делиться трудовой копеечкой с малознакомыми людьми, я спросил его, что же это за учреждение направляет человека к Черному морю и при этом не обеспечивает его содержанием.

Человек тогда заплакал и признался, что уже три дня ничего не ел. Увидев слезы на его глазах, я отвёл человека в кафе на открытом воздухе, где купил ему тарелку супа и порцию шашлыка. Насытив свой аппетит, человек проникся ко мне благодарностью и потому рассказал удивительную историю своей жизни, которую подкрепил соответствующими документами и удостоверением личности.

Вкратце эта история заключается в следующем.

Известный в истории царь Иван Васильевич Грозный однажды вызвал к себе своих ученых и техников, в том числе заграничного происхождения, и потребовал от них создания ничего иного, как Машины времени. Оказывается, в последние годы жизни царя мучили опасения о том, как его потомки воспримут память о нем. Для того чтобы

быть уверенным, что ученые и техники изобретут нужную машину и не станут отговариваться низким уровнем современной им науки, Иван IV (Грозный) указал, что в случае неудачи их ждет смертная казнь. И все мольбы ученых и беспокойство их о том, как будет развиваться наука в случае их четвертования, Иван Грозный отверг как не имеющие принципиального значения.

В таких условиях ученые и техники были вынуждены изобрести Машину времени, хотя к моменту завершения работы примерно 80% их поплатилось жизнью или убежало в Запорожскую Сечь.

Оставшихся в живых ученых, а также ряд дипломатов царь направил в будущее на полном казенном довольствии, снабдив документами и выписками из столбцов для того, чтобы они создавали благоприятное представление о деятельности этого монарха.

Однако результат этого начинания оказался сравнительно незначительным, так как ученые и дипломаты предпочитали не возвращаться за премиями и наградами, а оставались на месте командировки.

Со смертью Ивана Грозного деятельность дезинформаторов не прекратилась. Перемена правительства не влечет отказа от научных достижений. Борис Годунов захватил не только трон, но и идеи.

Мой собеседник приступил к работе уже после смерти Ивана Грозного, с воцарением Бориса Годунова. В его задачу входило убеждать потомков в том, что царь Борис не причастен к гибели царевича Дмитрия. Для этой цели посланец Бориса Годунова получил диплом Архивного института, защитил кандидатскую диссертацию по знакомому ему периоду и теперь неустанно выступает на научных дискуссиях и в популярных журналах, обеливая жестокого монарха. Он был бы рад остаться у нас и преподавать в каком-нибудь техникуме, но привязанность к семье, детям, престарелым родителям, оставшимся заложниками в суровом XVII веке, заставляет его выполнять надоевшие и неприятные обязанности.

В Ялте лже-кандидат оказался ввиду того, что должен был встретить там своего сообщника, доставляющего его командировочные и нужные (большей частью изготовлен-

ные в Пыточном приказе) документы, которые лже-кандидат «открывает» в наших архивах.

После удовлетворения голода мой случайный знакомый показал мне удостоверение личности, подписанное лично Борисом Годуновым, и под видом посещения туалета скрылся от меня.

Дорогая редакция, я ни в коем случае не намерен утверждать, что опубликованная Вами статья принадлежит перу этого лазутчика. Однако чувствую моим долгом обратить Ваше внимание на возможность подобных инцидентов в будущем. К сожалению, мне неизвестно имя этого человека. Не знаю я и где они скрывают Машину времени.

На всякий случай сообщаю Вам приметы агента царя Бориса Годунова. На вид он среднего роста, скорее пожилого, нервный в манерах, в белой водолазке, в брюках-джинс и с бородой. Он похож на некоторых народных депутатов, но не такой нервный.

В случае, если кто-то отвечает этому описанию, берегитесь!

С уважением,
Николай Ложкин, пенсионер,
г. Великий Гусляр.

ЭДИСОН И ГРУБИН

Уважаемая редакция!

Не хочу быть назойливым, но обстоятельства заставляют меня беспокоить вас вновь. Считаю своим долгом сигнализировать о новом случае неправильного использования так называемой Машины времени.

Мой сосед по дому и близкий знакомый Александр Евдокимович Грубин не имеет специального технического образования, но является талантливым изобретателем, о чем Вам, возможно, уже сообщали. Разработанная им модель вечного двигателя работает без видимых причин уже третий месяц, а изобретенный А. Грубиным комбайн для сбора сирени пользуется заслуженной популярностью среди садоводов г. Великий Гусляр.

Последним увлечением Грубина стало решение проблемы путешествия во времени. Для этого он соорудил установку на основе списанной будки от телефона-автомата, двигателя от автомобиля ГАЗ-69 и других деталей. А. Грубин посвятил этому изобретению несколько месяцев упорного труда, отказывая себе в выходных и праздничных днях.

Возможно, достижения А. Грубина были бы более внушительными, если бы не существование в нашем дворе молодого человека по имени Николай Гаврилов, учащегося речного техникума, шестнадцати лет. Этот Н. Гаврилов является обладателем проигрывателя и коллекции пластинок джазового содержания. Несмотря на воспитательные беседы с его родителями и лично Н. Гавриловым, которые проводили — я как представитель общественности и другие

лица, Н. Гаврилов каждый вечер начиная с 18.00 часов и до полуночи проигрывает свои пластинки на полную громкость.

Ввиду того что мой друг А. Грубин по ходу изнурительного умственного труда был доведен до состояния нервного раздражения, он переживал необходимость слушать каждый вечер джазовые эстрадные мелодии, которые мешали ему сосредоточиться. По врожденной деликатности А. Грубин ограничивался отдельными высказываниями в адрес Н. Гаврилова, полагая, что тот не более как жертва проигрывателя. «Если в пьесе на стене висит ружье,— говорил,— то оно должно выстрелить в четвертом действии. Мы не можем винить курильщиков, потому что они лишь жертвы открытия Америки Колумбом, который привез оттуда табак. Если изобретен патефон, то кто-то должен стать его жертвой и слушать пластинки. Мы обязаны глядеть в корень. Скажи мне, кто изобрел патефон?»

На следующий день я довел до сведения А. Грубина, что согласно научным источникам изобретателем фонографа, то есть первобытного патефона, является американский изобретатель Томас А. Эдисон, прославившийся также другими открытиями. На это Грубин, пытаясь перекрыть звуки музыки, ответил: «Вот он во всем и виноват!»

Я указал А. Грубину, что винить Т. Эдисона в поведении Н. Гаврилова неразумно. Но А. Грубин настаивал на своем и заявил: «Все равно, все началось с Эдисона. Если нейтрализовать Эдисона, наступит тишина». В качестве аргумента я возразил А. Грубину следующим образом. «Александр,— сказал я,— не думаешь ли ты, что если нейтрализовать Колумба, то прекратится курение?»

«Не думаю,— ответил мой друг, затягиваясь папиросой.— Это слишком рискованно. Я не имею права взять на себя ответственность за судьбу миллионов жителей Соединенных Штатов и других стран этого континента. Куда они денутся, если Америка не будет открыта?»

И тогда я кинул опрометчивую фразу. «Эдисон,— сказал я,— не подвластен тебе, Александр, потому что он сделал свое дело и умер естественной смертью».

Грубин посмотрел на меня и удалился в свою комнату. По истечении трех дней после этого разговора я вышел

на двор подышать воздухом. Стояла ветреная осенняя погода, и двор был усеян желтыми и оранжевыми листьями, облетевшими с деревьев, гремела музыка.

— Я готов! — крикнул мне А. Грубин из своего окна.

— К чему готов?— спросил я.

— Навести порядок! — крикнул Грубин.

— Я тебя не понимаю, Александр! — крикнул я.— Ты завершил опытный образец?

— Завершил! — крикнул Грубин.— Ну, Эдисон, погоди!

После этого из комнаты донеслись гудение, звон и грохот. Когда я взглянул в комнату через окно, стекла в телефонной будке были выбиты, Грубина не было видно.

Дорогая редакция! Вот уже третий день, как Грубин не возвращается. Я глубоко убежден, что он проник в прошлое время и, весьма возможно, разыскивает Т. Эдисона, чтобы его нейтрализовать.

Дорогая редакция! Прошу вас срочно принять меры для возвращения А. Грубина в настоящее время и по охране здоровья и жизни покойного американского изобретателя Т. Эдисона. В данный момент я с тревогой прислушиваюсь к звукам музыки, доносящимся из окна Н. Гаврилова, опасаясь, что в любой момент времени они могут прерваться.

С уважением и тревогой,
Николай Ложкин,
натуралист-любитель,
г. Великий Гусляр.

ЗВЕНЯЩИЙ КИРПИЧ

В середине VI века до нашей эры положение Вавилонского царства, которым правил известный Валтасар, никому да не годилось.

Местные тираны и наместники грабили безропотное население, экономика разваливалась, искусства и науки пришли в упадок. Тем временем персидский царь Кир в союзе с коварными мидянами готовился преодолеть линию укреплений, построенную еще Навуходоносором, и нарушить тем самым хрупкое политическое и военное равновесие.

Многие в Вавилоне полагали, что виной тому политика Набонида, отца Валтасара, который не занимался текущими делами, любил роскошь и чинопочитание, а также участие в торжественных церемониях.

Как-то перед очередным пиром ближайшие соратники Валтасара собрались во дворце. Начальник складов сообщил, что зерно поступает вяло и низкого качества. Сатрап Лидии доложил, что в стране, разоренной его обезглавленным предшественником, ожидается плохой урожай. Мудрец Улулай сказал, что изобретение катапульты задерживается из-за недопоставок листовой меди. Везде обнаружались недостатки и прорехи. Многие понимали: ожидается казни и должностные перестановки.

Тут вперед вышел глава соглядатаев и сказал:

— Позволь слово молвить, великий повелитель!

Валтасар мрачно кивнул.

— Мои люди раздобыли у одного египетского караванщика образец новой вражеской технологии.

По его знаку слуга внес блюдо, на котором лежало нечто, покрытое шелковым платком.

Глава соглядатаев сорвал платок, и на блюде обнаружился кирпич.

Кто-то хихикнул. Его увели. Повелитель нахмурился.

— Не спеши с выводами,— сказал глава соглядатаев.— Это не просто кирпич, а новое слово в стратегии.

Он легонько ударил по кирпичу длинным ногтем мизинца, и кирпич отозвался серебряным звоном.

— Не понял,— сказал Валтасар.

— Египетские мудрецы изобрели этот звенящий кирпич с далеко идущими целями. Отныне у них все подходы к городам, а может, даже к границе, будут выложены этими кирпичами, и вражеское войско даст знать о своем приближении задолго до приближения. Звон подков и каблуков по такой дороге разносится на дневной переход. Отныне Египет будет в безопасности от неожиданного нападения.

— Чепуха,— сказал кто-то. Его увели. Валтасар задумался. Потом приказал вызвать экспертов по кирпичам.

Эксперты долго спорили, разделившись на четыре партии. Некоторые полагали, что создать такой кирпич невозможно, потому что в Вавилоне нет для этого материалов. Другие считали, что кирпичи не настоящие, а выдумка египетской пропаганды. Они предлагали разбить образец, чтобы увидеть в середине серебряный колокольчик. Третьи стояли за то, чтобы наладить импорт кирпичей в обмен на ливанский кедр. Наконец, четвертые, в лице начинающего мудреца Авельмардука, сразу дали обещание изобрести и изготовить такой же, но лучше качеством, в течение десяти лет.

Валтасар всех выслушал. Затем кирпич по его приказанию разбили. Колокольчика в нем не нашли и поэтому накормили кирпичными обломками скептиков. Оптимисты же в лице Авельмардука получили задание изобрести отечественный звенящий кирпич до конца текущего года.

Учреждению, созданному для изготовления кирпича, который обезопасит государство, отвели летний дворец Навуходоносора по соседству с храмом Мардука. Кирпич получил название «КЗ», весь район, прилегающий к опытному производству, обнесли привезенными из Аравии непре-

одолимыми колючками и ввели систему пропусков на глиняных табличках.

Так как Предприятие запросило на первое время тысячу талантов серебром, были урезаны ассигнования на сельское хозяйство и писцовые школы. Через три месяца на производстве «КЗ» трудилось уже восемьдесят тысяч рабов и более сорока тысяч вольнонаемных специалистов. Руководитель Предприятия мудрец Авельмардук получил чин особо приближенного советника и право реквизировать в пользу проекта любое имущество. К зиме он реквизировал долину реки Диялы, в которой из опытных и неудачных партий кирпича «КЗ» были возведены дворцы для него и членов его семейства.

Так как положение населения продолжало ухудшаться, в государстве Валтасара участились казни. Но в то же время поползли слухи о том, что сотрудники Авельмардука зазря поедают народные деньги и не спешат изобретать «КЗ», тогда как все прочие отрасли науки в Вавилоне перебиваются с лепешек на воду.

Некоторые стали писать правителю доносы на глиняных табличках. Однако эта практика скоро кончилась, так как ввиду растущих потребностей Предприятия «КЗ» в качественной глине все глиняные карьеры были засекречены, а писцам и работникам средств массовой вавилонской информации было предложено писать письма и книги палками на песке.

Так прошел первый год. По истечении его повелитель Валтасар призвал перед свои грозные очи советника Авельмардука и спросил его:

— Где твой кирпич? Враги приближаются к столице, но я этого не слышу.

— Они еще далеко,— ответил Авельмардук. Он заметно потолстел, окреп и загорел в очередном отпуске в долине реки Диялы.

— Где «КЗ»?— настаивал Валтасар.

— Я был бы рад доложить тебе, о повелитель, об окончании работ. Но, к сожалению, массовый саботаж моих коллег сорвал мои планы.

— Объясни,— сказал Валтасар.

— Я буду искренен с тобой, мой повелитель,— сказал

Авельмардук. — Хотя рискую вызвать твой гнев. Для того, чтобы спасти наше государство и одним ударом разрубить узел проблем, требуется полная концентрация усилий в одном направлении. Что же мы видим в действительности? Одни продолжают разводить коней и овец, другие добывают земляное масло, третьи изобретают катапульты, четвертые замыслили совсем несусветное: боевую машину, которую движет пар! Более того, я знаю о предателях и саботажниках, которые втихомолку строят флот и тшятся надуть вонючим дымом большой шар, утверждая, что смогут подняться на нем в небо. Вот, дорогой повелитель, на что растраниживаются народные деньги! А мы с тобой из-за этого не можем обезопасить государство от врагов.

Валтасар пришел в страшный гнев. Сначала он приказал собрать к себе всех мудрецов, которые упорно продолжали заниматься пустым изобретательством, когда решалась судьба «КЗ» и всего государства. На этом собрании выступил с гневной речью советник Авельмардук и убедительно доказал собравшимся, что все эти мудрецы и халдеи являются персидскими агентами. После этого большинство мудрецов раскаялись в своих ошибках, а остальных пришлось отправить в Аравийскую пустыню на соляные копи.

Деньги и ресурсы, освободившиеся после этого «великого очищения науки», были переданы Предприятию «КЗ», его опытные заводы задымили вдвое активней, а советник Авельмардук построил четыре дворца для своих наложниц на берегу Евфрата.

К сожалению, экономическое положение Вавилонии продолжало ухудшаться, но страна, включая Валтасара, жила надеждой на скорейшее завершение программы «КЗ».

Тем временем коварный Кир преодолел Миллийскую стену Навуходоносора, занял город Сиппар и форсированным маршем двинулся к столице. От топота его армий дрожала земля, и звук этот доносился до дворца Валтасара.

За день до первого штурма Вавилона правитель собрал к себе сановников государства и спросил:

— Готовы ли стены Вавилона к отражению штурма?

— Нет, — ответил начальник стен, — все кирпичи, что

ранее шли на эти цели, переданы Предприятию «КЗ». Туда же ушла вся глина. Стены частично обвалились.

Валтасар, разумеется, приказал казнить начальника стен.

— Готовы ли мои непобедимые колесницы, чтобы смети с лица земли подлых персов?— спросил затем Валтасар.

— К сожалению, нет, так как железо с них передано заводам «КЗ», а деревянные части сожжены в печах «КЗ»,— ответил, дрожа предсмертной дрожью, командующий колесницами.

Командующий колесницами был казнен. За ним лишились жизни не готовые к отражению противника начальники катапулт, хранители ворот, смотрители продовольственных складов, а также мудрецы и халдеи, которые не сумели оперативно изобрести царскую машину, воздушный шар, парусный флот и земляной огонь.

Но не все еще было потеряно. С минуты на минуту с Предприятия «КЗ» обещали доставить опытную партию звенящих кирпичей.

В ожидании кирпичей Валтасар закатил пир для оставшихся в живых сановников. Напились так, что кто-то написал на стенах непонятные слова. Последующие историки утверждают, что звучали они так: «Мене, Мене, Текел, Упарсин» — и предрекали гибель Вавилона и лично Валтасара. Задним числом предрекать легко.

На следующее утро Валтасар, пребывавший в тяжком похмелье, вызвал к себе Авельмардука. Авельмардука долго искали и, наконец, перехватили у западных ворот, когда он пытался скрыться из города на боевом дромадере в сопровождении верной наложницы, двух мешков золота и опытного образца. Дезертира привели к повелителю.

— И ты, Авельмардук?— укоризненно спросил Валтасар.

— Меня неправильно поняли,— ответил советник.— Я эвакуировал из столицы опытные образцы, чтобы наладить их промышленное производство в труднодоступных горных районах.

И Авельмардук протянул повелителю первый кирпич.

Повелитель щелкнул по нему ногтем. Кирпич легонько звякнул.

— Через три года доведем до кондиции,— заверил его Авельмардук.

Валтасар поглядел на слова, написанные кем-то на стене, потом прислушался. У ворот дворца кипел бой, грохот стоял такой, что приходилось кричать.

— Звенит! — прокричал Валтасар. Он поднял кирпич и размозил им голову Авельмардуку.

Через несколько минут и сам Валтасар погиб возле своего трона.

Это случилось в 538 году.

До нашей эры.

ДИАЛОГ ОБ АТЛАНТИДЕ

Платон собрался работать. Для этого он сделал то, что делали другие писатели и ученые как до него, так и после. Сказал рабу, чтобы на ареопаг его ни в коем случае не звали, даже если персы нападут, послал мальчика в редакцию с обещанием сдать рукопись к вечеру, посмотрел на небо, пересчитал часек и мысленно сравнил их с крикливыми критиками. Потом снял с вожделенного запыленного папируса тяжелую раковину и окунул пеликанье перо в чернильницу с надписью: «От друзей и сотрудников в день тридцатилетия научной и общественной деятельности».

Тут вошла невестка и сказала:

— Платон, я к косметичке. Жена Аристотеля устроила.

— Иди,— сказал сухо великий ученый, у которого с Аристотелем были давние счеты.

— Мне Крития не с кем оставить,— сказала невестка.

— А рабыни на что?

— У них выходной,— сказала невестка.— Ты же знаешь, какая я добрая.

— Тогда отложи визит к косметичке,— сказал Платон, любовно разглаживая папирус.

— Нельзя,— вздохнула невестка.— Она знает секрет вечной молодости. Ее уже в Рим переманивают.

— В этот ничтожный городишко?

— А одна пророчица сказала, что Рим будет центром крупной империи.

— Вот уж чепуха! — возмутился Платон.— Твоя про-

рочица ничего не смыслит в экономике. Рим стоит в стороне от торговых путей.

— Так посидишь с Критием? Я ненадолго.

— А работать кто будет?— отважился Платон на безнадежный бунт.

Невестка ушла.

На террасу вышел сорванец Критий. Платон редко вспоминал о его существовании, лишь порой беспокоился, не упал ли мальчик со скалы. Он оттаскивал Крития от перил и рассказывал ему сказку о мальчике Икаре, который не послушался папу Дедала и утонул.

Сорванец подошел к деду, потрогал пальцем раковину и сказал:

— Дай. Я из нее лодку сделаю. Поплыву в Иберию.

— Раковина утонет,— сказал Платон.— Каждое тело теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость. Вода весит меньше, чем раковина.

— Много знаешь,— презрительно сказал Критий.— А в солдаты тебя не возьмут.

— Это клевета! — ответил Платон.— Я сражался под Коринфом.

— Все равно отдай. А то буду кричать, что ты меня бьешь.

— Не могу. Она принадлежит к неизвестному науке виду.

— Тем более.

— Она хранит в себе великую тайну.

— Тайну?— Критий заинтересовался.— Расскажи.

— Дело в том...— Платон никак не мог придумать достаточно интересную тайну.— Дело в том... Эта раковина — единственное, что осталось от великой страны.

— А где страна?

— Где? Конечно, утонула в море.

Платон вздохнул с облегчением. Первый шаг сделан.

— Вся утонула?

— Вся.

— Почему?

— Это было очень давно.— Платон тщетно надеялся, что такой ответ удовлетворит сорванца.

— А если давно, откуда ты знаешь?

— Мне один египетский жрец рассказывал.

— А ему?

— Его дедушка.

— Египетский дедушка?

— Конечно, египетский.

— А что ему рассказывал дедушка?

Критий кинул вызов воображению Платона. Ученый не желал сдаваться.

— Он ему рассказывал о том, как бог Посейдон влюбился в тамошнюю девушку и поселился с ней на большой горе. У них родилось пять пар близнецов, как у твоей тети.

— У тети только пара близнецов, они не рождались, а их принес аист.

— Правильно,— спохватился Платон.— Посейдону близнецов тоже принесли аисты. Целая стая аистов. Близнецы стали царями и правили этой страной по очереди.

— Они были сильные?

— Сильные, как Атлант. Тебе мама про него рассказывала?

— Мне про него мальчишки рассказывали. Он держит небо. Дедушка, а кто держит небо, когда Атлант ходит в уборную?

Платон растерялся. Этого он не знал.

— Не важно,— отрезал он и поспешил с продолжением рассказа.— Так вот, страна эта называлась Атлантидой.

— Атлант там небо держал?

— Там, там.

— А он волков боялся?

— Волков? Конечно, боялся.

— А близнецы боялись?

— Критий, ты мне мешаешь. Не перебивай. А то я все забуду.

— Дедушка, а что такое склеротик?

— Ты откуда знаешь это слово?

— Мама говорила.— Критий смотрел на дедушку невинными черными глазами, и Платон не решился спросить, по какому случаю мама употребила это слово. Он продолжал:

— Конечно. Посейдон боялся волков. Он даже окружил

свою гору каналом, круглой рекой, чтобы волк не скушал сго близнецов.

— А если волк перепрыгнет через реку?

— Тогда Поссидон вырыл еще один канал.

— А если волк...

— Он построил еще один канал, и перестань меня перебивать.

Незаметно для себя Платон увлекся. Его давно интересовала проблема идеального общественного устройства. Он излагал Критию свои взгляды на социально-экономическую структуру Атлантиды и не заметил, что Критию стало скучно и он унес драгоценную раковину.

— И вот тогда,— закончил свой рассказ Платон,— боги разозлились и наслали на Атлантиду извержение вулкана, наводнение и прочие бедствия. Должен сказать тебе, мальчик, что я пессимистически отношусь к перспективе создания идеального государства. Так вот в один прекрасный день раздалось: бух!

— Бух! — весело отозвался Критий от перил.

Он сбросил раковину вниз и обрадовался, увидев, какой фонтан брызг она подняла.

— Что ты наделал! — вскочил Платон.— Что натворил!

— Пускай ничего не останется от Атлантиды. Все равно ты все придумал. Три канала и пять пар близнецов! Надо же так наврать! И не бей меня, я маме скажу!

— Я никогда не бью детей,— сказал великий ученый.— И вообще, не мешай мне работать. Я тебе не нянька! Всыплю по первое число, тогда посмотрим, у кого из нас склероз!

Критий понял, что шутки кончились, тихо заныл и пошел ловить бабочек.

Когда через час издательский раб пришел за рукописью, перед Платоном уже лежал свиток, исписанный неразборчивым почерком великого человека. У ног философа дремал Критий, которому снился волк, подкрадывающийся к близнецам.

— Возьми и вели ставить в номер,— сказал рабу Платон.

✦ Невестка вернулась только к вечеру. Ученый сам накормил и уложил спать сорванца...

Через много лет растолстевший бородатый Критий рассказывал друзьям и собутыльникам:

— Я как махну эту ракушку через перила, старик как завопит: «Стой! И так ничего от Атлантиды не осталось!» А я ему: «Молчи, дед, у тебя склероз». Он озлился и написал про Атлантиду.

Друзья смотрели на Крития с жалостью и не верили ни единому его слову. Они снаряжали корабли на поиски исчезнувшего материка.

АПОЛОГИЯ

От переводчика

Как известно, после смерти императора Нерона, не столько при его непосредственных преемниках, как в период правления Божественного Веспасиана, в среде римских писателей и ораторов широко распространились критические выступления в адрес Нерона и его приспешников. Вскрывались все новые преступления тирана, и, осмысливая историю Рима за последние десятилетия, многие утверждали, что деятельность Нерона пагубным образом сказалась на положении дел в империи.

Однако, как это бывает в истории, в Риме нашлись и апологеты Нерона как среди его родственников, так и меж бывших соратников. Даже в среде плебса, недовольного гуманизацией общества, сокращением числа зрелищ, народных празднеств и требованиями всеобщей экономии, появлялись культы Нерона, в которых он фигурировал в качестве мученика, железной рукой уничтожавшего коррупцию, ведшего империю к победам и принимавшего близко к сердцу чаяния простого народа.

Любопытным примером сочинения, отражавшего попытки реабилитировать память Нерона, может служить небольшая «Апология», принадлежавшая перу Гнея Домиция, малоизвестного публициста середины II в. н. э., очевидно, отдаленного родственника императора. Объектом критики автор «Апологии» избрал известное сочинение Светония «Жизнеописание двенадцати цезарей», созданное

в первой половине II в. и сконцентрировавшее в себе критику Нерона и нероновщины.

Опус Гнея Домиция не пользовался известностью в Риме, и упоминаний о нем у других авторов и даже ссылок на него не сохранилось. Данный список обнаружен при недавних раскопках древних выгребных ям в Остии. Текст отличается неполнотой и отсутствием начала и конца.

«...Даже странно сегодня выслушивать подобную клевету, ибо совершенно очевидно, что к власти его привели не интриги Агриппины Младшей, а воля римского народа, и Нерон всегда высоко превозносил заслуги своего предшественника Клавдия и воздвигал ему статуи в различных городах империи.

Известна гуманность, которую проявлял Нерон. Даже Светоний вынужден был признать, что, когда Нерону пришлось впервые ставить свою подпись под смертным приговором, он промолвил вслух: «Как хотел бы я не уметь писать!» Тот факт, что Нерон не повторял этого восклицания при подписании последующих приговоров, говорит лишь о его скромности и нежелании повторять уже всем известную фразу.

Забота Нерона о безопасности государства всегда сочеталась с заботой о его экономике. Недаром, как всем известно, он сократил на четверть жалованье доносчикам. Заявления некоторых критиков о том, что число доносчиков увеличилось вдесятеро и многие доносили бесплатно, никак не бросают тени на императора. Каждый искал врага и спешил сообщить о нем любимому императору. Это говорит лишь о безграничной любви народа к Нерону.

Светоний несправедлив, обвиняя великого императора в том, что он слишком широко тратил деньги на строительство помпезных сооружений и статуй в собственную честь. Императором двигали только интересы народа, который хотел гордиться строительными достижениями Римской империи, тем, что в ней строятся самые высокие дома в мире. Светоний упрекает Нерона в том, что он возвел себе позолоченный монумент высотой в 120 локтей. Светоний! Не смешивай бескорыстную любовь народа к императору с его побуждениями. Если бы народ того не требовал, Нерон не разрешил бы ставить себе статуи.

Как глупы и наивны Светоний и подобные ему, когда стараются набросить тень на доброе имя императора в связи со строительством известного канала. Желание императора сделать Рим морским портом имело под собой здравые экономические соображения. “Для выполнения этих работ,— пишет Светоний,— он приказал свозить всех, где сколько было, колодников, а также ловить людей и приговаривать их исключительно к этой работе”. Однако каждому известно, что строительство канала стало великой школой перевоспитания преступников, о чем с радостью свидетельствовали писатели, которых Нерон на свои средства возил на великое строительство. Если же на канале и на других великих стройках попадались отдельно невинно осужденные, то нарушения римской законности, если становились известными императору, немедленно пресекались.

Настало время перейти к спору об измышлениях Светония, касающихся якобы имевших место убийств некоторых государственных мужей, а также близких к Нерону лиц.

Что касается смерти предшественника Нерона, великого Клавдия, то сам Светоний вынужден скрепя сердце признать, что “непосредственным виновником смерти последнего он, правда, не был, но имел причастность к ней”. Как мог Нерон иметь отношение к смерти Божественного Клавдия, если в тот период его не было даже в Риме? И не мог Нерон быть заинтересован в смерти Клавдия, так как он высоко ставил его талант и относился к нему с великим уважением. Клавдий умер своей смертью после продолжительной болезни и не был отравлен, как утверждает Светоний. На что только не идут некоторые авторы, чтобы опорочить человека достойного и чистого! Что же касается того, что после смерти Клавдия Нерон, на словах восхваляя своего предшественника, в самом деле “объявил недействительными многие его декреты и постановления”, это клевета. Светоний не хочет принять во внимание, что политическая обстановка в Римской империи изменилась, империя была окружена врагами, враги проникли и внутрь ее. В таких условиях некоторые эдикты и предписания Клавдия несколько устарели и требовали поправок. Увеличение поборов и разорение земледельцев Светоний имеет

наглость объяснять страстью императора к помпезному строительству и расточительством. В самом же деле Нерон нуждался в средствах для укрепления могущества Римской империи. В окружении врагов он должен был проявлять особую бдительность. Слова Светония: "Люди привлекались по обвинению в оскорблении величества за всякое действие и слово, находившее против себя доносчика" — чистая ложь. Не за всякое действие, а за вражеское!

Светоний обвиняет Нерона в том, что он руками подосланного убийцы уничтожил своего ближайшего соратника Британника, который якобы был страшен Нерону тем, что пользовался большей популярностью в народе и многие прочили ему императорский трон. В действительности же нет никаких доказательств причастности Нерона к смерти Британника, и мне интересно спросить Светония: какая птичка нашептала ему о том, что Британника убили по приказанию цезаря?

Светоний имеет наглость утверждать, что Нерон убил своих обеих жен. Однако каждому известно, что его первая жена, разделившая с ним ложе задолго до того, как он стал императором, получила развод и умерла своей смертью, причем ее нравственный уровень оставляет желать лучшего. Что же касается смерти второй жены, Пoppен, и заявления Светония, что "он и ее убил... за то, что она стала резко упрекать его...", то это пустой домысел. Мы, историки, должны быть объективны. Нам известно, что жена Нерона скончалась. Следовательно, мы должны скорбеть вместе с императором по поводу ее кончины.

Наконец, утверждение Светония о том, что Нерон довел до самоубийства своего соратника и учителя Сенеку, также не подтверждается документами. Напротив, известно, что Нерон публично поклялся в том, что Сенека напрасно питает против него подозрения и что он, Нерон, скорее умрет, чем причинит ему какой-нибудь вред. Сенека же поступил как последний предатель, приняв яд и лишив Нерона верного и мудрого соратника. Далее Светоний обвиняет Нерона в массовых преступлениях против римской знати и государственных лиц. Светоний признает, что Нерон, решив избавиться от старой знати, немедленно открыл два больших заговора, в которые были втянуты

крупнейшие деятели Римской империи,— это заговор Пизонов в Риме и заговор Винициев в Беневенте. Да, эти заговоры были! И нелепо подозревать Нерона в том, что он их выдумал потому, что они были ему нужны для уничтожения возможных соперников. Ведь, как признает сам Светоний, когда заговорщики предстали перед судом, заключенные в тройные кандалы и прошедшие обычную пытку, “одни из них добровольно признались в преступлении, другие же даже вменили его себе в заслугу”.

В разоблачении заговоров и суровом истреблении врагов империи Нерон действовал строго в рамках закона. И потому особо кощунственной кажется нам, радетелям за правду, выдумка Светония, что якобы “дети осужденных были изгнаны из Рима и истреблены ядом или голодом”. Как можно бросить столь безответственные обвинения в адрес человека, который так любил детей! Достаточно вспомнить, как император заботился о мальчике Споре, которого носили на разукрашенных носилках, и, как признает сам Светоний, “император то и дело целовал его”.

Рассказывая о разоблачении заговоров и совершенно не учитывая при этом обострения борьбы внутри империи, а также ухудшения ее внешнего положения, Светоний докатывается до голословного утверждения, будто “после этого он принялся истреблять без всякого разбора и меры, кого бы ему ни заблагорассудилось и по какой угодно причине. Сообщу несколько примеров: Сальвидиену Орфиту было поставлено в вину то, что он сдал три комнаты своего дома близ форума внаймы под квартиру представителям чужеземного государства”. Вот тут Светоний и выдает себя с головой. Зачем бы честному римлянину сдавать квартиру представителю чужеземного государства? Какие римские секреты он продавал этим представителям? Молчишь, Светоний? Нечего сказать?

Дальнейшее перечисление “жертв” Нерона не представляет интереса для исследования, и мы его опустим. Зачем нам оправдывать иностранных агентов и заговорщиков? Также мы отвергаем как недоказанные сплетни Светония о том, что Нерон якобы сжег Рим. Позволим остановиться лишь на одной частности, трактовка которой нам кажется типичной для заушательской манеры Светония.

Светоний утверждает, что Нерон, выступая перед народом, специально подобрал множество юношей всаднического сословия, а также пять тысяч сильных молодых людей из плебса, чтобы они “изучили различные роды аплодисментов и усердствовали во время его выступлений”. Зачем, скажите, Нерону тренировать “молодых людей”, если народ каждое его слово встречал громовыми аплодисментами и криками: “Да здравствует император!”

В заключение моей апологии я хотел бы кратко остановиться на событиях последнего периода жизни императора и развеять очередную тучу клеветы, запущенную Светонием.

Светоний осмелился утверждать, что Нерон игнорировал донесения лазутчиков о том, что галлы под предводительством Виндекса готовятся к вторжению в Италию, полагая, что Виндекс никогда не осмелится на него напасть. Когда же вторжение началось, Нерон, по утверждению Светония, “в течение восьми дней кряду даже виду не показал, что собирается давать кому-нибудь приказание, и, казалось, молчанием хотел заставить забыть о происходящем”. Светоний пишет, что, ссылаясь на болезнь, Нерон не явился на собранное заседание сената, что в первые дни он отказался обратиться к народу. Когда же он узнал, что положение ухудшается, то “повалился на пол, жестоко сраженный духом, и долго лежал безгласный и почти полумертвый. Придя в себя, он растерзал на себе одежды и, бия себя в голову, заявил, что “его песня спета”.

Говоря так, Светоний пытается вызвать у читателя подозрение в том, что великий римский полководец был подвержен трусости и растерянности, что армии его терпели поражения, потому что он истребил собственных полководцев... В самом же деле любому человеку ясно, что в те дни, когда Нерон не показывался народу, он планировал операции по отражению предательского нашествия...

На этом месте рукопись «Апологии» Гнея Домиция обрывается. Очевидно, нам так и не удастся узнать, каким образом автор трактует последние дни Нерона и какими словами воспекает его общую прогрессивную роль в истории Римской империи.

САДОВНИК В ССЫЛКЕ

Павлыш застрял на Дене и сам был в этом виноват. Когда ему сказали, что мест нет и не будет, он еще успел бы сбежать в диспетчерскую, но рядом с ним стояла пожилая женщина, которой было очень нужно успеть на Фобос до отлета Экспедиции, и Павлышу стало неловко при мысли, что, если он раздобудет себе место, женщина, оставшаяся в космопорту, увидит, как он едет к кораблю.

Вот он и шел в буфет, решив, что десять часов до отлета грузового к Земле-14 он проведет за неспешным чтением, хотя куда лучше было бы провести за неспешным чтением эти часы в каюте корабля.

Через полчаса космодром опустел. Он вообще на Дене невелик. Планетка эта деловая, для собственного удовольствия никто здесь жить не будет — что за радость гулять вечерами в скафандре высокой защиты? Правда, притяжение здесь 0,3, и потому движения у всех размеренные и широкие.

Марианна — Павлыш уже успел познакомиться с ней и узнать, что геологи дежурят в баре по дню в месяц, — занималась своим делом: прижимала к губам диктофон и бормотала что-то об интрузиях и пегматитах. Грустный механик сосал лимонад за столиком и с отвращением поглядывал на консервированные сосиски; парочка, сидевшая к Павлышу спинами, переживала какое-то тяжелое объяснение, и Павлыш подумал, что буфет космодрома — самое уединенное место на всей планетке, где каждый ее обитатель знает всех остальных в лицо.

...Человек влетел в буфет, словно прыгнул в длину.

Сначала показались башмаки, измазанные землей, хотя никакой земли на Дене нет, потом башмаки втащили за собой прогнувшееся в спине нескладное худое тело. Человек не смог остановиться и пронесся, если это кошмарное движение можно так определить, до самой стойки. Закачались от движения воздуха шторы с неизбежными бесрезками, за которыми не было окон. Зазвенели бокалы на полке. Барменша уронила диктофон, и тот, переключившись на воспроизведение, забормотал ее голосом об интрузиях и пегматитах. Замолкли влюбленные. Механик схватил и приподнял тарелку с консервированными сосисками.

— Я этого не потерплю! — воскликнул человек, врезаюсь в стойку. Голос у него был дребезжащий и резкий. — Они не привезли удобрений!

Тут ему удалось уцепиться за край стойки, и, смахнув на пол бокал, он, наконец, принял вертикальное положение. У него оказалось узкое, устремленное вперед лицо с острым носом, серые, близко посаженные глаза и лоб, столь сильно сжатый впадинами на висках, что выдавался вперед, как у щенка охотничьей собаки.

— Ну? — спросил он строго. — Что делать? Куда жаловаться?

Павлыш ожидал какой-нибудь резкости со стороны геологини за стойкой, смешков или улыбок со стороны других, но реакция девушки была совершенно неожиданной. В полной, как будто даже почтительной тишине она сказала:

— Это действительно безобразие, профессор.

— Сколько раз, Марианна, я велел тебе не называть меня профессором?

— Извините, садовник.

— Вы, товарищ, откуда? — обернулся человек к Павлышу.

Но тут он увидел кого-то за спиной Павлыша и бросился вперед, к двери буфета, с такой скоростью, что обе его ноги в грузных башмаках оторвались от пола. И исчез. Лишь его высокий голос трепетал в зале ожидания.

Павлыш пожал плечами и поглядел вокруг. Все было тихо, словно только так садовники на Дене посещают местный космодром. Механик с отвращением жевал сосиски, а барменша чинила диктофон. Влюбленные шептались. Ин-

интересно, подумал Павлыш, а что здесь делает садовник? Где его сады?

Он подошел к бару.

— Простите, Марианна,— сказал он.— Я, как видно, не все понял.

— А,— сказала девушка, поднимая на Павлыша глаза.— Вы приезжий.

— Да. Жду рейса.

— Вам кофе?

— Нет, вы называли его профессором...

— Он и в самом деле профессор,— сказала девушка, понизив голос.— Самый настоящий профессор. Он у нас в ссылке.

— Что?— Вот тут уж Павлыш удивился.

— В ссылке,— сказала девушка, наслаждаясь произведенным эффектом.

— Это точно,— сказал механик, отодвигая сосиски.— Он сейчас к диспетчерам побежал. Пропесочивает их. Боевой старик.

— Простите.— Павлыш был заинтригован.— Я полагал, что ссылка — понятие историческое.

— Это точно, доктор,— согласился механик, присмотревшись к нашивкам Павлыша.

— Он не шутит,— сказал молодой человек, который шептался со своей возлюбленной.— Садовник — самый популярный человек на Дене. Наша достопримечательность.

— Он совершил преступление,— сказала барменша Марианна.

— Дай сюда диктофон,— сказал молодой человек.— Мы его тебе сейчас починим.

— Но разве существуют преступления, за которые...— начал было Павлыш.

За дверью послышался грохот, звон стекла, и в буфете снова возникли подошвы летящего садовника.

Павлыш на этот раз был начеку и потому бросился навстречу садовнику и подхватил его раньше, чем он успел что-нибудь разрушить.

Садовник сказал возмущенно Павлышу:

— Отпустите меня в конце концов. Никуда я не денусь.

Павлыш опустил его на пол, и садовник, собиравшийся

в этот момент вырваться собственными силами, тут же по причине малого притяжения потерял равновесие. Павлышу снова пришлось его ловить.

— Спасибо,— сказал садовник.— А вы случайно не из службы перевозок?

— Я из Космической разведки,— сказал Павлыш.— Я врач.

— Очень приятно познакомиться,— сказал садовник.— Гурий Ниц. Садовник.

Он смотрел на Павлыша оценивающе, словно спрашивая: а какая от тебя польза? Чем ты можешь нам пригодиться?

— У вас здесь оранжерея?— спросил Павлыш, чтобы завязать разговор.

— Оранжерея? Маленький клочок почвы, привезенный с Земли.

— Профессор шутит,— сказала Марианна, которая все слышала.— У нас замечательная оранжерея. Лучшая на астероидах. К нам прилетали с Марса. У них условия куда лучше, но они так и не смогли добиться ничего подобного...

— Марианна,— строго прервал ее профессор.— Ни слова больше.

— И вы выращиваете овощи?

— Какие там овощи! Я даже не могу накормить как следует моих людей. Вот если бы вы помогли нам добыть еще один корабль с червоточей...

Он посмотрел на Павлыша умоляюще.

— Но я...

— Может быть, у вас есть друзья в службе перевозок? К нам так часто приходят пустые корабли за рудой. Ну что стоит их загрузить вместо балласта!

— Вы по профессии биолог?— спросил Павлыш осторожно.

— Биолог?— Ниц горько захохотал. Хохот вырывался из горла, будто завели мотоциклетный мотор.— Я историк литературы.

— Он гениальный биолог,— сказала Марианна.— И гениальный историк литературы.

— Я немедленно ухожу отсюда! — возмутился Ниц.—

Как ты смеешь, Марианна, ставить меня в неудобное положение перед чужим человеком?

— Простите, профессор,— сказала Марианна твердо, давая понять, что от своих слов отступаться не намерена.

Ниц махнул рукой.

— Тут создалось обо мне преувеличенное мнение. Некоторые успехи, которых я добился в огорожке, связаны лишь с моей настойчивостью. Ни таланта, ни школы, ни настоящих знаний у меня, конечно же, нет.

— Профессор! — взмолилась Марианна.

— Все! — сказал Ниц, поднимаясь.— Я уйду.

Он обернулся к Павлышу.

— А если вы желаете поглядеть на мои овощи...

Тут голос его упал, и Ниц застыл с полуоткрытым ртом. Он глядел на книги, купленные Павлышем в киоске космопорта.

— Новое издание,— сказал он, словно умоляя Павлыша разубедить его.

— Да,— сказал Павлыш.— Полное. Я со школы не удосужился перечитать. А на Земле слышал, что выходит полное издание «Мертвых душ», да упустил.

— Вы это купили здесь?

— А где же?

— А я упустил! Бежим же, купим еще!

— Боюсь, что это была последняя книга,— сказал Павлыш,— но если вам она так нужна, возьмите.

Павлыш взял с дивана том Гоголя и протянул садовнику.

— Считайте, что она ваша.

— Ну что же,— сказал Ниц.— Спасибо.

Он раскрыл книгу и показал Павлышу на титульный лист. Там было написано: «Публикация, комментарии и послесловие профессора Гурия Ница».

Ниц схватил Павлыша за руку и повлек к выходу. Лишь оказавшись в зале, он сказал ему на ухо:

— Они не должны знать. Мне будет страшно неудобно, если они узнают. Они думают, что я сюда приехал в качестве садовника. Но они славные люди, и, когда в шутку называют меня профессором, я не сержусь.

Павлыш подумал, что профессор недооценивает прони-

чательность своих соседей, но спорить не стал. Он уже понял, что Ниц не из тех людей, с которыми легко и приятно спорить.

— Пойдемте, наденем скафандры, и я проведу вас в оранжерею,— сказал Ниц.— Здесь нас могут услышать. Вы скоро улетаете?

— У меня еще несколько часов до отлета.

— Отлично. Я так оторван от жизни на Земле — вы себе не представляете.

Оранжерея оказалась и на самом деле обширной и великолепно. Длинные грядки овощей, яблоневые саженцы, клумбы цветов — все это занимало площадь больше гектара. Мощные лампы помогали далекому солнцу обогревать и освещать растения. Роботы медленно ехали вдоль гряд, пропалывая морковь и редиску. В оранжерее стоял теплый, влажный запах земли и листьев. Жужжали пчелы.

— Когда я приехал, ничего этого здесь не было,— сказал Ниц.— Раздевайтесь. Здесь жарко. Сначала меня никто не принимал всерьез. Теперь же оранжерея — гордость Дены. Каждому хочется помочь мне. Здесь чудесные люди. И если бы не дела на Земле, я бы остался здесь навсегда. Но мне еще надо свести кое-какие счета.

В голосе Ница зазвенел металл, и Павлышу даже показалось, что садовник стал выше ростом.

— Ну хорошо,— продолжал он совсем другим тоном.— Как вам понравилось мое послесловие? Мне нет смысла таиться от вас. Надеюсь, что никто больше на Дене не купил эту книжку и моя тайна остается скрытой от этих милых простых людей.

— Я не успел его прочесть,— сознался Павлыш.

— А я ее отобрал у вас. Грустно. Но вы еще купите. А мне должны были прислать авторский экземпляр. Но пока не прислали. Это тоже безобразие.

Ниц привел Павлыша в небольшую комнату в дальнем конце оранжереи, где находился его кабинет. Одна из стен была занята стеллажом с книгами и микрофильмами. Беглого взгляда Павлышу было достаточно, чтобы понять, что все книги так или иначе относятся либо к ботанике, либо к истории первой половины XIX века.словно хозяин библиотеки разрывался между двумя страстями.

— Подождите меня здесь,— сказал Ниц.— Сейчас я вас угощу.

Он исчез, опрокинув по дороге горшок с рассадой.

Павлыш поймал горшок и подошел к полкам. На третьей полке сверху стояло восемь экземпляров книги «Мертвые души» точно того же издания, как и та, что Ниц выпросил у Павлыша. Садовник лгал. Лгал не очень умело — в конце концов никто не заставлял его вести Павлыша в кабинет. Чтобы не ставить хозяина в неудобное положение, Павлыш отошел от стеллажа и уселся в кресло спиной к книгам. Раскрыл «Мертвые души» — толстый том — и перелистал его, разыскивая, откуда начинается послесловие Ница. Вот оно. Сразу после слов «Конец второго тома» начиналась статья.

«Знаменательное событие в истории русской литературы...» — прочел Павлыш, но тут появился садовник с подносом абрикосов и яблок.

— Ешьте,— сказал он Павлышу.— Они сладкие.

— Спасибо.

— Вы, я вижу, читаете. Очень похвально. Вы вообще произвели на меня благоприятное впечатление. Мне даже хочется рассказать вам обстоятельства моей жизни. Тот, кто знает главное, имеет право знать второстепенные детали.

— Мне очень интересно,— сказал Павлыш.

— Я понимаю, вы заинтригованы. Что делает здесь профессор Ниц? Вам раньше не приходилось слышать мою фамилию?

— К сожалению, нет.

— Ничего удивительного. Я не обижаюсь. Но должен сказать, что, когда я перед отъездом посетил Всемирный конгресс историков литературы, мое появление в зале было встречено овацией. Да, овацией. И я уехал сюда. У меня был выбор. Мне предложили стать профессором литературы в Марсианском университете. Меня приглашали заведовать литературными курсами на Внешних Базах. Но я выбрал стезю огородника. И пусть пожимают плечами мои коллеги. Растения всегда были моей любовью. Сначала справедливость. Затем растения. Вам понятно?

— Почти,— сказал Павлыш.

— До конца не могут понять друг друга даже очень близкие люди. Мы же с вами знакомы всего час.

— Так, значит, вы отказались от литературы?— спросил Павлыш.

— Да. И уехал сюда. Любое из предложений, которые сделала мне Академия наук, было выражением несправедливости. Я предпочел их удивить.

И профессор усмехнулся. Потом спросил:

— Ну и как вам Тентетников?

— Кто?

— Тентетников. Могли бы вы предположить в свете всего, что мы знаем, что Улинька поедет за ним в Сибирь?

— Тентетников?— повторил Павлыш, чувствуя, что время от времени совершенно не понимает профессора.

— Так вы читали «Мертвые души» или не читали?

— А... Тентетников?.. Как же, как же.— Павлыш лихорадочно пытался вспомнить, кто такой этот Тентетников. Собакевича помнил. Манилова помнил. Чичикова, конечно, помнил. И Коробочку с Плюшкиным. А вот Тентетников...— Я так давно читал,— сказал Павлыш виновато.— Так давно. Еще в школе. И совсем смутно помню Тентетникова.

— Так,— сказал профессор, пронзая Павлыша уничтожающим взглядом.— Конечно, в школе... давно. Вы не могли читать о том, как Тентетникова выслали в Сибирь, молодой человек. Не могли, потому что Гоголь написал эту главу за десять дней до смерти, а за девять дней он весь второй том «Мертвых душ» сжег. Так-то.

— Конечно,— вспомнил Павлыш.— Конечно, простите, профессор.

Теперь он понял, кого напоминает ему профессор. Гоголя. Не такого элегантного, светского, что стоит на Гоголевском бульваре, а того, грустного, что сидит у Суворовского бульвара. Да, да, конечно, Гоголь сжег второй том. Он был при смерти и попал под влияние священников.

Павлыш обрадовался, что память его все-таки не подвела.

— Значит, второго тома нет?

— Нет,— отрезал Ниц.— А теперь откройте книгу. Смотрите в оглавление!

«Том первый, страница три... — было написано в оглавлении.— Том второй...»

— Вы,— сказал Павлыш.— Вы нашли рукопись? И опубликовали ее?

— Почти,— ответил профессор.— Почти.

— Но как же вам это удалось?

— Что же,— сказал профессор, вгрызаясь в зеленое и явно кислое яблоко.— Можно рассказать. Главная черта моего характера — стремление к справедливости.

Профессор задумался, глядя прямо перед собой очень светлыми прозрачными глазами. Павлыш не торопил его.

— Меня всегда волновала проблема исторической справедливости,— продолжал Ниц.— И всегда возмущало, если она заставляла себя ждать. Историческая справедливость — а в литературе ее действие наиболее обнажено — не всегда успевает появиться на сцене до закрытия занавеса. И если появляется, то порой может показаться, что она уже не нужна. И вот в таких случаях наш долг, долг потомков, помочь ей. Можно гнать и уничтожать писателя или поэта. Можно убить его. Но обязательно наступит день, когда его слова победят врагов. Это закон, аксиома. Знали бы мы что-нибудь о князе Игоре — одном из ничтожных князей рядом с такими гигантами, как Андрей Боголюбский или Владимир Мономах? Нет, не знали бы. А не исключено, что он с высокомерным презрением относился к жалкому писаке — автору «Слова о полку Игореве». Может, даже приказал казнить его, в княжьей своей гордыне полагая, что этот поэт его скомпрометировал. А вот оказывается, что «Слово» куда важнее для нас, чем дела и мысли князя. Что и остался он в истории лишь благодаря «Слову». На этом примере мы видим сразу и действие исторической справедливости, указавшей на действительное соотношение в системе князь-поэт, и также ограниченность ее действий, потому что имени поэта она нам не подарила.

— Но я слышал...— начал Павлыш.

— Совершенно верно.— Профессор поднял вверх указательный палец.— Вы хотели сказать мне, что сегодня историки не так беспомощны перед временем, как сто лет назад. Что институт времени планирует экспедицию в двс-

надцатый век, чтобы узнать, кто написал «Слово» и найти его первоначальные списки. Вот об этом я и хочу сказать. Здесь содержится моя радость и моя трагедия. Радость, что я могу приобщиться к тем, кто может не только искать, исследовать, но и помогать исторической справедливости. Трагедия в том, что даже в такой ситуации мы не всесильны. Дантес убил Пушкина и дожил до старости сенатором и богатым человеком. Впрочем, уверяют, что перед смертью Дантеса мучила совесть. Но он не имел права так долго жить!

Профессор поперхнулся, и Павлышу пришлось встать и как следует хлопнуть его по спине.

— Спасибо. Оставим Дантеса. Возьмем другой случай. Гоголь в конце жизни попадает под тягостное и мрачное влияние священника Матфея. Матфей уговаривает его бросить литературу, поститься, уйти в монахи. Матфей глуп и фанатичен. Но психика Гоголя надломлена неудачами, разочарованием в друзьях. И вот Гоголь — умница и человек, не чуждый житейских радостей, любитель славно поест — становится аскетом. Он молится. Читает нелепейшие жития святых, едет в Иерусалим. Но не может отказаться от одного. Он не может перестать писать. «Не писать для меня совершенно значило бы то же, что не жить», — говорит он. И продолжает работать над «Мертвыми душами». И почти кончает второй том. Люди, которым он читал главы из книги — Шевырев, Толстой, Смирнова, Аксаков, — уверяют, что это были гениальные страницы. Казалось бы, Гоголь победит. Но побеждает отец Матфей. После его последнего приезда Гоголь униженно благодарит его, клянет себя за жестокосердие. За девять дней до смерти он сжигает все свои бумаги, в том числе «Мертвые души» — плод многих лет работы. И перестает принимать пищу, перестает двигаться. Умирает, потому что подчинился отцу Матфею, но не смог жить без литературы. Это страшная трагедия. И знаете, что сказали после смерти Гоголя те, кто направлял руку Матфея? Митрополит Филарет прослезился и заявил, что следовало действовать иначе, «следовало убеждать, что спасение не в посте, а в послушании». Чувствуете, какое лицемерие?

Профессор соскочил со стула, и Павлышу пришлось

поддерживать его, чтобы он не ударился обо что-нибудь в порыве гнева.

— Он же сам говорил: в послушании. А что сделал Гоголь? Послушался. А знаете, что сказал о Гоголе епископ Калужский? «Он просто сбившийся с истинного пути пустослов».

Профессор дышал глубоко и часто.

— Убийцы всегда находят удивительно подлые слова,— сказал он наконец.— Они даже снисходят до крокодильих слез. Но им не должно доставаться места в истории!

— Но как же вам удалось найти рукопись?— спросил Павлыш, чтобы отвлечь профессора от горьких мыслей.

— Как? С рукописью было не очень сложно. Просто понадобилась моя настойчивость. И все. Мы не можем воскресить Пушкина, потому что его смерть от пули Дантеса — исторический факт. Мы не можем спасти Гоголя. Хотя мы должны мстить и карать... Нет, что я говорю. Ладно... да, о рукописи. Если она сгорела, то для нас, могущих путешествовать во времени, ее гибель не окончательна. В общем, я правдами и неправдами получил разрешение на поездку в 1852 год, попал туда за несколько дней до сожжения рукописи. Самое путешествие было нетрудным. Труднее готовиться к нему. Я должен был полностью вписаться в то время. Ну, а на месте я узнал, как выглядят рукописи, достал их на ночь и переснял. Гоголь спал. Его слуга-мальчик — тот самый, что отговаривал его жечь бумаги, так трогательно повторяя: «Зачем вы это делаете? Может, оне пригодятся еще»,— его слуга тоже спал. Меня никто не видел. Вот и все. И в результате я здесь.

— Ничего не понимаю,— сказал Павлыш.— Вы ведь докладывали на конгрессе, писали послесловие. Почему вы здесь?

— По собственной воле,— сказал профессор.— Мне предложили выбирать между несколькими постами вне Земли.

Павлыш понял, что профессор недоговаривает. Но не стал спорить.

— Сейчас дело не в этом,— сказал профессор.— Я рассказал вам всю историю, потому что нуждаюсь в вашем

сочувствии и в вашей помощи. Мне необходимо попасть на Землю.

— Но как я могу помочь вам? Садитесь на корабль...

— Нет, нет, я дал слово, и будет очень неудобно... Мы с вами одного роста. Уступите мне вашу форму и дайте мне ваши документы. А пока останьтесь здесь за меня. Скажитесь больным. Народ здесь деликатный, и вас не будут тревожить.

— Как же можно,— сказал Павлыш и не удержался от улыбки. Он был на голову выше профессора и вдвое шире его в плечах.— Вас же сразу узнают.

— Конечно,— сдался профессор.— Я и сам так думаю. Но иногда меня посещает надежда, что с моей помощью...

Но он не успел договорить. Зазвенел видеотелефон. Профессор включил его. На экране появилось лицо диспетчера.

— Здесь доктор Павлыш?— спросил он.— Марианна сказала, что он пошел к вам, профессор.

— Сколько раз я вам должен говорить, что я не...

— Извините, садовник,— чуть улыбнулся диспетчер.— Но мы получили сообщение, что приближается корабль. Он немного выбился из графика. Так что доктору Павлышу лучше поскорее приехать на космодром. Мы не знаем, сколько корабль здесь пробудет.

— Спасибо вам, профессор,— сказал Павлыш, поднимаясь.— Я рад, что познакомился с вами. Это большая честь для меня.

Профессор махнул рукой и, ничего не сказав, отвернулся.

На космодроме снова пришлось ждать. Диспетчер поторопился с вызовом Павлыша. Корабль задерживался. Павлыш вернулся в буфет и подошел к стойке.

— Вы были у него в оранжерее?— спросила Марианна.

— Да,— сказал Павлыш.— Он добился сказочных успехов.

— Мы очень уважаем профессора,— сказала Марианна.— Он так много сделал. Вы видели его «Мертвые души»?

— Вы знаете?

— Все знают. Но если он не хочет говорить — это его право.

— А почему его сюда сослали?

— Я не совсем точно тогда выразилась. Ему предложили несколько мест на выбор. При условии, что он улетит с Земли.

— Но почему же?

— Он нарушил правила путешествий во времени.

— Разве это основание?..

— И все знали, что если он останется на Земле, то не выдержит. А с его изобретательностью и умом он обязательно проберется в прошлое.

— Так что же он там натворил?

— К счастью, немного.

— Он сказал мне, что переснял второй том.

— За это его никто не собирается наказывать. Но он еще разыскал отца Матфея и, представляете, избил его. Вы не смотрите, что профессор такой худенький. Он жилистый и быстрый. Как Суворов.

— Правильно сделал,— сказал Павлыш.

— Никто с вами не спорит. Но нельзя же отправляться в собственное прошлое и наводить там порядок. Даже ради справедливости.

— Отец Матфей никому не рассказал об этом?

— Никому. И это бы еще сошло профессору с рук. Но вы знаете, как его поймали?.. Он под видом уланского офицера сумел пробраться к Дантесу и, оскорбив действием, вызвал его на дуэль. Вы понимаете, чем это грозило? И профессора пришлось срочно отправить подальше от Земли.

— Но Дантес об этом тоже никому не рассказал?

— Нет, но после отъезда профессора в девятнадцатый век выяснилось, что он позаимствовал в историческом музее дульный пистолет и тренировался в стрельбе. Тогда-то и возникло жуткое подозрение...

— Доктор Павлыш,— сказал механическим голосом ди-намик.— Вас просят в диспетчерскую.

— До свидания,— сказала Марианна.— Приезжайте еще. Мы вас тут такими помидорами угостим!

МОЖНО ПОПРОСИТЬ НИНУ?

- Можно попросить Нину?— сказал я.
- Это я, Нина.
- Да? Почему у тебя такой странный голос?
- Странный голос?
- Не твой. Тонкий. Ты огорчена чем-то?
- Не знаю.
- Может быть, мне не стоило звонить?
- А кто говорит?
- С каких пор ты перестала меня узнавать?
- Кого узнавать?

Голос был моложе Нины лет на двадцать. А на самом деле Нинин голос лишь лет на пять моложе хозяйки. Если человека не знаешь, по голосу его возраст угадать трудно. Голоса часто старятся раньше владельцев. Или долго остаются молодыми.

— Ну ладно,— сказал я.— Послушай, я звоню тебе почти по делу.

— Наверно, вы все-таки ошиблись номером,— сказала Нина.— Я вас не знаю.

— Это я, Вадим, Вадик, Вадим Николаевич! Что с тобой?

— Ну вот! — Нина вздохнула, будто ей жаль было прекращать разговор.— Я не знаю никакого Вадика и Вадима Николаевича.

— Простите,— сказал я и повесил трубку.

Я не сразу набрал номер снова. Конечно, я просто не туда попал. Мои пальцы не хотели звонить Нине. И набрали не тот номер. А почему они не хотели?

Я отыскал в столе пачку кубинских сигарет. Крепких, как сигары. Их, наверно, делают из обрезков сигар. Какое у меня может быть дело к Нине? Или почти дело? Никакого. Просто хотелось узнать, дома ли она. А если ее нет дома, это ничего не меняет. Она может быть, например, у мамы. Или в театре, потому что она тысячу лет не была в театре.

Я позвонил Нине.

— Нина?— сказал я.

— Нет, Вадим Николаевич,— ответила Нина.— Вы опять ошиблись. Вы какой номер набираете?

— 149-40-89.

— А у меня Арбат — один — тридцать два — пять три.

— Конечно,— сказал я.— Арбат — это четыре?

— Арбат — это Г.

— Ничего общего,— сказал я.— Извините, Нина.

— Пожалуйста,— сказала Нина.— Я все равно не занята.

— Постараюсь к вам больше не попадать,— сказал я.— Где-то заклинило. Вот и попадаю к вам. Очень плохо телефон работает.

— Да,— согласилась Нина.

Я повесил трубку.

Надо подождать. Или набрать сотню. Время. Что-то замкнется в перепутавшихся линиях на станции. И я дозвонюсь. «Двадцать два часа ровно»,— сказала женщина по телефону «сто». Я вдруг подумал, что если ее голос записали давно, десять лет назад, то она набирает номер «сто», когда ей скучно, когда она одна дома, и слушает свой молодой голос. А может быть, она умерла. И тогда ее сын или человек, который ее любил, набирает сотню и слушает ее голос.

Я позвонил Нине.

— Я вас слушаю,— сказала Нина молодым голосом.— Это опять вы, Вадим Николаевич?

— Да,— сказал я.— Видно, наши телефоны соединились намертво. Вы только не сердитесь, не думайте, что я шучу. Я очень тщательно набираю номер, который мне нужен.

— Конечно, конечно,— быстро сказала Нина.— Я ни

на минуту не подумала. А вы очень спешите, Вадим Николаевич?

— Нет,— сказал я.

— У вас важное дело к Нине?

— Нет, я просто хотел узнать, дома ли она.

— Соскучились?

— Как вам сказать...

— Я понимаю, ревнуете,— сказала Нина.

— Вы смешной человек,— сказал я.— Сколько вам лет, Нина?

— Тринадцать. А вам?

— Больше сорока. Между нами толстенная стена из кирпичей.

— И каждый кирпич — это месяц, правда?

— Даже один день может быть кирпичом.

— Да,— вздохнула Нина,— тогда это очень толстая стена. А о чем вы думаете сейчас?

— Трудно ответить. В данную минуту ни о чем. Я же разговариваю с вами.

— А если бы вам было тринадцать лет или даже пятнадцать, мы могли бы познакомиться,— сказала Нина.— Это было бы очень смешно. Я бы сказала: приезжайте завтра вечером к памятнику Пушкину. Я вас буду ждать в семь часов ровно. И мы бы друг друга не узнали. Вы где встречаетесь с Ниной?

— Как когда.

— И у Пушкина?

— Не совсем. Мы как-то встречались у «России».

— Где?

— У кинотеатра «Россия».

— Не знаю.

— Ну, на Пушкинской.

— Все равно почему-то не знаю. Вы, наверно, шутите. Я хорошо знаю Пушкинскую площадь.

— Не важно,— сказал я.

— Почему?

— Это давно было.

— Когда?

Девочке не хотелось вешать трубку. Почему-то она упорно продолжала разговор.

— Вы одна дома?— спросил я.

— Да. Мама в вечернюю смену. Она медсестра в госпитале. Она на ночь останется. Она могла бы прийти сегодня, но забыла дома пропуск.

— Ага,— согласился я.— Ладно, ложись спать, девочка. Завтра в школу.

— Вы со мной заговорили, как с ребенком.

— Нет, что ты, говорю с тобой, как со взрослой.

— Спасибо. Только сами, если хотите, ложитесь спать в семь часов. До свидания. И больше не звоните своей Нине. А то опять ко мне попадете. И разбудите меня, маленькую девочку.

Я повесил трубку. Потом включил телевизор и узнал о том, что луноход прошел за смену 337 метров. Луноход занимался делом, а я бездельничал. В последний раз я решил позвонить Нине уже часов в одиннадцать, целый час занимал себя пустяками. И решил, что если опять попаду на девочку, повешу трубку сразу.

— Я так и знала, что вы еще раз позвоните,— сказала Нина, подойдя к телефону.— Только не вешайте трубку. Мне, честное слово, очень скучно. И читать нечего. И спать еще рано.

— Ладно,— сказал я.— Давайте разговаривать. А почему вы так поздно не спите?

— Сейчас только восемь,— сказала Нина.

— У вас часы отстают,— сказал я.— Уже двенадцатый час.

Нина засмеялась. Смех у нее был хороший, мягкий.

— Вам так хочется от меня отделаться, что просто ужас,— сказала она.— Сейчас октябрь, и поэтому темно. И вам кажется, что уже ночь.

— Теперь ваша очередь шутить?— спросил я.

— Нет, я не шучу. У вас не только часы врут, но и календарь врет.

— Почему врет?

— А вы сейчас мне скажете, что у вас вовсе не октябрь, а февраль.

— Нет, декабрь,— сказал я. И почему-то, будто сам себе не поверил, посмотрел на газету, лежавшую рядом, на

диване. «Двадцать третье декабря» — было написано под заголовком.

Мы помолчали немного, я надеялся, что она сейчас скажет «до свидания». Но она вдруг спросила:

— А вы ужинали?

— Не помню,— сказал я искренне.

— Значит, не голодный.

— Нет, не голодный.

— А я голодная.

— А что, дома есть нечего?

— Нечего! — сказала Нина.— Хоть шаром покати. Смешно, да?

— Даже не знаю, как вам помочь,— сказал я.— И денег нет?

— Есть, но совсем немножко. И все уже закрыто. А потом, что купишь?

— Да,— согласился я.— Все закрыто. Хотите, я пошурю в холодильнике, посмотрю, что там есть?

— У вас есть холодильник?

— Старый,— сказал я.— «Север». Знаете такой?

— Нет,— сказала Нина.— А если найдете, что потом?

— Потом? Я схвачу такси и подвезу вам. А вы спуститесь в подъезд и возьмете.

— А вы далеко живете? Я — на Сивцевом Вражке. Дом 15/25.

— А я на Мосфильмовской. У Ленинских гор. За Университетом.

— Опять не знаю. Только это не важно. Вы хорошо придумали, и спасибо вам за это. А что у вас есть в холодильнике? Я просто так спрашиваю, не думайте.

— Если бы я помнил,— сказал я.— Сейчас перенесу телефон на кухню, и мы с вами посмотрим.

Я пришел на кухню, и провод тянулся за мной, как змея.

— Итак,— сказал я,— открываем холодильник.

— А вы можете телефон носить за собой? Никогда не слышала о таком.

— Конечно, могу. А ваш телефон где стоит?

— В коридоре. Он висит на стенке. И что у вас в холодильнике?

— Значит, так... что тут, в пакете? Это яйца, неинтересно.

— Яйца?

— Ага. Куриные. Вот, хотите, принесу курицу? Нет, она французская, мороженая. Пока вы ее сварите, совсем проголодаетесь. И мама придет с работы. Лучше мы возьмем колбасы. Или нет, нашел марокканские сардины, шестьдесят копеек банка. И к ним есть полбанки майонеза. Вы слышите?

— Да,— сказала Нина совсем тихо.— Зачем вы так шутите? Я сначала хотела засмеяться, а потом мне стало грустно.

— Это еще почему? В самом деле так проголодалась?

— Нет, вы же знаете.

— Что я знаю?

— Знаете,— настаивала Нина. Потом помолчала и добавила:— Ну и пусть! Скажите, а у вас есть красная икра?

— Нет,— сказал я.— Зато есть филе палтуса.

— Не надо, хватит,— сказала Нина твердо.— Давайте отвлечемся. Я же все поняла.

— Что поняла?

— Что вы тоже голодный. А что у вас из окна видно?

— Из окна? Дома, копировальная фабрика. Как раз сейчас, полдвенадцатого, смена кончается. И много девушек выходит из проходной. И еще виден «Мосфильм». И пожарная команда. И железная дорога. Вот по ней сейчас идет электричка.

— И вы все видите?

— Электричка, правда, далеко идет. Только видна цепочка огоньков, окон!

— Вот вы и врете!

— Нельзя так со старшими разговаривать,— сказал я.— Я не могу врать. Я могу ошибаться. Так в чем же я ошибся?

— Вы ошиблись в том, что видите электричку. Ее нельзя увидеть.

— Что же она, невидимая, что ли?

— Нет, видимая, только окна светиться не могут. Да вы вообще из окна не выглядывали.

— Почему? Я стою перед самым окном.

- А у вас в кухне свет горит?
- Конечно, а то как же я в темноте в холодильник бы лазил? У меня в нем перегорела лампочка.
- Вот видите, я вас уже в третий раз поймала.
- Нина, милая, объясни мне, на чем ты меня поймала.
- Если вы смотрите в окно, то откинули затемнение. А если откинули затемнение, то потушили свет. Правильно?
- Неправильно. Зачем же мне затемнение? Война, что ли?
- Ой-ой-ой! Как же можно так завираться? А что же, мир, что ли?
- Ну, я понимаю, Вьетнам, Ближний Восток... Я не об этом.
- И я не об этом... Пойдите, а вы инвалид?
- К счастью, все у меня на месте.
- У вас бронь?
- Какая бронь?
- А почему вы тогда не на фронте?
- Вот тут я в первый раз заподозрил неладное. Девочка меня вроде бы разыгрывала. Но делала это так обыкновенно и серьезно, что чуть было меня не испугала.
- На каком я должен быть фронте, Нина?
- На самом обыкновенном. Где все. Где папа. На фронте с немцами. Я серьезно говорю, я не шучу. А то вы так странно разговариваете. Может быть, вы не врете о курице и яйцах?
- Не вру,— сказал я.— И никакого фронта нет. Может быть, и в самом деле мне подъехать к вам?
- Так я в самом деле не шучу! — почти крикнула Нина.— И вы перестаньте. Мне сначала было интересно и весело. А теперь стало как-то не так. Вы меня простите. Как будто вы не притворяетесь, а говорите правду.
- Честное слово, девочка, я говорю правду,— сказал я.
- Мне даже страшно стало. У нас печка почти не греет. Дров мало. И темно. Только коптилка. Сегодня электричества нет. И мне одной сидеть ой как не хочется. Я все теплые вещи на себя накутала.
- И тут же она резко и как-то сердито повторила вопрос:
- Вы почему не на фронте?
- На каком я могу быть фронте?— Уже и в самом деле

шутки зашли куда-то не туда.— Какой может быть фронт в семьдесят втором году!

— Вы меня разыгрываете?

Голос опять сменил тон, был он недоверчив, был он маленьким, три вершка от пола. И невероятная, забытая картинка возникла перед глазами — то, что было со мной, но много лет, тридцать или больше назад. Когда мне тоже было двенадцать лет. И в комнате стояла «буржуйка». И я сижу на диване, подобрав ноги. И горит свечка, или это керосиновая лампа? И курица кажется нереальной, сказочной птицей, которую едят только в романах, хотя я тогда не думал о курице...

— Вы почему замолчали?— спросила Нина.— Вы лучше говорите.

— Нина,— сказал я.— Какой сейчас год?

— Сорок второй,— сказала Нина.

И я уже складывал у голове ломтики несообразностей в ее словах. Она не знает кинотеатра «Россия». И телефон у нее только из шести номеров. И затемнение...

— Ты не ошибаешься?— спросил я.

— Нет,— сказала Нина.

Она верила в то, что говорила. Может, голос обманул меня? Может, ей не тринадцать лет? Может, она, сорокалетняя женщина, заболела еще тогда, девочкой, и ей кажется, что она осталась там, где война?

— Послушайте,— сказал я спокойно. Не вешать же трубку.— Сегодня двадцать третье декабря 1972 года. Война кончилась двадцать семь лет назад. Вы это знаете?

— Нет,— сказала Нина.

— Вы знаете это. Сейчас двенадцатый час... Ну как вам объяснить?

— Ладно,— сказала Нина покорно.— Я тоже знаю, что вы не привезете мне курицу. Мне надо было догадаться, что французских кур не бывает.

— Почему?

— Во Франции немцы.

— Во Франции давным-давно нет никаких немцев. Только если туристы. Но немецкие туристы бывают и у нас.

— Как так? Кто их пускает?

— А почему не пускать?

— Вы не вздумайте сказать, что фрицы нас победят! Вы, наверно, просто вредитель или шпион?

— Нет, я работаю в СЭВе, в Совете Экономической Взаимопомощи. Занимаюсь венграми.

— Вот и опять врете! В Венгрии фашисты.

— Венгры давным-давно прогнали своих фашистов. Венгрия — социалистическая республика.

— Ой, а я уже боялась, что вы и в самом деле вредитель. А вы все-таки все выдумываете. Нет, не возражайте. Вы лучше расскажите мне, как будет потом. Придумайте, что хотите, только чтобы было хорошо. Пожалуйста. И извините меня, что я так с вами грубо разговаривала. Я просто не поняла.

И я не стал больше спорить. Как объяснить это? Я опять представил себе, как сижу в этом самом сорок втором году, как мне хочется узнать, когда наши возьмут Берлин и повесят Гитлера. И еще узнать, где я потерял хлебную карточку за октябрь. И сказал:

— Мы победим фашистов 9 мая 1945 года.

— Не может быть! Очень долго ждать.

— Слушай, Нина, и не перебивай. Я знаю лучше. И Берлин мы возьмем второго мая. Даже будет такая медаль — «За взятие Берлина». А Гитлер покончит с собой. Он примет яд. И даст его Еве Браун. А потом эсэсовцы вынесут его тело во двор имперской канцелярии, и обольют бензином, и сожгут...

Я рассказывал это не Нине. Я рассказывал это себе. И я послушно повторял факты, если Нина не верила или не понимала сразу, возвращался, когда она просила пояснить что-нибудь, и чуть было не потерял вновь ее доверия, когда сказал, что Сталин умрет. Но потом я вернул ее веру, поведав о Юрии Гагарине и о новом Арбате. И даже насмешил Нину, рассказав о том, что женщины будут носить брюки-клеш и совсем короткие юбки. И даже вспомнил, когда наши перейдут границу с Пруссией. Я потерял чувство реальности. Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели передо мной на диване и слушали. Только они были голодные как черти. И дела у Вадика обстояли даже хуже, чем у Нины; хлебную карточку он потерял, и до конца месяца им с матерью придется жить на одну ее карточку, рабочую

карточку, потому что Вадик потерял карточку где-то во дворе, и только через пятнадцать лет он вдруг вспомнит, как это было, и будет снова расстраиваться, потому что карточку можно было найти даже через неделю; она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил на решетку пальто, собираясь погонять в футбол. И я сказал, уже потом, когда Нина устала слушать то, что полагала хорошей сказкой:

— Ты знаешь Петровку?

— Знаю,— сказала Нина.— А ее не переименуют?

— Нет. Так вот...

Я рассказал, как войти во двор под арку и где в глубине двора есть подвал, закрытый решеткой. И если это октябрь сорок второго года, середина месяца, то в подвале, вернее всего, лежит хлебная карточка. Мы там, во дворе, играли в футбол, и я эту карточку потерял.

— Какой ужас! — сказала Нина.— Я бы этого не пережила. Надо сейчас же ее отыскать. Сделайте это.

Она тоже вошла во вкус игры, и реальность ушла, и уже ни она, ни я не понимали, в каком году мы находимся,— мы были вне времени, ближе к ее сорок второму.

— Я не могу найти карточку,— сказал я.— Прошло много лет. Но если сможешь, зайди туда, подвал должен быть открыт. В крайнем случае скажешь, что карточку обронила ты.

И в этот момент нас разъединили.

Нины не было. Что-то затрещало в трубке. Женский голос сказал:

— Это 143-18-15? Вас вызывает Орджоникидзе.

— Вы ошиблись номером,— сказал я.

— Извините,— сказал женский голос равнодушно.

И были короткие гудки.

Я сразу же набрал снова Нинин номер. Мне нужно было извиниться. Нужно было посмеяться вместе с девочкой. Ведь получалась в общем чепуха...

— Да,— сказал голос Нины. Другой Нины.

— Это вы?— спросил я.

— А, это ты, Вадим? Что тебе не спится?

— Извини,— сказал я.— Мне другая Нина нужна.

— Что?

Я повесил трубку и снова набрал номер.

— Ты с ума сошел?— спросила Нина.— Ты пил?

— Извини,— сказал я и снова бросил трубку.

Теперь звонить было бесполезно. Звонок из Орджоникидзе все вернул на свои места. А какой у нее настоящий телефон? Арбат — три, нет, Арбат — один — тридцать два — тридцать... Нет, сорок...

Взрослая Нина позвонила мне сама.

— Я весь вечер сидела дома,— сказала она.— Думала, ты позвонишь, объяснишь, почему ты вчера так себя вел. Но ты, видно, совсем сошел с ума.

— Наверно,— согласился я. Мне не хотелось рассказывать ей о длинных разговорах с другой Ниной.

— Какая еще другая Нина?— спросила она.— Это образ? Ты хочешь заявить, что желал бы видеть меня иной?

— Спокойной ночи, Ниночка,— сказал я.— Завтра все объясню.

...Самое интересное, что у этой странной истории был не менее странный конец. На следующий день утром я поехал к маме. И сказал, что разберу антресоли. Я три года обещал это сделать, а тут приехал сам. Я знаю, что мама ничего не выкидывает. Из того, что, как ей кажется, может пригодиться. Я копался часа полтора в старых журналах, учебниках, разрозненных томах приложений к «Ниве». Книги были не пыльными, но пахли старой, теплой пылью. Наконец я отыскал телефонную книгу за 1950 год. Книга распухла от вложенных в нее записок и заложенных бумажками страниц, углы которых были обтрепаны и замусолены. Книга была настолько знакома, что казалось странным, как я мог ее забыть,— если бы не разговор с Ниной, так бы никогда и не вспомнил о ее существовании. И стало чуть стыдно, как перед честно отслужившим костюмом, который отдают старьевщику на верную смерть.

Четыре первые цифры известны. Г-1-32... И еще я знал, что телефон, если никто из нас не притворялся, если надо мной не подшутили, стоял в переулке Сивцев Вражек, в доме 15/25. Никаких шансов найти тот телефон не было. Я уселся с книгой в коридоре, вытащил из ванной табуретку. Мама ничего не поняла, улыбнулась только, проходя мимо, и сказала:

— Ты всегда так. Начнешь разбирать книги, прочитаешься через десять минут. И уборке конец.

Она не заметила, что я читаю телефонную книгу.

Я нашел этот телефон. Двадцать лет назад он стоял в той же квартире, что и в сорок втором году. И записан был на Фролову К. Г.

Согласен, я занимался чепухой. Искал то, чего и быть не могло.

Но вполне допускаю, что процентов десять вполне нормальных людей, окажись они на моем месте, делали бы то же самое. И я поехал на Сивцев Вражек.

Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы. Да и жили ли они здесь? Но мне повезло в домоуправлении. Старенькая бухгалтерша помнила Фроловых, с ее помощью я узнал все, что требовалось, через адресный стол.

Уже стемнело. По новому району, среди одинаковых панельных башен гуляла поземка. В стандартном двухэтажном магазине продавали французских кур в покрытых инеем прозрачных пакетах. У меня появился соблазн купить курицу и принести ее, как обещал, хоть с двадцатилетним опозданием. Но я хорошо сделал, что не купил ее. В квартире никого не было. И по тому, как гулко разносился звонок, мне показалось, что здесь люди не живут. Уехали.

Я хотел было уйти, но потом, раз уж забрался так далеко, позвонил в дверь рядом.

— Скажите, Фролова Нина Сергеевна — ваша соседка?

Парень в майке, с дымящимся паяльником в руке ответил равнодушно:

— Они уехали.

— Куда?

— Месяц как уехали на Север. До весны не вернутся. И Нина Сергеевна, и муж ее.

Я извинился, начал спускаться по лестнице. И думал, что в Москве, вполне вероятно, живет не одна Нина Сергеевна Фролова 1930 года рождения.

И тут дверь сзади снова растворилась.

— Погодите,— сказал тот же парень.— Мать что-то сказать хочет.

Мать его тут же появилась в дверях, запахивая халат.

— А вы кем ей будете?

— Так просто,— сказал я.— Знакомый.

— Не Вадим Николаевич?

— Вадим Николаевич.

— Ну вот,— обрадовалась женщина,— чуть было вас не упустила. Она бы мне никогда этого не простила. Нина так и сказала: не прощу. И записку на дверь приколотла. Только записку, наверно, ребята сорвали. Месяц уже прошел. Она сказала, что вы в декабре придете. И даже сказала, что постарается вернуться, но далеко-то как...

Женщина стояла в дверях, глядела на меня, словно ждала, что я сейчас открою какую-то тайну, расскажу ей о неудачной любви. Наверно, она и Нину пытала: кто он тебе? И Нина тоже сказала ей: «Просто знакомый».

Женщина выдержала паузу, достала письмо из кармана халата.

«Дорогой Вадим Николаевич!

Я, конечно, знаю, что вы не придете. Да и как можно верить детским мечтам, которые и себе самой уже кажутся только мечтами. Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне сказать...»

ДИСКУССИЯ О ЗВЕЗДАХ

ЧАСТЬ I. ЗАГАДКА

Второго эгалитария 346 года эры Галактического братства космический корабль «Рука дружбы» приблизился к планете Валетрикс. Именно этот день должен был стать днем вступления планеты в Содружество.

Планета Валетрикс находилась под ненавязчивым наблюдением галактических патрулей в течение последних ста шестидесяти лет. За ее прогрессом следили, не вмешиваясь, ибо так велят законы. Десять лет назад было решено, что по своему технологическому уровню и социальному развитию планета почти созрела для того, чтобы узнать, что она — не центр Вселенной, что рядом с ней и вдали от нее существуют цивилизации, далеко обогнавшие Валетрикс в своей эволюции и готовые способствовать бурному развитию младшей сестры.

Корабль «Рука дружбы» не в первый раз выполнял подобную миссию. И всегда успешно. Ритуал ее был разработан лучшими психологами и прогнозистами Галактики. Экспедиция Приобщения была знакома с местным языком, обычаями и национальным характером валетриксиан. Ее руководитель был осведомлен о том, как и что сказать при первой встрече с аборигенами, знал, какие подарки им преподнести и как убедить их, что пора избавиться от локальных недостатков и приобщиться к галактическим достижениям.

Приняв форму и цвет, наиболее приятные глазам аборигенам,

ригенов, «Рука дружбы» опустилась неподалеку от столицы.

Посадка была произведена в ясную погоду утром.

Вскоре подъехала военная машина. В ней находились три человека в форме. Капитан корабля и психолог вышли им навстречу и на отличном местном языке объяснили, что прибыли с миссией доброй воли.

Командир военной машины велел им войти обратно в корабль и ждать распоряжений, а сам вызвал по рации наряд, который окружил корабль и пресекал попытки местных жителей приблизиться к пришельцам. Никто на корабле этому не удивился — подобный вариант встречи был проигран на компьютерах десятки раз.

Примерно через два часа к кораблю приблизилась машина высокопоставленного вельможи в сопровождении нескольких танков. Капитану корабля и психологу было предложено следовать в город.

В городе их провели в высокое здание с толстыми стенами, которое, как было известно по снимкам с летающих тарелочек, заключало в себе Академию наук, соединявшуюся подземным переходом с Управлением правопорядка.

Так как при входе в Академию наук пришельцев обыскивали и изъяли у них передвижную аппаратуру, связь с ними на этом этапе прервалась, но это не вызвало тревоги, поскольку такой вариант был просчитан и предусмотрен.

Переговоры затянулись. Видно, интерес к галактической миссии был так велик, что команда корабля успела пообедать и отдохнуть.

В шестнадцать часов, когда на «Руке дружбы» обсуждали меры, должные вызвать у аборигенов чувство преклонения перед могуществом пришельцев, над кораблем появилась эскадрилья самолетов.

Поочередно пикируя над кораблем, самолеты сбросили несколько атомных бомб. Несмотря на то, что бомбы были относительно первобытными, обшивка корабля не выдержала, и в мгновение ока корабль и люди, находившиеся внутри, испарились.

Новость эта ввергла в шок всю Галактику.

Несмотря на то, что сотрудники Центра галактических контактов доказывали, что цивилизация Валетрикса не об-

ладает исключительной агрессивностью и ни один компьютер не смог бы предсказать столь нелепую и бесчеловечную реакцию на миссию доброй воли, гнев общественности против сотрудников, не предотвративших гибель людей, был настолько велик, что весь центр был вынужден подать в отставку.

Тем временем началась эпопея по спасению капитана и психолога экспедиции. Помимо чисто гуманных соображений, за этой эпопеей скрывалось жгучее желание разгадать тайну гибели «Руки дружбы».

Как известно, капитана корабля спасти не удалось, так как он был ликвидирован. Но психолог остался жив, его удалось отыскать и вывезти с Валетрикаса.

Из его показаний и из сведений, принесенных микро-разведчиками, мы имели полную картину событий, происшедших на той планете, и считаем своим долгом ознакомить с ними Галактику во избежание повторения трагедии.

ЧАСТЬ II. РАЗГАДКА

Серапион Неклыс не смог одолеть университетского курса. Изгнанный из университета, он устроился преподавать словесность в торговое училище, где чувствовал себя обойденным и униженным. Но у него было увлечение. На жалкую свою зарплату он купил телескоп. Цель этой покупки была простой. Неклыс еще в школе надеялся когда-нибудь открыть звезду, которую назовут его именем. Теперь же открытие такой звезды казалось ему единственным выходом из тупика. Неопрятный внешний вид, физическая нечистоплотность, высокий визгливый голос и настойчивый взгляд фанатика усугубляли его одиночество, а отсутствие женской привязанности освобождало его ночи для того, чтобы проводить их у телескопа. Телескоп был слабеньким, никакой звезды в такой не откроешь, и с годами Неклыс все более утверждался в отчаянном убеждении, что он жертва заговора, направленного на то, чтобы закопать в землю его талант. Неклыс не высыпался, кричал на учеников, даже, говорят, бил девочек.

По жалобе родителей одной из его жертв Неклыса выгнали из училища. Его делом занимался инструктор Управления обучения по имени Резет, человек махонького роста, страшно амбициозный, отлично изучивший основные труды Вождя и слывший грозой проштрафившихся педагогов.

Когда Неклыс предстал пред грозные очи карлика, тот полагал, что столкнулся с обычным делом: невежда и истерик заслуживает лишь одного — изгнания.

Но уже в первую встречу Неклыс произвел на Резета сильное впечатление. Он ни в чем не каялся, ни в чем не чувствовал себя виновным. Вместо этого он утверждал, что современная астрономия находится в руках проходимцев и врагов государства, что астрономы открыли за последние годы массу новых звезд, однако скрывают их от народа и за большие деньги продают зарубежным врагам, которые и пожиная лавры первооткрывателей.

Резет отказался подписать приказ об увольнении Неклыса, и тот вернулся в училище к вящему изумлению своих коллег и учеников. А тем временем Резет написал статью в одну из газет о самородке, который, сидя на крыше своего скромного дома, открывает новые звезды.

Резет рассчитал правильно. В те годы на Валетриксе много писали о талантах, вышедших из глубин народа. И неудивительно — самым ярким из них считался сам Вождь, который, по официальной версии, будучи бедным сапожником, смог заочно закончить университет и одновременно готовить революцию. Это было ложью, потому что он был не сапожником, а сыном фабриканта сапог, да и в революции не участвовал. Он вышел на сцену потом, когда революционеры боролись за наследство Первого Вождя.

О народных талантах писали много. Большой известностью пользовался безногий инвалид войны, который научился танцевать. Он был взят в труппу Главного театра и назначен ведущим солистом. Его редкие выступления проходили под бурные овации, хотя инвалид танцевать не умел. Специально для него писались балеты со статичным главным героем. Знаменитостью стала одна бездарная певица, которая вывела новую породу пингвинов. Был создан

центр разведения пингвинов, и певица обещала с помощью пингвиньего мяса решить продовольственную проблему в государстве. Правда, пингвинье мясо никто есть не хотел. Да и было его не много — пингвины плохо размножались в умеренном климате.

Расчет Резета был верен.

Учителя словесности, который открывает во славу Вождя новые звезды, заметили, и он перестал ходить в класс. Он сидел теперь на крыше круглые сутки и смотрел на небо в сильный телескоп, приобретенный ему по подписке среди учащихся и педагогов.

Как-то ночью к нему поднялся Резет. Резет стал редактором городской газеты, купил новый костюм и понимал, что пора придумать инициативу, прежде чем затопчут завистники.

— Слушай, Серапион,— сказал он, сидя на табуретке рядом с телескопом и глядя невооруженным глазом на звезды.— Где же обещанные звезды?

— Телескоп слаб,— сказал Серапион, не отрываясь от окуляра.

— Неужели ни одной так и не открыл?

— Открыл несколько,— сказал Неклыс.— Но оказалось, что они уже перехвачены.

— Другие перехватили?

— Главная обсерватория.

— А мне звонили из Дома. Сам прочел статью. Спрашивает: чем порадуешь?

— Буквально на днях,— сказал Неклыс.— Может быть, завтра. Я как раз сейчас рассматриваю одно подозрительное созвездие.

— Большую звезду рассматриваешь?

— Шестнадцатой величины. Слабенькую.

— Слабенькая не годится,— сказал Резет.

— Не понял.

— Нам нужна большая звезда. Которую может увидеть каждый дурак.

— Но они все открыты!

— Я зря на тебя поставил,— сказал Резет, попыхивая сигаретой.— Ты труслив и глуп.

— Откуда я ее тебе найду?

Резет встал и протянул указательный палец к зениту.

— Это что?— спросил он.

— Это главная звезда созвездия Медальона. В сказках ее называют звездой Печали.

— Отлично,— сказал Резет.— Вот ее и откроешь, голубчик.

— Это невозможно!

— Для нас нет ничего невозможного.

— Надо мной будут смеяться.

— Не посмеют,— сказал Резет,— потому что ты дашь ей имя.

— Нельзя! У нее есть имя!

— Это старое, изжившее себя имя. Отныне открытая тобой звезда будет называться звездой Вождя. Ясно?

— Ничего не ясно! — Неклыс был в отчаянии.

Но Резет сверкнул в темноте вставными золотыми зубами и простучал высокими каблуками, сбега по деревянной лестнице.

На следующий день городская газета на первой странице поместила трогательный рассказ о том, как простой человек из народа, талант и умелец, смог найти и открыть звезду Вождя. Звезду, которую проглядели академики и профессора и которую, разумеется, не открыли зарубежные враги. Каждый желающий может увидеть эту звезду.

Трудно представить, какой шум поднялся в тот день в научных кругах. Как хохотали над глупым редактором и жуликом-любителем! Сотни возмущенных и издевательских писем пришли в газету. В коридорах журналисты показывали желающим на маленького Резета, который завтра вылетит с работы из-за крайнего идиотизма. Резет все слушал и молчал. Он сделал ход, который мог стоить ему головы. А мог снести много чужих голов.

Через два дня в газете было опубликовано краткое письмо Вождя, в котором тот изъявлял личную благодарность астроному-любителю Серапиону Неклысу и предостерегал в будущем от подобных инициатив, так как скромность не позволяет Вождю принимать знаки внимания со стороны народа.

Газета еще набиралась в типографии, а потрясенные

сотрудники проползали мимо кабинета Резета на четвереньках. Более сообразительные с утра принесли ему списки тех, кто посмел ставить под сомнение открытие и гениальность главного редактора.

Резет выгнал с работы всех непокорных и заслал их на изумрудные рудники. Он мог это сделать, потому что был назначен Господином культуры и науки и получил прямую трубку для связи с Господином правопорядка.

В Главной газете было напечатано коллективное письмо академиков и профессоров, которые поздравляли нового академика Серапиона Неклыса, человека из народа, с эпохальным открытием.

Были срочно изданы новые атласы звездного неба и сделаны гневные представления посольствам иностранных держав, которые не откликнулись на переименование.

Академики и профессора шептались по углам, жаждали справедливости и писали анонимные письма Вождю, в которых пытались восстановить истину. Авторы выявляли по почерку.

Директор Центральной обсерватории Серапион Неклыс продолжал с прежней настойчивостью проводить ночи за телескопом, в чем ему теперь помогали две тысячи научных сотрудников. Многие вельможи государства приезжали к нему и кто просьбами, кто угрозами требовали, чтобы он открыл для них хоть по маленькой звездочке. Некоторым Неклыс подарил по астероиду. Но не больше. «Звезда в небе может быть одна», — любил он повторять с улыбкой.

Неклыс приоделся, он жил теперь в большой вилле, где при нем числились секретари, аспиранты, стенографы, охрана и любовница, на которую у директора Обсерватории не хватало времени.

Так прошло два года. Все привыкли и к новой звезде, и к новому положению друзей. Но их враги не дремали. Они собирали силы. Как-то в университетском журнале появилась статейка, которая ставила под сомнение научную компетентность Неклыса, правда, не оспаривая того, что самая яркая звезда на небе носит имя Вождя. Редактора того журнала сняли и арестовали. Но сам по себе сигнал был симптоматичен. Затем на одной конференции сразу

три недобитых академика принялись задавать Неклысу провокационные вопросы, на которые он не стал отвечать. Но вопросы были заданы, и академики, как ни странно, ушли из зала живыми.

Через час Резет позвонил Господину правопорядка и поинтересовался, почему академики до сих пор на свободе. На что получил сухой ответ:

— Потому что их не за что сажать!

— Но они же поставили под сомнение?!

— А может, правильно поставили?— И Господин правопорядка, которого, очевидно, опутали своими сетями агенты врагов, повесил трубку.

Резет, Неклыс и их ближайшие соратники собрались на вилле Неклыса, чтобы обсудить тревожное положение.

Настроение у всех было подавленное. Говорили, что некий прохвост проник к Вождю и обещал ему открыть целое созвездие. Все говорили, что старый президент академии потребовал, чтобы Неклыса подвергли экзамену за курс средней школы. И Вождь всех слушал. И молчал.

— Нужна идея,— сказал Резет.— Если мы не найдем идеи, которая сокрушит врагов, нам не жить.

— Я не хотел,— сказал Неклыс, который в последние дни с тоской вспоминал недавние времена, когда он сидел на крыше училища у слабенького телескопа.

— Твоих желаний уже не существует,— сказал Резет.— Ты историческая фигура и исполняешь волю судьбы. И если ты упадешь, то увлечешь в пропасть всех нас.

Ропот ужаса прокатился по толпе сторонников. Некоторые стали подвигаться к дверям, собираясь улизнуть и сообщить миру, что их патрон — самозванец.

— Может, и в самом деле открыть созвездие Вождя?— спросил заместитель Неклыса.

— Глупо,— оборвал его Резет.— Созвездие Вождю уже предлагали. Думайте, думайте!

— Черт побери! — Неклыс вскочил с кресла и принялся бегать по кабинету.— Если бы небо было твердым, я бы продырявил в нем звездами имя Вождя!

— Стоп! — крикнул Резет.

— Не обращай внимания,— отмахнулся Неклыс.— Я в переносном смысле.

— Переносного смысла не бывает,— сказал Резет. его узкая длинная головка уже лихорадочно работала.— Может, в этом наше спасение.

— В чем?

— Все астрономы, в том числе и наши, твердят, что Вселенная бесконечна,— сказал Резет.— И звездам нет числа...

С этими словами он выбежал из кабинета, и тут же за окном взревел его автомобиль.

Астрономы вскоре разошлись. Многие полагали, что Резет сошел с ума. Другие спешили покаяться.

На следующее утро в Главной газете появилось открытое письмо Вождю.

«Дорогой Вождь! — говорилось в нем.— Вот уже несколько лет я, руководствуясь Вашими идеями, веду тщательное наблюдение за звездным небом. Если бы не Ваша постоянная забота и поддержка, мне бы никогда не удалось сделать тех открытий, которыми теперь по праву гордится отечественная наука. Однако в последнее время положение в астрономии категорически ухудшилось. Сплотившиеся враги патриотического направления в астрономии полностью продались зарубежным авторитетам и перекрывают воздух тем ученым, которые во главе со мной пытаются отстоять ценности, лежащие в основе веры наших пращуров.

Я должен довести до Вашего сведения, что, движимые низкопоклонством перед врагами, наши лжеастрономы взяли на вооружение лживые теории иностранного монаха Перника и сожженного возмущенным народом реакционера Джубруна, которые внушали людям, что наш Валетрикс не центр Вселенной, а лишь одна из многих планет. Это измышление, подхваченное реакционерами всех мастей, полностью опровергается жизненным опытом народа и здравым смыслом. Новый сокрушительный удар эта лже теория получила в последние годы, когда Вы лично возглавили человечество. Уже одного этого факта достаточно, чтобы убедиться в том, что Валетрикс является

центром Вселенной. Но перникисты-джубрунисты ставят под сомнение центральность нашей планеты, намекая таким образом, что на каждой из планет может родиться Вождь, подобный Вам.

Так как предательские воззрения перникистов-джубрунистов разделяются Академией наук, а мне, как и другим истинным патриотам, закрыт путь к истине, прошу уволить меня и позволить вернуться к моему скромному телескопу, чтобы искать в твердыне неба знаки моей правоты.

Бывший начальник Главной Обсерватории,
академик Серапион Неклыс».

Вся страна, весь мир целый день хохотали над этим письмом. Даже ученики младших классов не могли удержаться от издевок.

Неклыс в панике примчался к Резету и кричал в подвале, куда его быстро увел идеолог:

— Ты меня опозорил! Мне теперь все закрыто! Мне стыдно выйти на улицу.

— Я все продумал. Выбора не было,— вздохнул Резет.— Я пошел на риск.

— Но почему подписали моим именем?

— Потому что ты большой ученый, а я маленький политик. Лучше выпей!

Резет и Серапион в тот день напились до безобразия, пели песни, крушили мебель. В таком состоянии их застал фельдегер из Дома. Он привез ответ Вождя. Ответ был краток:

«Работайте спокойно».

Через полгода в Академии наук прошла дискуссия о принципах строения Вселенной. К тому времени Резету, который занял по совместительству пост Господина правопорядка, удалось лишить жизни и свободы наиболее упрямых сторонников множественности мира и бесконечности Вселенной. Остальные трепетали.

Но несмотря на то, что исход дискуссии был предрешен и вся пресса государства с энтузиазмом поддержала прогрессивную позицию Серапиона Неклыса, среди астрономов и даже физиков нашлось несколько идиотов, которые старались поставить под сомнение народную мудрость. По-

сле дискуссии, которая приняла историческое постановление «Считать небо твердым!», упомянутых ретроградов отправили на изумрудные рудники.

Небо стало твердым, и никто уже в этом не сомневался. Дети в школе учились по учебникам, в которых доступно доказывалось, что Валетрикс — единственная планета в мире, потому что в нем есть место лишь одному великому Вождю.

Так как наука должна была развиваться далее, Неклыс периодически выступал с новыми смелыми идеями.

Последней из них было предложение объединить усилия астрономов и артиллеристов: построить такую пушку, чтобы она могла дострелить до неба и пробить его твердь. Но не просто пробить, а выбить в нем ряд отверстий, которые вкуче читались бы как имя Вождя. И тогда каждый житель планеты, выходя вечером на улицу, сможет обратиться взор к нему и согреть сердце лицезрением любимого имени.

Вождь дал согласие на эксперимент.

Три года ушло на строительство пушки, и ресурсы государства были напряжены до предела. Великое свершение было не за горами.

На четвертый год пушка выстрелила, а когда дым рассеялся, оказалось, что в небе не возникло новой дырки. Артиллеристы, прежде чем их расстреляли, утверждали, что им всучили неправильные данные о расстоянии от Валетрикса до небосвода. Но Резет и Неклыс убедительно доказали Вождю, что артиллеристы неправильно прочитали чертежи. Были набраны новые артиллеристы, и началось строительство новой пушки, втрое больше первой.

И именно в эти месяцы, полные голодного энтузиазма и благородных лишений, на большом поле возле столицы неожиданно опустилось некое яйцеобразное сооружение, из которого, как донес в Дом начальник патруля, вышли люди, умеющие говорить на нашем языке и утверждавшие, что они прибыли с другой планеты.

Двоих из них вскоре доставили в Дом.

Там с ними беседовал сам Вождь. При беседе присутствовали Резет и Неклыс.

— Вы утверждаете,— сказал Вождь, старчески шагая по мягкому ковру,— что прибыли с другой планеты?

— Совершенно точно,— ответил капитан «Руки дружбы».

— Как же вы могли это сделать,— Вождь улыбнулся своей известной каждому ребенку лукавой и доброй усмешкой и почесал седые бакенбарды,— если небо, как известно, твердое?

— Не может быть! — воскликнул психолог Галактического центра.— На вашем уровне цивилизации вы должны находиться на грани космических полетов и давно уже догадаться, что Вселенная бесконечна.

Вождь покосился на Неклыса, Неклыс в растерянности — на Резета.

— Мы все это слышали,— вздохнул Резет. Он был страшно перепуган. Этот разговор мог оказаться последним в его жизни.— Нам об этом давно твердили враги. К счастью, наша наука опровергла реакционные бредни.

— И все же,— вежливо сказал капитан,— мы прилетели.

— Если бы вы пробили наше небо,— задумчиво произнес Вождь,— в нем образовалась бы дырка. А дырки нет. Нет?— С этим вопросом он обратился к Неклысу.

— Нет дырки,— согласился тот. Он пытался сообразить, не лучше ли покаяться сейчас, чем ждать, пока покаяние из него выбьют.

— Ты что-то хотел сказать?— спросил пронизательный Вождь.

— Мы не рассматривали вопрос,— сказал Неклыс, пытаясь унять дрожь в коленях,— есть ли Вселенная за пределами твердого неба. Не исключено...

— Исключено, исключено! — завопил Резет, который был куда умнее своего друга.— Там ничего нет!

— А если было,— тихо сказал Вождь,— то за пределами могли бы появиться иные вожди. Ваши слова, Неклыс?

— Это Резет написал! — признался астроном.— Я не хотел.

Вождь будто и не услышал этих слов. Он обратился к капитану «Руки дружбы»:

— Вы продолжаете настаивать на том, что Вселенная бесконечна?

— И число населенных миров в ней велико,— терпеливо ответил капитан.

— А вы?— вежливо спросил Вождь у психолога.

— Я не хотел бы углубляться в дискуссию,— сказал тот. Он был ученым и хотел сначала понять глубину заблуждений и убежденности своих оппонентов.— Не исключена иная точка зрения.

— Увести их,— сказал Вождь. Затем обернулся к Резету.— А их яйцо стоит?

— Еще стоит,— сказал взбодрившийся Резет.

— Тогда вы знаете, что делать.

На Неклыса он не смотрел.

Вечером того же дня Резет был снова принят Вождем.

— Ну, что нового?— спросил Вождь, стоя у окна и глядя в сад.

— Случилось несколько происшествий,— сказал Резет.— Некоторые настолько драматичны, что я опасюсь...

— Говори.

— Сегодня при учебном атомном бомбометании случайно уничтожено инородное тело, что упало с твердого неба,— сказал Резет.

— И что?

— Тело разрушено, и все погибли.

— Жаль,— сказал Вождь.— Есть ли жертвы среди мирного населения?

— Минимальные,— ответил Резет.

— Назначить родственникам пенсии,— сказал Вождь.— Что еще?

— Из двоих сумасшедших, которые пытались настаивать на лживых теориях, один застрелен при попытке к бегству.

— Ага,— согласился Вождь.— Это тот, что упорствовал.

— А второй жив. Я буду беречь его на случай, если вам захочется с ним побеседовать.

— Разумно,— сказал Вождь,— мне всегда интересны чужие идеи. Это все?

— Все.

— Тогда идите и еще подумайте,— сказал Вождь, так и не обернувшись.

Резет послушно покинул кабинет Вождя. Он был грустен. Он поехал на виллу к Неклысу. Они долго говорили, вспоминали свою молодость. Затем Резет вернулся в Дом.

Он позвонил снизу.

Вождь не спал. Он читал. Он только спросил:

— Что у вас еще?

— Несчастье,— сказал Резет.— Напоровшись на нож, в припадке безумия, погиб наш ведущий астроном Серапион Неклыс.

— Я искренне скорблю,— сказал Вождь.— В официальном сообщении не надо упоминать о безумии. Это грубо. Достаточно сердечного припадка. И учтите, я буду на похоронах. Так что обеспечьте безопасность.

Рассказывают, что у гроба Серапиона Неклыса Вождь уронил слезу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ НЕВОЗМОЖНОЕ БУДУЩЕЕ

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ МИР

За десять минут до старта к народу вышел старик Ложкин.

Он был в длинных черных трусах и выцветшей розовой футболке с надписью «ЦДКА». В раскинутых руках Ложкин держал плакат с маршрутом. Бежать следовало в гору, до парка. Затем по аллее до статуи девушки с веслом, вокруг летней эстрады, к новому цеху пластмассовых игрушек и площади Землепроходцев до пруда-бассейна за церковью Параскевы Пятницы. Финиш перед городским музеем.

Без пяти восемь грянул духовой оркестр. Он стоял у самой реки, в начищенных трубах отражались зайчики от утренней ряби. С воды поднялись испуганные утки и полетели к дальнему берегу.

Отдаленно пробили куранты на пожарной каланче. Толпа разноцветно и различно одетых бегунов двинулась в гору, к вековым липам городского парка.

Председатель горисполкома Николай Белосельский бежал рядом с Удаловым. Бежал он легко, не скрывая счастливой улыбки. Ежедневные забеги здоровья перед началом трудового дня были его инициативой, и он старался ни одного не пропустить.

Жилистый старик Ложкин не отставал. На бегу он обернулся и крикнул в мегафон:

— Оглянитесь назад! Полюбуйтесь, как мирно несет свои прозрачные, очищенные от промышленных стоков воды наша любимая река Гусь. Даже отсюда видно, как резвятся в ней осетры и лещи!

Удалов послушно оглянулся. Осетров и лещей он не увидел, но подумал, что надо будет в субботу съездить на рыбалку на озеро Копенгаген. Позвать, что ли, Белосельского? Пора ему отдохнуть. Третий год без отпуска.

Рядом с Белосельским бежала директорша музыкальной школы. Разговорчивая хохотушка Зина Сочкина. Удалов знал, что она опять доказывает Предгору необходимость создания класса арф. Но с арфами трудно, даже в области дефицит.

Удалова оттолкнул редактор городской газеты Малюжкин. Его небольшое квадратное тело несло громадную львиную голову. В двух шагах сзади бежал, сверкая очками, Миша Стендаль, корреспондент той же газеты. Миша нес редакторский портфель.

Малюжкин втиснулся между Белосельским и директоршей Зиной.

— Будем писать передовую?— строго спросил он.

Белосельский вздрогнул. Малюжкин слыл в городе неукротимым борцом за гласность, правду и демократию. Это «Гуслярское знамя», возглавляемое Малюжкиным, разоблачило коррупцию на городском рынке, добилося регулярной подачи горячей воды в баню № 1, свалило презиравшего экологию директора фабрики игрушек и раскрыло несколько случаев очковтирательства на звероферме. В последнем случае досталось, и за дело, самому профессору Минцу. Это он вывел для зверофермы новую породу черно-бурых лис с двумя хвостами, но не удосужился отразить в печати свое изобретение. А Пупыкин, который после снятия с должности предгора работал директором зверофермы, каждую лису сдавал государству за две, отчего перевыполнил все планы, получил множество премий и еще приторговывал хвостами на стороне. Борец за правду Малюжкин опирался на широкие круги общественности, а об-

щенность опиралась на Малюжкина. Белосельский от него нередко страдал.

— Передовую писать не буду,— откликнулся Белосельский, переходя на спринтерскую скорость. Он свернул на узкие дорожки биологического городка, где были воспроизведены для детишек ландшафты планеты. Завершали макаки, разинул пасть крокодил. Белосельский хотел укрыться за баобабом, но дорогу ему перекрыли три мамонта, выведенные методом ретрогенетики. Тут Малюжкин и настиг его. Предгор был готов сдаться на милость прессы, но, к счастью, одна из макак выхватила у Малюжкина диктофон.

Белосельский нагнал Удалова у статуи девушки с веслом.

— Трудно?— спросил Корнелий Иванович.

— Нелегко,— согласился Белосельский.— Но трудности нас закаляют. Сделаем рывок до музея?

«И не подумаешь, что мы в одном классе учились,— вздохнул Удалов.— На вид он лет на десять моложе. Вот что значит — активная жизнь и умеренность во всем».

— На рыбалку в субботу поедem?— спросил Удалов, стараясь не сбить дыхание.

— В субботу у меня жюри. Конкурс детских танцев. Потом будем палаты купца Демускина реставрировать. Давай в эту субботу вместе пореставрируем, а на рыбалку через неделю?

Удалов не ответил, потому что перед ними затормозил Ложкин и начал кричать в мегафон:

— Дорогие товарищи бегающие! Вы видите бывший пруд у памятника XVI века церкви Параскевы Пятницы. Этот пруд стараниями общественности и учащихся речного техникума превращен в лучший в области открытый бассейн. На нем установлена девятиметровая вышка. Желаящие прервать забег могут нырнуть с вышки.

Белосельский сразу побежал нырять. А Удалов вспомнил, что у него в девять совещание в стройконторе, которой он руководил. А он еще не завтракал.

Удалов повернул на Цветочную, чтобы срезать квартал у рынка. К рынку тянулись подводы и автомашины — окрестные жители везли продукты и цветы на продажу.

Вот и Пушкинская. Скоро дом.

Хлопнула калитка. Из палисадника выскочил Пупыкин. Был он в тренировочном костюме фирмы «Адидас», который некогда привез из командировки в Швейцарию, где знакомился с тамошними зверофермами. Он догнал Удалова и спросил:

— Белосельский участвовал?

— И Малюжкин тоже,— ответил Удалов, прибавляя ходу. Пупыкина он не выносил — пустой человек и нечист на руку. Правильно сделали, что отправили его на пенсию.

— Скажешь Белосельскому, что я тоже участвовал,— сказал Пупыкин.— Я тренируюсь по индивидуальной программе.

Произнеся эти лживые слова, Пупыкин взмахнул руками, как крыльями, сделал разворот и потрусил обратно к дому.

Солнце поднялось высоко, припекало. От быстрорастущих кедров, которыми была засажена Пушкинская, на розовые и голубые плитки мостовой падала рваная тень. Белка соскочила с нижней ветки и перебежала улицу. Удалов наклонился над фонтанчиком, который предлагал прохожему газированную воду, и напился.

Римма Казачкина, непутевая пышногрудая девица из соседнего дома, по слухам, новая пассия архитектора Оболенского, проходя мимо, задела Удалова крутым бедром. Удалов сделал вид, что не заметил намёка.

Появился профессор Минц. Его лысина блестела от пота, он сопел и кашлял.

— Каждый забег,— сообщил он Удалову,— прибавляет мне день жизни. Я теряю четыреста граммов.

— Это пустое, Лев Христофорович,— возразил Удалов, входя вместе с профессором во двор дома шестнадцать.— За первым же обедом вы прибавляете полкило.

Минц насупился. Никто не любит горькой правды.

Ксения Удалова высунулась из окна второго этажа и крикнула:

— Два раза из конторы звонили. Каша тоже остыла.

Удалов взбежал по лестнице, легко перепрыгивая через две ступеньки. Внизу негромко стучало — значит, сосед

Грубин включил вечный двигатель. Он у него по ночам отдыхал.

Начинался трудовой день в городе Великий Гусляр.

Удалов и Минц вместе пошли на совещание к Бело-сельскому.

Площадь перед Гордомом была запружена народом. Ближе всех к дверям тесной толпой стояли пенсионеры. Две бабушки развернули длинный плакат: «Спасем родной Гусляр от варварства!» Старик Ложкин, уже в черном костюме, но с тем же мегафоном, медленно шел вдоль лозунга и проверял, нет ли грамматических ошибок.

Студенты речного техникума принесли портреты архитектора Оболенского. Портреты были увеличены из паспортных фотографий, к ним были пририсованы усы, а сорочка с галстуком замарана зеленым, так что получался френч.

Удалов подумал, что студенты зашли слишком далеко. О чем и сказал профессору Минцу.

— Мы с вами люди старого поколения, — ответил профессор. — Чувство юмора мы склонны рассматривать как чью-то провокацию.

На площадь влетели рокеры на ревущих мотоциклах. Они тоже были одержимы гражданским чувством. Они носились вокруг толпы и выкрикивали нечто революционное. Сержант Пилипенко побежал к ним, размахивая жезлом, но рокеры умело уклонялись от его увещаний.

В стороне от входа, без лозунгов и плакатов, но настроенная решительно, стояла интеллигенция — общество охраны памятников, любителей книги, защиты животных... Их Удалов всех знал, ходил в гости. Но сейчас чувствовал отчуждение.

«Нет, — хотелось крикнуть ему, — нет! Я всей душой с вами! Я желаю охранять и множить памятники древности! Но я вынужден выполнять приказы начальства и экономно продвигать наш город по пути прогресса. За годы Советской власти у нас снесли семнадцать церквей, зато почти решили жилищную проблему».

Тут Удалов оборвал этот внутренний монолог, потому что понял, что монолог этот принадлежит не ему: это бук-

вальное воспроизведение речи начстроя Слабенко на последнем совещании.

А вот и Пупыкин. Он что здесь делает?

Пупыкин стоял в сторонке, с ним его семья — Марфа Варфоломеевна и двое детей. Все в зеленом, даже лица зеленые. Дети держат вдвоем портрет неприятного мужчины в папаше.

Пупыкин нервно схватил Удалова за рукав и спросил шепотом:

— Ты ему сказал, что я участвовал в забеге?

— Скажу,— пообещал Удалов.— А ты что покрасился?

— Мы, всей семьей,— сообщил Пупыкин,— организовали неформальное объединение: партию зеленых. Мы охраняем природу.

— Похвально,— сказал Минц.— А чей это портрет?

— Это самый главный зеленый,— сообщил Пупыкин.— Мы его в книжке нашли. Атаман Махно.

— Пупыкин, советую, спрячь портрет. Этот зеленый экологией не занимался,— сказал Удалов.

— А чем занимался?— спросил Пупыкин.

— Совершал ошибки.

К тому времени, когда Удалов вошел в дом, Пупыкины успели растоптать портрет.

Минц с Удаловым поднялись по неширокой лестнице в кабинет Белосельского. Внутри уже действовал главный архитектор города, подтянутый, благородный Елисей Оболенский. С помощью юной архитекторши он прикнопливал к стене виды проспекта Прогресса.

Редактор Малюжкин стоял в отдалении, смотрел на перспективы в бинокль. Миша Стендаль записывал что-то в блокнот.

Начстрой Слабенко сел и крепко положил локти на стол. Он был готов к бою. Музейная дама Финифлюкина смотрела ему в спину пронзительным взглядом, но пронзить его не могла.

— Начнем?— спросил Белосельский.

«Живем в обстановке гласности,— подумал Удалов.— Вроде бы научились демократии. А силы прошлого не сдаются».

Сила прошлого в лице главного архитектора Оболенского получила слово, взяла в руку указку из самшита и подошла к стене.

Оболенский любил и умел выступать. Но сначала спросил:

— Может, закроем окна? Мы ведь сюда работать пришли, а не с общественностью спорить.

— Ничего,— ответил Белосельский.— Нам не впервой. Чего нам народа бояться?

Часть толпы роилась за окнами. Шмелями жужжали винты, прикрепленные к ранцам. Эти летательные аппараты под названием «Дружок Карлсон» были изобретены Минцем по просьбе туристов для преодоления водных преград и оврагов. Аппараты полюбились народу. Некоторые школьники забирались с их помощью в фруктовые сады, некий Иваницкий выследил свою жену в объятиях Ландруса на третьем этаже. Удалов с грустью подумал: насколько гениален его сосед по дому Лев Христофорович! Все подвластно ему — и химия, и физика. Но последствия его блестящих изобретений непредсказуемы. Взять скоростные яблони — шестнадцать урожаев собрали прошлым летом, и в результате лопнула овощная база.

Оболенский взял указку как шпагу, начстрой Слабенко еще крепче сплел свои крепкие пальцы и кивнул союзнику. Бой начался.

— Вы видите,— сказал Оболенский,— светлое будущее нашего города.

Широкий проспект был застроен небоскребами с колоннами и портиками и усажен одинаковыми подстриженными липами, какие водятся только в версаях и на архитектурных перспективах.

Над проспектом расстиралось синее небо с розовыми облаками. В конце его возвышались горы со снежными вершинами. Неужели он хочет свой проспект дотянуть до Кавказа, испугался Удалов. Но потом понял, что это — архитектурная условность.

Все молчали. Проспект гипнотизировал. Оболенский ткнул указкой в первый из небоскребов и заявил:

— Здесь мы расположим управление коммунального хозяйства.

Архитектор Елисей Оболенский человек в Гусляре новый, но уже укоренившийся.

Его импортировал Пупыкин.

Случилось это лет пять назад, когда Пупыкин, совершая восхождение по служебной лестнице, прибыл в Москву, в командировку. Помимо деловых целей были у него идеалы. Хотелось найти в столице единомышленников, друзей. Желательно среди творческой интеллигенции.

Повезло Пупыкину на третий день. В гостиничном буфете он познакомился с литературным критиком из Сызрани. Тот прибыл в Москву на семинар по реализму и хотел укрепиться в столице, потому что в Сызрани трудно развернуться таланту. Критик с Пупыкиным друг другу понравились, вместе ходили в шашлычную и в кино, а потом критик повез его к своему покровителю, молодежному поэту. У поэта сильно выпили, говорили о врагах и национальном духе, поэт читал стихи о масонах, а когда жена поэта всех их выгнала из дома, поехали к Елику Оболенскому.

Елик Оболенский, разведясь с очередной женой, жил в мастерской. По стенам висели иконы и прялки, в углах много пустых бутылок. Сам Елик с первого взгляда Пупыкину не понравился. Показался духовно чужим по причине высокого роста, меньшевистской бородки, худобы и бархатной кофты. Но товарищи сказали, что Оболенский — свой парень, из князей, рюрикович. В мастерской тоже пили, ругали масонов, захвативших в Москве ключевые посты, поэт читал стихи о Перуне и этрусках, от которых, как известно каждому культурному человеку, пошел русский народ. Потом поэт с критиком, обнявшись, уснули на диванчике, а Оболенский показал Пупыкину свои заветные картины. Город будущего.

Эти картины Оболенский показывал только близким друзьям.

Картины были плодом двадцатилетнего творческого пути, который начался еще в средней школе.

Однажды мальчик Елик Залипухин — фамилию отчима он примет позже — пошел с мамой на Выставку достижений народного хозяйства. Они любовались павильонами и фотографировались у фонтана Золотой Колос. Так Елик

познакомился с архитектурой. С того времени он рисовал в тетрадках колоннады и портики, стену над своей кроватью обклеил фотографиями любимых памятников архитектуры — греческих храмов, вокзалов на Комсомольской площади и станций кольцевой линии московского метро. Даже гуляя по городу с любимой девушкой, Елик приводил ее в конце концов на ВДНХ, где забывал о девушке, очарованный совершенством линий павильона Украинской ССР.

В Архитектурном институте он стал первым специалистом по отмывкам классических образцов: никто не мог лучше него изобразить светотень на бюсте Аполлона. В иные времена он завершил бы образование с блеском, но тут наступили тяжелые дни. В архитектуру стало внедряться типовое проектирование, а студенты принялись изучать сомнительных Нимейеров и Корбюзье. Успеваемость Оболенского пошла под уклон, он затерялся в толпе середнячков, обзавелся хвостами и в конце концов оставил институт, не отказавшись от своей великой мечты — перестроить должным образом все города мира.

Устроился он почти по специальности: проектировал торты на кондитерской фабрике. Он соединил в тортах крем и архитектуру и тем прославился в кондитерских кругах. Ему персонально заказывали юбилейные торты для министерств и народных артистов. Но для интеллигентных друзей, которые помогли ему раздобыть мастерскую в подвале, Елик Оболенский оставался архитектором и князем.

Как только Пупыкин стал городской властью, он тут же выписал Оболенского. Дал ему квартиру и пост главного архитектора города. Оболенский начал лихорадочно готовить снос и воссоздание Великого Гусяря на основе кондитерских принципов. Но не успел. Пупыкин потерял свой высокий пост и неудержимо покатился вниз.

Оболенский остался в главных архитекторах, может, потому, что сблизился с начстроем Слабенкой. Начстрою тоже хотелось снести Великий Гусярь, мешавший ему вернуться. Правда, от полной переделки Гусяря пришлось отказаться, но одну магистраль Оболенский со Слабенкой надеялись пробить.

Магистраль должна была разрезать город пополам и тем самым решить все транспортные проблемы. Замыслил ее

Пупыкин, чтобы возить по ней областные и иностранные делегации. Но общественность подняла свою многоликую голову и начала возражать. Так что магистраль, ради которой надо было снести всего-то шесть церквей и последний гостининый двор, оказалась под угрозой.

— Без магистрали,— говорил Оболенский, расхаживая вдоль перспективы и тыча в нее указкой,— наш город обречен задохнуться в транспортных проблемах и оказаться за бортом прогресса. Мои оппоненты твердят, что историческое лицо города разрушится. Это не то лицо, которое нам нужно. Позвольте спросить — хотят ли они тащиться на работу по кривым улочкам или предпочтут мчаться на скоростном автобусе по прямому проспекту?

Когда Оболенский кончил свою речь, в тишине раздался твердый голос Слабенко:

— Мы согласны.

Сам строитель, хоть и небольшого масштаба, Удалов понимал, что Слабенке куда выгоднее получить для застройки большую, в полгорода, площадку и одним ударом развернуть эпопею. Когда куешь эпопею, не надо мелочиться.

Ох и сердит Слабенко на общественность, ох и недоволен он Белосельским, который пошел у нее на поводу. Развел гласность без пределов. Даже секретарш отменил. А если враг проникнет?

— Сколько лет горе-проектировщики измываются над нашим городом?— воскликнул, поднимаясь, главный редактор Малюжкин.— У меня в руках печальная статистика прошлых лет. Снесено несчетное количество памятников архитектуры. Колокольня собора превращена в парашютную вышку...

— Разве мы пришли сюда слушать лекцию о парашютах?— спросил Слабенко.

— Вы меня не сбивайте! — закричал Малюжкин.— Вы лучше ответьте народу, зачем в позапрошлом году затеяли реконструкцию под баню палат купца Гамоватого?

— Под сауну,— поправил Слабенко.— Для сотрудников звероферм. Труженики хотели оздоравливаться.

— Под личную сауну для пресловутого Пупыкина,— подала реплику директорша библиотеки.

Кипел большой бой.

Трижды он прерывался, потому что массы под окнами требовали информации о ходе совещания, и эту информацию массам давали, потому что в Великом Гусляре не бывает закрытых совещаний.

Трудность была в том, что все понимали: без магистрали с транспортом не справиться. Но даже если отвергнуть планы Оболенского, часовня Святого Филиппа и три старых особняка окажутся на ее пути.

На втором часу дискуссии Белосельский обернулся к профессору Минцу и спросил:

— А что думает городская наука? Неужели нет выхода?

— Я держу на контроле эту проблему,— сказал Минц.— Конечно, неплохо бы построить туннель под городом, но, боюсь, бюджет Великого Гусляра этого не выдержит.

— Вот видите,— сказал Оболенский.— Даже Лев Христович осознает.

— Есть ли другой путь?— спросил Белосельский.

— Гравитация,— сказал Минц.— Как только мы овладеем ее силами, так сможем подвинуть любой дом без подъемных кранов.

— За чем же дело стало?

— К сожалению, антигравитацию я еще не изобрел,— виновато ответил Минц.— Теоретически получается, но на практике...

— Чем вам помочь?— спросил Белосельский, переждав волну удивленных возгласов.— Средства, помощники, аппаратура?

— Вряд ли кто-нибудь в мире сможет мне помочь,— ответил Минц и чихнул.— Второго такого гения Земля еще не родила...— Тут Минц замолчал и задумчиво опустил на стул.

— Это чепуха! — сказал Оболенский.— Это шарлатанство. Ни один институт в мире этого не добился, даже в Японии нет никакой гравитации. Надо хорошо проверить, из чьего колодца черпает Минц свои сомнительные идеи.

Слабенко лишь саркастически улыбнулся.

И тогда Белосельский сказал так:

— Я надеюсь, присутствующие здесь товарищи и пред-

ставители общественности согласятся, что вопрос настолько серьезен, что лучше отложить его решение на день или два. Я лично глубоко верю в гений товарища Льва Христофоровича. Он не раз нам это доказывал.

Удалов проводил Минца до дома. Тот совсем расклеился. Чихал, хрипел — утренний пробег печальным образом сказался на его здоровье, подорванном мыслительной деятельностью.

— Вы что замолчали, Лев Христофорович?— спросил Удалов.— Что за светлая идея пришла вам в голову?

— А вы догадались?— удивился профессор.— Я думал, что никто не заметил.

Удалов остановился, приложил ладонь ко лбу профессора и сказал:

— Лев Христофорович, у вас жар. Сейчас примите аспирин и сразу в постель.

— Нет! — воскликнул Минц.— Ни в коем случае! Я должен немедленно ехать... идти... перейти... Город ждет!

— Лев Христофорович,— возразил Удалов.— Вы неправы. В таком состоянии вам ничего делать нельзя.

— Нет,— сказал Лев Христофорович, пошатываясь от слабости.— Путешествие очень опасно. Совершенно непредсказуемо.

— Путешествие?

— Да, своего рода путешествие.

Они дошли до ворот дома шестнадцать. Погода испортилась, начал накрапывать дождик. Желтые листья срывались с деревьев и приклеивались к мокрому асфальту. Удалов затащил Минца в подъезд, оставил его перед дверью в квартиру и велел переодеться, а сам обещал тут же прийти.

Тут же прийти, конечно, не удалось. Пока умылся, пока рассказал все Ксении...

За обедом включил телевизор, местную программу. Показывали общественный суд над Передоновым, который кинул на мостовую автобусный билет. Прокурор требовал изгнания из Гусляра, защитник нажимал на возраст и прошлые заслуги. Преступник рыдал и клялся исправиться. Ограничились строгим порицанием. Потом была беседа с

сержантом Пилипенкой о бродячих кошках. Пилипенко полагал, что это происходит от недостаточной нашей любви к животным. Если кошку ласкать, она не уйдет из дома.

Только через час Удалов спустился к соседу. Тот был совсем плох.

Удалов принес чай и таблетки. Минц покорно выпил горячего чаю, проглотил таблетки, и только потом Удалов согласился его слушать.

— Я знаю,— сказал Минц слабым голосом,— что ни за день, ни за два проблему гравитации мне не решить. Но есть надежда, что один человек ближе меня подошел к решению загадки.

— И вы к нему собирались ехать?

— Вот именно.

— И куда, если не секрет? В Японию? В Конотоп?

В голосе Удалова звучала ирония. Уж он-то знал, что на Земле нет никого, кто сравнился бы гениальностью с профессором Минцем.

— Еще дальше,— улыбнулся Минц.

— И как же зовут этого вашего благодетеля?

— Минц,— ответил профессор.— Его зовут Лев Христович Минц.

— Бредите, что ли?— испугался Удалов.

— Нет, я в полном сознании. Я хочу воспользоваться фактом существования параллельных миров.

— А они есть?

— Есть, и множество. Но каждый чем-то отличается от нашего. Я обнаружил тот из них, что развивается по тем же законам, что и наш, различия минимальные.

— То есть существует Земля,— сразу сообразил Удалов,— где есть Великий Гусяр, есть профессор Минц...

— И даже Корнелий Удалов,— сказал профессор.

— И вы хотите поехать туда?

— Вот именно. Там живет мой двойник.

— Но если вы не изобрели этой самой гравитации, почему вы решили, что он изобрел гравитацию?

— Параллельный мир, назовем его Земля-2, не совсем точная наша копия. Кое в чем он отличается. И, если верить моим расчетам, он движется во времени на месяц

впереди нашего. А уж за месяц я наверняка изобрету антигравитацию.

— Ну и отлично,— сказал Удалов, который умом, конечно же, согласился с очередным открытием Минца, но душа его такого оборота событий не восприняла.

— Не верите?— спросил Минц.

— Верю-то верю, да не знаю... А далеко до него?

— Этого наука сказать не может,— ответил Минц.— Потому что существование параллельных миров подразумевает многомерность Вселенной. Она изогнута так сложно, что параллельные миры фактически соприкасаются и в то же время отстоят на миллиарды световых лет. Нет, это выше понимания человека!

— Ну, раз выше, то не надо объяснять,— согласился Удалов.— Выздоровеете, отлежитесь и отправляйтесь в ваш параллельный мир, поговорите с самим собой, может, и в самом деле что узнаете.

— Вы ничего не поняли! — воскликнул простуженный профессор.— Я же дал слово! Город ждет! Если через два дня я не изобрету антигравитацию, Оболенский начнет...

Голос профессора прервался.

— Не переживайте,— возразил Удалов.— Вы не один. С вами общественность.

— Я обещал,— повторил профессор таким слабым голосом, что Удалов заявил:

— Ладно уж, схожу вместо вас.

— Нет, это опасно!

— Почему?

— Мы не знаем, в чем разница между нашим и тем миром.

— Тем более интересно.

— Нет. Я не могу взять на себя ответственность.

— Утречком, до работы, и схожу.

— А если придется задержаться?

— Я там перекушу. Деньги небось одинаковые?

— Удалов, вы задаете бессмысленные вопросы! — рассердился профессор.— Я там не был, никто там не был. Проголодаетесь, зайдите к самому себе, неужели не накормят?

— Значит, можно идти налегке,— сказал Удалов.

— По моим расчетам, путешествие займет часа два. Вам надо заглянуть в собственный дом, встретить меня, все объяснить, взять формулы гравитации, если они есть,— и тут же обратно.

— Вот и договорились,— обрадовался Удалов.— Отдыхайте. Может, все же врача вызвать?

— Нет, мой организм справится,— ответил Минц.

— Дайте мне слово, что до утра с дивана не встанете!

После некоторого колебания Минц дал слово, и Удалов ушел к себе успокоенный. Слово Льва Христофоровича нерушимо. К путешествию в параллельный мир Удалов отнесся без паники. Ему уже приходилось путешествовать. И в другие галактики, и в Вологду, и даже в Неаполь. Правда, новое путешествие давало пищу для размышлений. И Удалов размышлял.

В тот вечер они с Ксенией пошли в городской театр, где давал концерт камерный оркестр под управлением Спивакова. Теперь, когда духовная жизнь Великого Гусляра оживилась, туда приезжали многие выдающиеся артисты, даже из-за рубежа. На некоторые концерты было трудно попасть. Например, на вечер Адриано Челентано съехались зрители со всего района, даже из Тотьмы и Пьяного Бора.

Гастролеры также были довольны Гусляром. И его памятниками старины, и мирным добродушным гуслярским населением, и энтузиазмом любителей искусства. Но больше всего они ценили гуслярский театр, построенный в конце XVIII века радением купца Семибратова, правда, впоследствии обветшавший и заброшенный. В годы первых пятилеток в нем был склад, затем его перестроили под габошную артель. Пупыкин, в краткую бытность свою главой города, хотел сделать в бывшем театре Дом Приемов, но Оболенский уговорил его театр снести и на его месте воздвигнуть Дом Приемов из белого мрамора. К счастью, Пупыкина сняли, а театр восстановили методом народной стройки. Когда театр открыл свои двери, специалисты всего мира были поражены его акустикой. Даже шуршание актерских ресниц долетало до последнего ряда, облагораживаясь в полете.

А что касается музыкальных инструментов, то их звучание в зале, созданном руками безвестных гуслярских

умельцев, резко менялось к лучшему. Стоявший на сцене рояль фабрики «Красный Октябрь» звучал чуть-чуть лучше «Стейнвея», а скрипки... Страдивари умер бы от зависти!

Удалов с Ксенией сидели в третьем ряду, наслаждаясь музыкой. Вернее, Ксения наслаждалась, а Удалов думал. Если в том мире с гравитацией не выгорит, придется, видно, искать еще один — ведь их бесконечное множество. Тогда надо будет взять отпуск за свой счет. Да, прав Минц: параллельные миры должны оставаться государственной тайной. Вдруг мерзавец решит воспользоваться ими для своих целей... А если уже воспользовался? Если где-то другой Минц уже придумал такое путешествие, но у него нет верного друга в лице Удалова? Доверился какому-нибудь проходимцу, и тот уже здесь... Зачем он здесь? А затем, чтобы похитить ценную вещь из музея!

Эта мысль Удалова испугала, и он стал крутить головой, опасаясь увидеть пришельца. Потом понял — не увидишь. Ведь все пришельцы — двойники. Ты смотришь на него и думаешь: вот провизор Савич со своей супругой Вандой Казимировной. А в самом деле это дубль Савича и дубль его супруги. Или еще хуже — дубль Савича, а супруга настоящая... Постой, постой, а как же с Ксенией? Значит, там есть вторая Ксения? Такая же или чуть другая?

Удалов поглядел на свою жену. Она ничего не видела вокруг и сжимала в пальцах платок, внимая музыке Сибелиуса.

Когда они шли домой из театра, Удалов сказал Ксении, что завтра поедет в местную командировку, может задержаться.

— Куда? — спросила Ксения рассеянно. Она все еще находилась во власти искусства.

— Ты мне теплые носки приготовь. И пуговицу к плащу пришей.

Вечер был тихий, чудесный, дождь перестал, ветер стих. По разноцветным плиткам мостовой медленно гуляли жители города, обогащенные искусством. Уютно светились витрины магазинов и кооперативных кафе. По дороге Удалов с Ксенией заглянули в гастроном, купили сервिला-

та, немного красной икры, бананов и сливок — на завтрак. Продавщица Дуся очень жалела, что не смогла побывать на концерте, но говорили, что Спиваков обещал дать утренний концерт для тех, кто не смог послушать его вечером.

Утром Удалов чуть все не погубил. Когда оделся, сделал уже шаг к двери, обернулся, поглядел на Ксению и подумал: а вдруг я ее больше не увижу? Потому он вернулся, обнял жену и поцеловал.

Эта нежность встревожила Ксению.

— Ты что?— испугалась она.— Ты куда?

— К вечеру вернусь,— сказал Удалов, но голос его дрогнул.

— Что-то тут неладно,— сказала Ксения.— Кто она?

— Клянусь тебе, Ксюша,— ответил Удалов.— Отправляюсь в деловую командировку, в интересах города. А поцеловал тебя от возникшего чувства. Неужели этого не может быть?

— Что-то раньше ты меня по утрам не целовал,— резонно ответила Ксения.

— Господи! — возмущился Удалов.— Собственную жену поцеловать нельзя без скандала!

Ушел, хлопнул дверью. Чем, правда, Ксению несколько успокоил.

Минц уже проснулся, он сидел на диване, закутанный в одеяло.

— Удивительное дело,— сказал он при виде Удалова.— Не могу встать. Слабость такая, даже стыдно.

— Ничего,— ответил Удалов.— Давайте не будем терять времени даром. Лекарства принимали?

Удалов скинул плащ, приготовил завтрак, а тем временем Минц рассказал ему, что надо делать.

Переходить в параллельный мир придется в особой точке, которую вычислил Минц. Находится она в лесу, за городом, на шестом километре. И это хорошо, потому что переход сопровождается выбросом энергии, а выбрасывать ее лучше в безлюдном месте, чем среди людей, которых можно повредить. Для перехода надо вынуть из чемодана набор ограничителей, похожих на столовые ножи, воткнуть

их в землю вокруг себя, затем нажать на кнопку энерготранслятора. Там, в параллельном мире следует также огрადить место входа ограничителями и запомнить место — в другом не перейдешь.

Удалов выслушал инструкции, сложил в портфель набор ограничителей и прикрепил к рубашке маленький энерготранслятор.

— Учтите, мой друг, — сказал Минц. — Перейти может только один человек. Я не смогу вам помочь. Но я убежден, что в любом параллельном мире профессор Минц остается профессором Минцем, а Корнелий Удалов — таким же отважным и добрым, как здесь. Так что при любых трудностях обращайтесь ко мне или к себе.

Минц приподнял слабую руку.

— Жду! — сказал он вслед Корнелию. — Со щитом, но не на щите.

Набитый автобус долго крутил по узким улицам, минут пять стоял на перекрестке — такое интенсивное движение было в Гусляре. Удалов проникся важностью своей миссии. Именно он разгрузит транспортные потоки и спасет город. Народу трудно.

У гастронома в автобус влез Пупыкин — подобоострастный, улыбающийся. Как странно, подумал Удалов, что этот человечек с потными ладошками целый год пробыл во главе города, и не наступил эра демократии, и сейчас продолжал бы сживать со света честных людей.

— Корнелий Иванович! — пискнул Пупыкин. — Какое счастье! А я на утренний пробег спешу. Вы не бежите сегодня?

— Дела, — сказал Удалов. — Завтра побегу.

— Ах, у меня тоже дела, — признался Пупыкин. — Но надо показаться товарищу Белосельскому. Он может подумать, что я манкирую своим здоровьем. Правда?

— Не знаю, что думает товарищ Белосельский, — ответил Удалов. — У него и без вас забот много.

— Да, Николай Иванович страшно занят! Я лучше любого другого могу это понять. Кстати, в управлении охраны природы ищут инструктора по пернатым. Вы не могли бы замолвить за меня словечко?

— Но я-то при чем?— с тоской спросил Удалов, глядя в окно автобуса.

— Вы имеете связи,— сказал Пупыкин убежденно.— Сам товарищ Белосельский с вами советуется.

— Какие уж там связи...

— Нет! — взвизгнул Пупыкин и попытался игриво ткнуть Удалова в живот пальчиком.— Есть связи, есть! А мне на пенсию рано. Бурлит энергия, хочу внести вклад!

Тут автобус остановился, и водитель произнес:

— Пристань. Следующая остановка — городской парк.

Удалов подтолкнул Пупыкина к выходу, и тот пропал в толпе.

Еще недавно ты был другой, подумал Удалов. А что настоящее? Этот Пупыкин или тот, который вызывал Удалова на ковер и прочищал ему мозги?

В лесу на шестом километре Удалов отыскал нужное место. Минц уже пометил мелом два ствола, между которыми надо ставить ограничители.

В лесу было тихо, даже птицы не пели. Осень. Только случайный комар крутился возле уха.

Будем надеяться, сказал себе Удалов, что там, в параллельном, тоже нет дождя.

Он расставил ограничители, воткнул их поглубже в землю и забросал бурыми листьями, чтобы грибники не заметили. Потом вошел в круг, нащупал у воротника кнопку на энерготрансляторе и, зажмурившись, нажал на нее.

Его куда-то понесло, закрутило, он потерял равновесие и стал падать, ввинчиваясь в пространство.

В самом же деле он никуда не падал, и если бы случайный прохожий увидел его, то поразился бы — отчего это полный, средних лет человек отчаянно машет руками, будто идет по проволоке, но при том не двигается с места. И постепенно растворяется в воздухе.

Когда верчение пропало, Удалов открыл глаза.

Путешествие закончилось. А может, и не начиналось.

Потому что вокруг стоял такой же тихий лес и точно так же звенел над ухом поздний комар.

Удалов огляделся, посмотрел, стоят ли ограничители.

Их не было. Земля пустая. А раз сказок и чудес на свете не бывает, значит, Удалов уже в параллельном мире. И надо его тоже пометить ограничителями.

Что Удалов и сделал. И так же, как в своем мире, засыпал их сухими листьями.

Потом посмотрел на небо. Небо было пасмурным, дождь мог начаться в любую минуту. Куда идти?

«Глупый вопрос,— ответил сам себе Удалов.— Идти надо в город, к себе домой».

И решительно пошел к шоссе.

Первое различие с собственным миром удалось заметить на автобусной остановке.

Сама остановка была такая же — бетонная площадка, на ней столб с номером и расписанием. Только столб покоился, а расписание было настолько избито дождями и ветрами, что не разберешь, когда ждать автобуса.

Время шло, автобус не появлялся. Мимо проехало несколько машин, но ни одна не остановилась. Удалов пошел пешком. До города шесть километров, но километра через два будут Выселки, а оттуда ходит двадцатка до самой Пушкинской.

Шагая, Удалов внимательно осматривался, отыскивая различия.

Различий было немного. Например, шоссе. В нашем мире его еще прошлой весной привели в порядок. Здесь, видно, недосуг это сделать. Встречались выбоины, ямы, кое-где большие трещины. Как специалист Удалов понимал, что если не заняться шоссе в ближайшее время, придется вкладывать в ремонт большие деньги. Надо будет сказать... А кому сказать? Скажу Удалову, решил Удалов.

Впереди показались крыши Выселок.

Удалов вышел на единственную улицу поселка. У магазина на завалинке сидели два грустных местных жителя. Дверь в магазин была раскрыта. На автобусной остановке ни души.

Удалов подошел к магазину и спросил у местного жителя:

— Автобус давно был?

— Автобус?— Человек поглядел на Удалова, как на психа.— Какой автобус?

— До центра,— сказал Удалов.

— Ему нужен автобус до центра,— сообщил один человек другому.

— Бывает,— ответил тот.

Из дверей магазина вышел третий человек, постарше. Он нес в руке темную бутылку.

— Есть политура,— сказал он и быстро пошел прочь.

Собеседники Удалова помчались вслед за обладателем бутылки.

— Автобус когда будет?— закричал Удалов вдогонку.

Мужчины не ответили, но старушка, что вышла из магазина следом за человеком с бутылкой, сказала:

— Не будет тебе автобуса, милок. Отменили.

— Как отменили? Почему?

— В виде исключения по просьбе трудящихся.

— А когда он придет?

— Никогда он не придет,— сказала старушка.— Зачем ему приходиться, если у нас есть такая просьба, чтобы он не приходил?

— Но до города четыре версты пехом!

— А ты не торопись, воздухом дыши. Потому автобус и отменили, чтобы люди больше воздухом дышали. Для здоровья.

Удалов пошел пешком.

Вскоре он догнал молодую женщину с рюкзаком и чемоданом. Женщина была одета в ватник и лыжные штаны. На ногах мужские башмаки, голова закутана серым платком.

— Помочь?— спросил Удалов, поравнявшись.

— Не надо,— ответила женщина и отвернулась.

Чем-то ее лицо было Удалову знакомо. Он пошел рядом, стараясь вспомнить.

— Чего смотрите?— спросила женщина, не глядя в его сторону.— Не признаете, что ли?

— Знакомое лицо,— сказал он.— Недавно виделись... Вы простите, конечно, но одежда непривычная.

— Ну, Удалов! — рассмеялась тут женщина.— Ну, вы осторожный!

И по тому, как женщина произнесла слова, и как улыбнулась, и как блеснула стальная коронка в правом

углу рта, Удалов признал Зиночку Сочкину — хохотушку, резвушку, директоршу музыкальной школы и активную общественницу. Еще вчера она бежала рядом в утреннем забеге. Но теперь эта милая интеллигентная женщина изменилась столь разительно, что ее не сразу узнал бы собственный отец. Лицо осунулось, обгорело под солнцем, покрылось сеточкой ранних морщин. Курчавые еще вчера волосы были скрыты под платком, ресницы не покрашены, губы обкусаны. Да и взгляд пустой, без смелости и озорства.

— Нет,— сказал Удалов,— я честно не узнал, Зиночка. Я же тебя совсем другой знаю. Что с тобой произошло?

— Шутите?— спросила Зина, спрятав улыбку.— Вам легко шутить.

И так горько сказала, что Удалов понял — допустил нетактичность.

Но сейчас ему было не до дипломатии. Считай, что повезло, встретил знакомую, которая тебя узнала. Надо осторожно вытащить из нее информацию.

— Откуда возвращаетесь?— спросил Удалов.

При этом он сделал попытку отобрать у молодой женщины чемодан. От неожиданности она чемодан отпустила, но тут же спохватилась и стала тащить его на себя. Чемодан был тяжелый. Удалов сопротивлялся и повторял:

— Я же только помочь хочу, помочь, понимаешь!

Но женщина упрямо тянула чемодан, и тот не выдержал борьбы, распахнулся, и из него покатились на асфальт картошка — мокрая, грязная...

Женщина в ужасе отпрянула, закрыла глаза руками и зарыдала.

— Ты прости, я не знал,— сказал Удалов.— Я не хотел.

Он поставил открытый чемодан на дорогу и, нагнувшись, стал собирать в него картошку.

Раздался скрип тормозов.

— Ты чего здесь расселся, мать твою так-перетак!

Удалов поднял голову.

Рядом с ним стоял мотоцикл. В седле, упершись ногой в асфальт, сидел старый знакомый — сержант Пилипенко. Только он был при усах и в капитанских погонах.

— Ты что, не знаешь, какая это трасса? Я тебя живо изолирую!

— Сема, Пилипенко! — удивился Удалов. — Какая еще трасса!

— А, это ты, — сказал Пилипенко. Узнал все-таки. — Ты чего вырядился?

А ничего особенного на Удалове не было — плащ, сделанный в Гусяре кооперативной фабрикой «Мода Парижской коммуны», голландская шляпа, купленная в универсаме, и армянские штиблеты — одежда как одежда.

— Что ты здесь делаешь? — спросил с подозрением бывший сержант, а ныне капитан Пилипенко.

— Видишь же, — ответил Удалов. — Картошку рассыпал.

— Картошку? Откуда взял?

— Послушай, Пилипенко, ты что себе позволяешь? — спросил Удалов. — Я же тебя с детства знаю.

Удалов оглянулся в поисках Зины, но ее нигде не было, и он решил взять все на себя.

— Моя картошка, — сказал Удалов, почти не колеблясь.

— Ты меня удивляешь, — сказал Пилипенко. — В твоём-то положении.

— А чем тебе не нравится мое положение?

— Шутишь?

— Не шучу — спрашиваю.

— Давай скорей собирай, чего дорогу занимаешь? — совсем осерчал Пилипенко и стал подгонять носком сапога картофелины поближе к Удалову.

Вдали послышался тревожный вой.

— С дороги! — взревел Пилипенко.

Удалов, так и не закрыв чемодана, оттащил его на обочину.

— Закрывай! — крикнул Пилипенко и нажал на газ. Мотоцикл подпрыгнул и понёсся вперед.

Удалов закрыл чемодан и распрямился.

И тут же из-за поворота вылетела черная «Волга» с двумя флажками, как у посольской машины, — справа государственный, слева — с гусярским гербом: ладья под парусом, на корме сидит певец с гусями, а над мачтой медвежья нога под красной звездочкой.

В машине мелькнул знакомый профиль, на мгновение голова повернулась и глаза уперлись в лицо Удалова. Удалов не успел угадать — кто едет.

За первой «Волгой» мчались еще две, серая и зеленая, потом «Жигули» и напоследок мотоциклист в милицмейской форме.

Кортеж пролетел мимо и растворился, оставив газовый туман и ошметки пронзительных звуков.

Удалов обернулся к кустам у дороги и спросил:

— Зина, ты здесь?

— Я здесь, — слышалось в ответ.

Сочкина выбралась из кустов. Она была бледной, руки тряслись.

— Кто это был? — спросил Удалов.

— Он, — ответила Зина, — с охоты возвращаются. Неужели не догадались?

— Я пошутил, — сказал Удалов.

— А мне не до шуток. Думала, конец мне пришел.

— Да ты что? — удивился Удалов. — Что ты такого сделала, чтобы пугаться?

— Корнелий Иванович, — сказала с укором Зиночка. — Вы со мной в одном городе живете, ваша роль мне, к сожалению, известна. Одно мне непонятно — почему вы на себя мое преступление взяли, головой рискуете?

Удалов поднял чемодан и пошел по шоссе. Зина шла рядом.

— Я знаю, в чем дело, — сказала она. — В вас совесть заговорила. Мне Ксения говорила, что вы не такой подонок, как кажется. Я ей не поверила.

— Где же она тебе это говорила?

Тут Зина остановилась, поглядела на Удалова и сказала загадочно:

— Там, где картошка растет. — И вдруг взъерилась: — Лицемер проклятый! Отдайте мне чемодан!

Удалов вернул чемодан.

— А теперь уходите, — сказала Зина. — Я не знаю, может, у вас в душе и шевельнулось что-то, но скорее всего это страх перед расплатой. Прощайте. Я вас не видела, вы меня не видели.

Удалову стало ясно, что лучше вопросов не задавать.

Чего-то он не понимает, за что-то Зина его не любит. А ведь еще вчера у них были чудесные отношения. Правда, не здесь.

Зина свернула с шоссе на тропинку, а Удалов вошел в Великий Гусяр.

Одноэтажные домики окраины прятались в облетевших садах, дальше виднелась темная чаща городского парка. За ним дома повыше, колокольни и купола церквей. Издали — похоже на родной город.

Вот и первая, куда как знакомая Удалову улица. В нее превращается, вливаясь в город, шоссе. Поперек улицы висело красное полотнище. На нем белыми буквами: «Превратим наш город в образцовый!»

Заборы были недавно покрашены, красиво, в зеленый цвет. Одинаково. Тротуаров нет — пыльные тропинки среди пыльных лопухов. Тут у вас отставание, подумал Удалов. Мы все это в позапрошлом году замостили. Ему было интересно идти и сравнивать. Как на картинке, какие бывают в детских журналах: отыщите десять различий на двух одинаковых рисунках.

На пересечении улицы с Торговым переулком, который здесь, как установил Удалов, именовался «Проспектом Бескорыстия», стоял большой деревянный щит на ножках. Щит изображал девицу в народном костюме, к груди она прижимала, как доброго молодца, громадный сноп. Над девицей надпись: «Завалим Родину хлебами!»

Удалов вздохнул: у этих оформителей порой не хватает образования. Они, конечно, хотели как лучше, но получилось неточно.

Здесь надо повернуть налево, вспомнил Удалов, и мимо рынка выйти к Горной — так короче. Он свернул в проход. Сейчас перед ним откроется бурная, привычная глазу картина продовольственного рынка.

Удалов обрадовался, углядев дыру в рыночном заборе, точно такую же, как дома. Правда, там дыра как дыра, а здесь над ней надпись: «Проход воспрещен».

С первого же взгляда рынок поразил Удалова. Если где и чувствовалась разница с нашим Гусяром, так это на рынке.

На нашем рынке жизнь кипит. Ближе к дыре должны быть ряды картофельные, свекольные и капустные. Картошка одна к одной, отборная, чистая, кочаны белые, крепкие. Дальше ряд фруктовый. Там свои яблоки да груши, персики и хурма из экспериментального тепличного хозяйства, поздняя малина и банки с вареньями, соленьями, маринадами. Тут же гости с юга: узбеки с виноградом «дамский пальчик», грузины с сухим вином и мандаринами, армяне с персиками славной формы и вкуса, индусы с кокосовыми орехами и плодами манго, китайцы... нет, китайцы большей частью в мясном павильоне. Там они торгуют пекинскими утками, мясом трепангов и особенной кисло-сладкой свининой. Рядом с датчанами — те привозят на гуслярский рынок марочное масло — да с исландцами: кто лучше их засолит селедочку?

Эти мысли пронесли в голове Удалова и вызвали привычное слюноотделение. Но параллельная действительность предстала совсем иной.

Картофельный и свекольный ряды были пусты, только одна женщина торговала семечками. Удалов подошел к ней, спросил:

— Попробовать можно?

Та пожала плечами.

Удалов взял семечко — было оно горелым и пересушенным.

— Плохо, — сказал он.

— Скажи спасибо, что такое есть.

Удалов направился мимо пустых прилавков; где не видно было ни кокосов, ни яблок, к мясному павильону. Над ним висел яркий плакат: «Выставка-продажа веников».

И в самом деле — внутри торговали вениками, шибко торговали, люди в очереди стояли. А мяса не было и в помине.

В очереди за вениками попадались знакомые лица. Возникло желание — купить веник Ксюше. Правда, дома веник есть, но раз все стоят, хочется тоже встать. Это атавизм, понял Удалов, преодолевая себя. Атавизм, оставшийся с тех времен, когда еще был дефицит.

Удалов почувствовал, что проголодался. Вроде бы обедать рано, но когда видишь, что пищи вокруг не видно,

начинает мучить голод. Удалов не стал заходить в музей рынка, что стоял на месте кооператива «Розы и гвоздики», а поспешил к выходу. Там, направо, есть столовая «Пышка», сытная, недорогая, на семейном подряде Муссалимовых.

У выхода Удалов нагнал знакомого провизора Савича. Савич нес два веника.

— Никита! — позвал Удалов. — Ты что не на службе?

Это он так сказал, в шутку.

— Что? — Савич испуганно обернулся. — Я имею бюллетень!

Но тут узнал Удалова и оттаял.

— Чего пугаешь? — сказал он. — Так и до инфаркта довести недолго. Я уж решил, что дружинники.

Лицо у Савича было потное, мучнистого цвета. Свободной рукой он стянул с лица шляпу и начал вытирать ею лоб и щеки.

— Прости, — сказал Удалов. — Я и не думал, что тебя испугаю.

— Вот, выкинули, — объяснил Савич.

— Хорошие веники, — вежливо сказал Удалов. — А как вообще жизнь?

— Ты же знаешь, что жизнь отличная, лучшая жизнь, — проговорил Савич странным, срывающимся голосом.

Они уже вышли из рынка и остановились.

— Корнелий Иванович, — сказал вдруг Савич. — Тебе направо, мне налево. Нехорошо, если нас увидят вместе.

— Чего в этом плохого?

— Ну, как знаешь, — согласился Савич уныло. — Только учти — у меня бюллетень. Все по закону. А за Ванду я не обижаюсь.

— А что с Вандой? — спросил Удалов.

— С Вандой? И ты спрашиваешь?

Лицо у Савича было трагическое, вот-вот заплачет.

— Ну, привет ей передавай, — сказал Удалов. Пора прощаться, пока не наговорил чего лишнего.

— Ей? Привет? От тебя?

Савич повернулся и зашагал прочь, волоча за собой два веника, как ненужный букет.

Надо срочно поговорить с самим собой, решил Удалов. Без этого тайны только накапливаются.

И он повернул направо. В сторону Пушкинской улицы.

Прошел под плакатом, натянутым над улицей: «Хозяйство должно быть хозяйственным!» Прочитал, перечитал, не понял. Посмотрел туда, где должен был стоять кооператив «Пышка». На месте знакомой вывески была другая: «Прокат флагов и лозунгов».

Среди прохожих на улице попадались знакомые, с ними Удалов по инерции раскланивался. Люди кивали в ответ, но кое-кто прятал глаза и спешил мимо с опущенной головой.

Тут должен быть гастроном, сказал себе Удалов. Зайду, куплю своему двойнику что-нибудь. Неудобно в гости сваливаться без подарка. Икорки возьму, шампанского — впрочем, неизвестно, что здесь есть, чего нет. Возьму, что есть.

Витрина гастронома обрадовала Удалова. Наконец-то все вернулось на свои места. Она почти такая же, как в родном Гусяре. Грудой лежит посреди витрины бычья туша, по бокам поленницами разные колбасы, за колбасами разделанная осетрина и лососина. Лососина больше всего обрадовала Удалова, потому что такой розовой и крупной он давно не видел.

Удалов вошел в магазин и удивился его пустынности. Смотри-ка, сказал он себе: свято здесь соблюдают рабочее время. Даже домашние хозяйки в рабочее время по магазинам не ходят. А может быть, здесь создана всеобщая система доставки товаров на дом?

Он подошел к рыбному отделу, но не обнаружил на прилавке ни лососины, ни осетрины. Даже шпротов не было.

— Девушка! — позвал Удалов продавщицу, что вязала в углу.

— Чего? — спросила она, поднимая голову.

Господи! — понял Удалов, это же Ванда Казимировна, жена Савича, директор универсама.

— Вандочка! — воскликнул Удалов в большой радости. — Ты что здесь делаешь?

— Корнелий?

Ванда отложила вязанье. И замолчала, глядя враждебными глазами. Она выглядела лет на десять старше, глаза тусклые.

Удалов осознал: беда. Каждый торговый работник живет под угрозой ревизии. У нас в Гусляре милиции и общест-венности пришлось потрудиться, прежде чем всех торговых жуликов перевоспитали. Но Ванда! Ванда всегда честной была! Ее универмаг первое место в области занял! И хор продавщиц в Москву выезжал!

Здесьняя Ванда была совсем другой. Может, согрешила? Человек слаб...

— Чего вам надо, Корнелий Иванович?— спросила Ванда.

— Я там на витрине лососину видел,— сказал Удалов.— Ты мне не свешаешь граммов триста?

— Чего?— тихо переспросила Ванда. Так, словно Удалов сказал неприличное слово, к которому она не была приучена.

— Граммов триста, не больше.

— Может, ты еще осетрины захотел, провокатор?— спросила Ванда угрожающе.

— Кончилась, да?— сказал Удалов миролюбиво.— Если кончилась, я понимаю. Мне и с витрины сгодится.

— Слушай, а пошел ты...— И тут Ванда произнесла такую фразу, что не только сама знать ее не могла, но и Удалов лишь подозревал, что люди умеют так выражаться.— Мне терять нечего! Так что можешь принимать меры, жаловаться, уничтожать... Не запугаешь!

— Ванда, Вандочка, но я-то при чем?— лепетал Удалов.— Я шел, вижу — продукты на витрине...

— Какие продукты? Картонные они, из папье-маше, на случай иностранной делегации или областной комиссии...

Тут Ванда зарыдала и убежала в подсобку.

Вокруг было тихо. И тут до Удалова дошло, что немногочисленные посетители магазина, стоявшие в очереди в бакалейный отдел за кофейным напитком «Овсяный крепкий», обернулись в его сторону. Смотрели на него и продавцы. И все молчали.

— Простите,— сказал им Удалов. И вышел из магазина.

С улицы он еще раз поглядел на витрину. И понял, что только невинный взор человека, привыкшего к продуктово-му изобилию — скажем, взор бельгийского туриста или жителя нашего, тамошнего Гусляра — мог принять эти муляжи за настоящую лососину.

«Ой, неладно,— подумал Удалов.— Пожалуй, хватит гулять по городу. Скорей бы добраться до дома и все узнать у себя самого».

И Удалов поспешил домой.

Правда, ушел он недалеко. Дорогу ему преградила длинная колонна школьников. Они шли по двое, в ногу, впереди учительница, сзади учительница. Школьники несли флажки и маленькие лопатки.

Учительница подняла руку. Дети приоткрыли ротки.

— Безродному Чебурашке! — закричала она.

— Позор, позор, позор! — с радостью закричали дети.

— Тунеядца Карлсона! — закричала вторая учительница, что шла сзади.

— Долой, долой, долой! — вопили дети.

Движение колонны возобновилось, а Удалов пошел сзади, размышляя над словами детей.

Дети вышли на площадь. На знакомую площадь, что ограничена с одной стороны торговыми рядами, с другой — Городским Домом. Там должен возвышаться памятник землепроходцам, что уходили с незапамятных времен из Великого Гусляра, дабы открывать Чукотку, Камчатку и Калифорнию. Удалова ждало потрясение. Коллективного портрета землепроходцев, сгрудившихся на носу стилизованной ладьи, не было. Остался только постамент в виде этой самой ладьи. Из нее вырастали громадные бетонные ноги в брюках. Ноги сходились на высоте трехэтажного дома. Дальше монумент еще не был возведен — наверху сустились бетонщики.

Площадь вокруг монумента была перекопана. Бульдозеры разравнивали землю, экскаваторы рыли траншеи, множество людей внедряло саженцы в подготовленные ямы. Школьников, что с песней вошли на площадь, погнали в сторону, где создавались клумбы.

На балконе Гордома сгрудился духовой оркестр и оглашал окрестности веселыми маршевыми звуками.

Удалов стоял, как прикованный, и лихорадочно рассуждал, кто из великих людей проживал в Гусляре или хотя бы бывал здесь проездом? Пушкин? А может, Ломоносов на пути из Холмогор? Но зачем ради них свергать землепроходцев?

Тут Удалов узнал бульдозериста. Это был Эдик из его ремстройконторы. Бульдозерист Эдик тоже узнал своего начальника:

— Корнелий Иванович, что не в спецбуфете?

Он-то, во всяком случае, на Удалова не сердился.

— Расхотелось,— сказал Удалов.— Как дела продвигаются?

— С опережением,— ответил бульдозерист.— Взятые обязательства перевыполним! Сделаем монумент на три метра выше проекта!

— Сделаем,— согласился Удалов.

Какой бы еще задать наводящий вопрос?

— Внушительно получилось, правда?— спросил он.

— Вам лучше знать, Корнелий Иванович,— ответил Эдик.

— Крупная личность. Большой ученый.

— Это вам виднее.

Значит, не ученый. Либо писатель, либо политический деятель.

— А когда он умер, не помнишь?— спросил Удалов, показывая на памятник.

Взгляд бульдозериста был дикий. Видно, Удалов сморозил глупость. И дата смерти человека, нижняя половина которого уже стояла на площади, известна каждому ребенку.

— Нет, ты не думай,— поспешил Удалов исправить положение.— Я знаю, конечно, когда умер. Просто тебя проверить хотел.

— Проверить?— сказал без улыбки Эдик.— Если бы не очередь на квартиру, я бы иначе с тобой поговорил.

— Все! — закричал Удалов.— Ухожу. Я пошутил.

Удалов обогнул пьедестал и увидел, что там лежат отдельно громадная бетонная рука с зажатым в ней портфелем, другая рука с раскрытыми пальцами, куски бюста, но

главное, под большим брезентом — голова. Шар в рост человека.

Ноги сами понесли Удалова посмотреть на голову. Он приподнял край тяжелого брезента, но увидел только ухо. И в этот момент сзади раздался пронзительный свист — к нему бежал милиционер.

Удалов понял: дело плохо. И кинулся с площади.

Но далеко не убежал. С другой стороны уже ехала «скоро́рая помощь». Она затормозила у раскопанной траншеи, оттуда выскочили санитары с носилками и также кинулись к Удалову. Удалов, как заяц, метался по полю, но кольцо преследователей все сужалось. Его бы поймали, но воздух внезапно потемнел, на город напозла черная туча.

— Красная игрушка! — раздался крик в толпе. — Красная игрушка!

И люди побежали прочь, ища укрытия, подхватывая по пути детишек.

Удалов остался один посреди площади.

Гроза идет, понял он и, благодаря природу за своевременное вмешательство, поспешил к торговым рядам, чтобы укрыться там. Но далеко отойти не успел. С неба сорвались первые капли влаги. Они были черными, едкими, они жгли лицо и проникали сквозь одежду. К тому времени, когда Удалов добежал до пустого подъезда, все тело горело от ожогов, а одежда начала расплзаться.

«Черт знает что», — рассердился Удалов. Знал бы, никогда бы не согласился на такое путешествие. Вечно этот Минц с его открытиями! Но внутренний голос поправил Удалова: Корнелий, сказал он, тебя никто не заставлял бегать по площади и задавать вопросы. Прошел бы прямо на Пушкинскую, уже, наверное, возвратился бы домой с формулами в руках. Сам виноват.

Удалов согласился с внутренним голосом.

Кислотный дождь прекратился, но туча еще висела над городом и улицы были пустынными. Удалов побегал домой.

Тротуары были скользкими и черными от зловонной жижи, плащ пришлось скинуть, костюм держался еле-еле, у правого ботинка отклеилась подошва. В таком плачевном

виде Удалов влетел в ворота своего дома и сразу нырнул в подъезд.

Вот и родная лестница, вот и привычная дверь.

Удалов нажал на кнопку и услышал знакомый звон, прозвучавший в квартире.

Дверь открылась далеко не сразу.

В дверях стояла чем-то знакомая молодая блондинка. Приятной внешности, в цветастом халате, натянувшемся на высокой груди.

— Корнелий! — воскликнула молодая женщина. — Как же ты не уберегся!

— Я... понимаете... понимаешь... — Тут Удалов совсем смешался, потому что ожидал встретить совсем другую женщину. Кто она? Почему она здесь? Где Ксения?

— Тебе лучше не заходить, — сказала молодая женщина, загораживая проход. — Сначала погуляй, обсохни.

— Я с тобой не согласен, — возразил Удалов. У него зуб на зуб не попадал.

— Ладно, только в комнаты не заходи.

Женщина отступила, не скрывая отвращения от запаха и вида Удалова.

— Все здесь сбрасывай, и сразу в ванную!

Перед Удаловым стояла трудная проблема. Ему предлагали раздеться догола, полагая, что он не тот Удалов. Ладно бы предлагала Ксюша — перед Ксюшей, даже чужой, можно было не стесняться. Но с этой... как при ней разденешься?

— Ты что? — спросила молодая женщина. — Оробел, что ли, мой орел общипанный?

— Знаешь, — сказал Удалов, — я лучше так в ванную пройду. Там и разденусь.

— Чтобы всю ванную провонял? У меня там импортные шампуни.

Удалов, возя ногой по ноге, стянул с себя распадающиеся ботинки, с ними сошли и носки. Потом все же двинулся к ванной.

— Стой! — Молодая женщина загородила руками проход. — Убью!

Халат ее распахнулся, обнаружив кружевное нижнее белье, и это совсем не смутило красотку.

И тогда Удалов, понимая, что выхода нет, начал стаскивать с себя остатки костюма, делая это очень медленно, оттягивая время, в надежде, что другой Удалов придет и освободит его от позорного действия, опасаясь, однако, что другой Удалов может его неправильно понять.

— Ты чего домой пришел?— спросила тем временем красotka.

— Я... я обедать пришел,— вспомнил Удалов.

— Домой? Ты же к спецбуфету прикреплен. Откуда у меня для тебя обед?

Костюм упал на пол, Удалов остался в трусах и майке — хорошо, что они не расплзлись от кислотного дождя. Но были ветхими, ненадежными. Приходилось поддерживать трусы руками.

От страха и полной растерянности Удалов стал агрессивным. Что за отношение к нему в собственном доме! Куда-то дели родную жену и еще приказывают!

— Дай мне халат какой-нибудь,— сказал Удалов.

— Вымоешься, получишь халат.

«А вдруг это моя новая жена?— подумал Удалов.— Все в этом мире так же, как в нашем, только жена у меня не Ксения, а молодая и красивая». И как только он об этом подумал, то поглядел на женщину совсем другими, можно сказать, хозяйскими глазами. Но что-то его смущало, и было неловко перед Ксенией.

— Дай халат,— повторил он и сделал шаг вперед. Женщина отступила, но не от страха перед Удаловым, а опасаясь об него испачкаться.

Прихожая в доме Удаловых невелика, так что Корнелий быстро достиг входа в комнату и повторил в третий раз, громче и смелее:

— Дай халат!

И тут произошло совсем уж странное событие — его халат возник в приоткрытой двери. Он двигался по воздуху, потому что его держала обнаженная мужская рука.

Удалов принял из мужской руки халат и увидел в щели главного архитектора города Оболенского, можно сказать, в одних кальсонах.

— Это что?— спросил Удалов, полностью переключаясь на роль своего двойника.

— А что?— спросила молодая женщина, стараясь закрыть спиной дверь.

«Может, не жена?— подумал Удалов.— Я тут бушую, а она, может, вовсе жена архитектора Оболенского?»

— Что Оболенский там делает?— спросил Удалов.

— Оболенский?— удивилась молодая женщина.— Какой такой Оболенский?

— Архитектор! — воскликнул Удалов и, отодвинув женщину, распахнул дверь в комнату.

В окне мелькнула темная тень, послышался треск ветвей и глухой удар о землю.

Удалов кинулся к окну.

Оболенский с трудом поднялся с земли и, прихрамывая, заковылял к воротам. Под мышкой он нес недостающую одежду.

— Эй! — крикнул ему Удалов.— Стой! Поговорить надо.

Но архитектор Оболенский даже не обернулся.

Тогда Удалов обернулся к молодой женщине.

— Попрошу объяснений,— сказал он.

— Объяснения?— Женщина была возмущена.— Кто ты такой, чтобы давать тебе объяснения?

— А вот такой! — ответил Удалов, потому что не знал, кто он такой.

— Подумаешь, человек в гости пришел, чаю попить.

— В халате пришел чаю попить?— закричал Удалов.

— А у него горячей воды нет,— ответила женщина, отступая перед яростью Удалова.— Воды нет, вот он и пришел ванну принять. И в конце концов — какое тебе дело?

Удалов понял, что открылась возможность выяснить, кем ему приходится эта женщина.

— Такое дело! Ты мне жена или не жена?

— Ну, жена,— ответила женщина.— Ну и что?

— А то, что таких жен душат на месте.

— А ты придуши, придуши, Отелла! Посмотрим, какой ты завтра будешь!

— Плевать, какой я буду завтра! — зарычал Удалов и, подняв растопыренные руки, пошел на молодую жену.

Молодая жена отступала в комнату, нагло ухмыляясь и

покачивая бедрами. И по этим бедрам Удалов узнал непутевую Римку, что заигрывала с ним на улице. Может показаться невероятным, что Удалов не сразу узнал ее, но встаньте на его место — придите домой, найдите там малознакомую женщину, облаченную в халат вашей жены,— еще посмотрим, сразу ли вы ее узнаете.

Тут Римма завопила, словно он уже начал ее душить, и бешеными глазами уставилась за спину Удалова. А от двери слышался удивленный голос:

— Что такое?

Рот Риммы раскрылся, глаза закатились, и она медленно опустилась на пол.

Удалов тоже оглянулся и увидел, что в дверях стоит он сам, только в плаще, костюме и кепке, надвинутой на уши.

— Ты кто такой?— грозно спросил пришедший Удалов.

— Стой, стой, стой! — закричал первый Удалов.— Все в порядке! Все путем. Навожу порядок в нашей семье.

И тут пришедший Удалов узнал первого Удалова.

Но, конечно, не поверил собственным глазам, потому что зажмурился и долго не разожмурился.

А молодая жена лежала на ковре у его ног и почти не дышала.

— Слушай меня внимательно! — быстро сказал первый Удалов своему двойнику. Говорил он напористо, чтобы не дать двойнику опомниться.— Я — это ты, тут никакой мистики, одна наука. Все объясню потом. Возьми себя в руки, Корнелий.

— А она?— спросил, не разожмуриваясь, двойник.

— Римма пускай полежит в обмороке,— сказал Удалов.— Ничего не случится. Есть дела более важные.

— Вот это ты брось! — Двойник открыл глаза. Характер у него был удаловский, упрямый.

Он резким движением сбросил плащ, присел на корточки возле молодой женщины и взял ее пальцами за кисть руки.

— Ну, что я тебе говорил?— спросил Удалов.— Нормальный пульс?

— Пульс слабый,— ответил двойник.

Он поднатужился, поднял крепкое молодое тело и дота-

шил его до дивана. Молодая жена не проявляла признаков жизни.

Сделав это, двойник обратился к Удалову:

— Ты чего здесь в одних трусах делаешь?

В голосе его прозвучала ревность.

— Не по адресу обращаешься,— ответил Удалов.— Ты не меня подозревай, а того, кто через окно сбежал.

Двойник бросился к окну.

— Нет его там,— сказал Удалов.

— А кто был?

— Архитектор Оболенский.

— Так я и знал! — сказал двойник.— Козел старый!

— А ты как думал?— вскинулся Удалов.— Если старую жену на молодую меняешь, то учитывай риск. Сам небось не Аполлон.

— Да помолчи ты! — огрызнулся двойник и задумался.

— Слушай,— сказал Удалов,— можно, я помоюсь?

— У тебя что, дома своего нет?— спросил двойник.

— Есть, но далеко, в трусах не добежать,— сказал Удалов.— А мне с тобой поговорить нужно.

— О чем?— Видно, двойник все еще был в шоке.

— Пойдем,— сказал Удалов.— Побудешь со мной в ванне, пока я буду мыться.

— Не хочу. Мне на совещание надо.

— Корнелий, не спорь. Разговор у нас секретный. А секретные разговоры лучше вести, когда вода течет.

Удалов решительно пошел в ванную, двойник колебался. Молодая неверная жена лежала без чувств. Неизвестно было, то ли ее жалеть, то ли убить.

Для начала он накрыл ее пледом, потом все же пошел в ванную.

Удалов включил газовую горелку, разделся. Двойника он не стеснялся. Двойник с удивлением смотрел на большую родинку под правым плечом. Понятно почему — на верняка у него такая же.

— Дверь закрой на крючок,— сказал Удалов.— Чтобы Римма случайно не заглянула.

— Объясни, прошу, что это значит?— взмолился двойник.

— Все в свое время,— ответил Удалов, садясь на край

ванны и указывая двойнику на табуретку. Теперь они могли говорить, сблизив головы. Головы отражались в зеркале. «Ох и молодец Минц,— думал Удалов.— Вот гений человечества!»

«Что творится,— думал второй Удалов.— Неужели я сплю! Или это вражеская провокация?»

Но когда он попытался себя ущипнуть, Удалов сказал ему:

— Не старайся, все это объективная реальность,— Я — твой двойник из параллельного мира.

— Ага,— согласился двойник, но, похоже, не понял.

— Где Ксения?— спросил Удалов.

— Развод,— ответил двойник.

— А я в нашем мире с ней живу. И разводиться не собираюсь.

— Долг выше привычки,— сказал двойник.

— Ты меня удивил. А где Максимка?

— С ней,— ответил кратко двойник. Говорить ему об этом не хотелось. «Ладно,— решил Удалов,— мы еще к этому вернемся».

— А новая, Римма?— спросил он.— Как она тебя подцепила?

— Она секретаршей была. У Самого. Он мне ее рекомендовал.

— Кто, Белосельский?

— Какой Белосельский?

— Ты что, Колю Белосельского не знаешь? Мы же с ним в одном классе учились. Он у нас предгор!

— Не знаю,— сказал двойник, косясь на дверь.— Тебе уходить пора.

— Что-то у вас здесь неладно,— сказал Удалов.— Я, когда сюда приехал, думал, что все как у нас. А вижу, что у вас не параллельный мир, а в некотором смысле... перпендикулярный.

— Какой еще мир? Что ты городишь?

— Ты о параллельных мирах слыхал? Известная теория. Наш профессор Минц ее разработал и отправил меня к вам, чтобы одно дельце решить... Ты что отворачиваешься?

— Не знаю никакого профессора Минца,— ответил его двойник.

— Вот это ты брось,— сказал Удалов.— Этот номер у тебя не пройдет. Сейчас пойду к Минцу, он мне все объяснит.

— Не ходи.

— Почему?

— Нет там Минца.

— А где же он?

— Где положено.

— Мне трудно поверить глазам,— сказал Удалов.— Ты — это я. И в то же время ты — это не я. Как это могло произойти? И мама с папой у нас одинаковые, и в школы мы ходили одинаково. И характер должен быть одинаковый.

— Я не хочу тебя слушать,— отрезал двойник.— Надо еще разобраться, на чью мельницу ты льешь воду.

— Ну, воще! — возмутился Удалов.— Сейчас же говори, что произошло в Гусляре? Что за катаклизмы такие?

— Открой! — раздался голос за дверью.— Открой, мне надо!

Голос принадлежал Римме-секретарше.

— Подожди, кисочка! — испугался двойник.— Я к тебе выйду.

— Открой, тебе говорят! — приказала Римма.

— Что будет, что будет! — Двойник стал крутить головой, искал, куда бы спрятать Удалова. Над их головами было небольшое окошко — оно вело на черную лестницу.

— Лезь туда! — шепотом приказал двойник.

— Не полезу!

Тут дверь распахнулась — не выдержал крючок, и Римма увидела, как ее муж отпихивает себя же, только совершенно голого. Римма завопила как зарезанная и выпала из ванной — снова в обморок.

Со двора послышался резкий звук сирены.

— Меня,— сказал двойник, глядя на распростертое тело жены.— Вызывают. Уже актив начинается, а я здесь...

В его голове была полная безнадежность.

— А ты скажи, что не можешь,— посоветовал Удалов.— Мол, жена заболела.

— Да ты что?— удивился двойник.— Меня же вызывают!

— Тогда я скажу,— заявил Удалов.

Двойник повис на нем как мать, что не пускает сына к бандитам. Удалов сбросил его с себя и высунул голову в окно. Под окном стоял мотоцикл с коляской. В нем капитан Пилипенко. Давил на сигнал.

— Удалов! — закричал Пилипенко.— Личное приказание — тебя на ковер. Садись в коляску!

— Я не могу, я из ванны.

— Мне плевать,— ответил Пилипенко.— Если сам не спустишься, под конвоем поведу.

И тут нервы у двойника не выдержали, потому что за спиной Удалова раздался крик:

— Иду, спешу! Сейчас!

И послышался топот.

Удалов понял, что в таком состоянии его двойник — не боец. Он догнал его у дверей ванны, где двойник замер над распростертым телом Риммы.

— Послушай,— сказал Удалов.— Нельзя тебе в таком состоянии на актив. Отговорись чем-нибудь.

— Ты ничего не понимаешь! Речь идет о жизни и смерти.

Римма шевельнулась, попыталась открыть глаза.

— Сейчас она в себя придет,— сказал Удалов.

— И побежит к нему! Она меня погубит!

— Не рыдай,— сказал Удалов.— Есть выход. Оставайся здесь, а я с Пилипенкой поеду на этот самый актив.

— Тебя узнают!

— Кто меня узнает? Я же — ты.

— Как только ты начнешь говорить, они догадаются.

За окном снова взревела сирена.

— Я буду молчать. Не впервой отмалчиваться на совещаниях. Я привычный. У тебя специфических грехов нету?

— У меня вообще грехов нету.

Римма опять пошевелилась, и двойник вздрогнул.

— Улаживай свои семейные дела и бегом на центральную площадь. Спрячься за памятником. В перерыве я к тебе выбегу и ты меня заменишь. Ясно?

Двойник кивнул и лихорадочно прошептал:

— Только молчи! Кивай и молчи. Не то мне конец.

Удалов кинулся в комнату и распахнул шкаф. Слава богу, шкаф на месте и вещи лежат как положено. Вытащил выходной костюм, тот, что Ксюша в Вологде покупала, начал было натягивать на голое тело, сообразил, достал белье и с бельем в руке, как с белым флагом, выскочил к окну, помахал Пилипенке:

— Айн минут! — крикнул ему.

Сжимая галстук в кулаке, выбежал в коридор. Его двойник сидел на корточках перед молодой женой — ничего не соображал.

Удалов повторил:

— За памятником! Черные очки надень, помнишь, где лежат?

И выбежал на лестницу.

Но не сразу вниз: метнулся по коридору до минцевской квартиры, хотел предупредить Минца, что скоро придет, но остановился в изумлении: на замочной скважине веревочка с пластилиновой пломбой — опечатана квартира. Значит, умер старик. Да какой он старик? Шестидесяти нет. Эх, зря связался с двойником, надо бы поскорее узнать, что произошло с профессором, — ведь такая же опасность может грозить ему в нашем мире. Не думаем мы о здоровье, а потом поздно.

С этой мыслью, под вой сирены Пилипенки, Удалов выбежал во двор, с ходу вскочил в коляску. До Гордома долетели в пять минут, Пилипенко затормозил так, что Удалов вылетел из коляски головой вперед и его подхватил какой-то незнакомый молодой человек.

— Корнелий Иванович! — сказал он укоризненно, помогая Удалову подняться. — Ждут вас, серчают.

И буквально поволоком Удалова наверх по знакомой лестнице, к кабинету Предгора. Удалов старался на ходу завязать галстук.

В приемной было тесновато — три стола, за ними три секретарши. Все молодые, яркие, наглые, перманентные, все похожи на Римму. А у двери, обитой натуральной кожей, два молодых спортсмена в серых костюмах, как стража у врат богдыхана, но с красными повязками дружинников на рукавах.

Молодой человек подтолкнул Удалова, один из спортсменов прижал его к себе, второй провел ручищами по бокам.

— Ты чего?— удивился Удалов.

Спортсмен не ответил, молодой человек открыл дверь кабинета, и Удалова втолкнули внутрь.

В кабинете сразу наступила тишина.

Знакомо, буквой «Т», стояли полированные столы.

За главным столом, на месте Белосельского, сидел Пупыкин.

Пупыкин здешний от нашего Пупыкина отличался разительно. И не только потому, что отрастил усы и еще более облысел, и не только потому, что одет был в черный костюм с красным галстуком — но взгляд — какой же у него взгляд! Разве такой человек смог бы участвовать в утренних забегах и пресмыкаться перед Удаловым? Взгляд у Пупыкина был тигриный, тяжелый, из-под сведенных бровей.

Другой Пупыкин, с доброй лукавой усмешкой, глядел на Удалова с большой картины, что висела на стене, за живым Пупыкиным. На картине он принимал букет роз от девчушки, в которой Удалов сразу угадал младшую дочку Пупыкина. На заднем плане толпились рукоплещущие зрители, среди них и сам Удалов.

Тяжелым взглядом Пупыкин уперся в Удалова.

И все люди, что сидели за ножкой буквы «Т», тоже уперлись в Удалова тяжелыми взглядами.

Вот смотрит на него главстрой Слабенко. Ох и суров этот взгляд! Вот уставился — наглец какой! — архитектор Оболенский. Забыл уже, как из окна выпадал? А это взгляд редактора Малюжкина. Тоже не без тяжести. Неужели и Малюжкин, радатель за гласность, так переменялся? А старик Ложкин...

Удалов не успел рассмотреть остальных, как Пупыкин открыл рот, медленно открыл, с оттяжкой, показал мелкие зубы и рявкнул:

— Садись, с тобой потом разберемся!

И тут же все отвернулись от Удалова. Будто его и не было.

Удалов нашел место с краю стола, сел, а Малюжкин, что был рядом, отодвинулся, скрипнув стулом.

— Продолжай, Мимеонов,— сказал Пупыкин.

Мимеонов, уже год как снятый у нас с должности директора фабрики пластмассовых игрушек, потому что был ретроградом, принялся перебирать бумажки, что держал в руках.

— А ты нам не по бумажке,— сказал Пупыкин.— По бумажке каждый наврет. Бумажки ты для ревизии оставь, а с нами, со своими товарищами, говори открытым текстом. Оpozорился?

— Оpozорился,— подтвердил Мимеонов,— но имею объективные причины.— Он все же развернул бумажку и быстро начал читать:— За прошедший год вверенная мне фабрика перевыполнила план на два и три десятых процента, выпустив для нужд населения изделий номер один — шестьсот двадцать пять, изделий номер два-бис — двести тридцать четыре, в том числе...

— Стой! — остановил его Пупыкин.— Ты лучше расскажи, почему ты наш родной город чуть не погубил.

— А я неоднократно сообщал вам, Василий Парфенович,— сгнили фильтры. Надо производство останавливать.

— Какие будут предложения?— спросил Пупыкин.

— Я думаю, что сделаем фельетон,— предложил Малюжкин.— О некоторых хозяйственниках. Не пощадим.

— А вдруг в области прочтут?— спросил Оболенский, нагло улыбаясь.— И комиссию к нам, а?

— Пускай прочтут. Нам гласность не страшна,— ответил Пупыкин твердо.— Пускай весь мир читает.

— И там тоже?— выкрикнул старик Ложкин.— Империалисты тоже?

— Это ты, Ложкин, брось!— рассердился Пупыкин.— Тебя здесь как ветерана держат, а не как провокатора.

— У меня есть предложение, можно?— спросил Савульский. Его Удалов тоже знал, он работал санитарным главврачом.— Мы провели анализы. И выяснили, что выброса с завода детской игрушки не было.

— Вот это да! — даже Пупыкин удивился.— А что же было?

— А была туча неизвестного происхождения, которая прорвалась в наше родное небо из-за пределов района.

— Можно поправку?— спросила директорша музея.— Мне кажется, что туча могла прийти из-за пределов нашей области.

И тут Удалова черт дернул за язык.

— Я думаю,— сказал он,— что этот дождик, вернее всего, приплыл к нам из Южно-Африканской Республики, от тамошних расистов.

— А что?— Пупыкин даже привстал в кресле.— А что? Расисты — они плохо к народу относятся...— Но тут до него дошло, что Удалов допускает перебор. Он сел обратно, насупился и сказал: — Ладно. Ты, Малюжкин, подготовь материал про тучу из Тотемского района. Ты, Удалов, считай, уже допрыгался. А ты, Мимеонов, учти — твой вопрос с повестки дня не снят. Еще один такой выброс — выброшу тебя из города. Сам знаешь куда. Какой следующий вопрос?

— Градостроительство,— сказал Оболенский.

— Вот это мне по душе. Давай сюда картинки.

По знаку Оболенского молодой порученец открыл дверь. Десять юношей и девушек втащили десять стенов и установили их рядом. Удалов с ужасом понял, что позывы и надежды Оболенского достигли в этом мире сказочных масштабов.

— Вот наша главная улица. Наше завтра,— сказал Оболенский.

— Улица имени Василия Пупыкина,— прошелестел чей-то голос.

— Кто сказал?— нахмурился Пупыкин.— Ведь знаете, чего я не терплю. Ты, Ложкин?

Пойманный на месте преступления Ложкин потупился и сказал:

— Вы, Василий Парфенович, не терпите лести и подхалимажа.

— И заруби себе это на носу. Народ будет решать, как назвать наш проспект. Народ, а не ты, Ложкин.

На перспективе через весь город тянулась магистраль шириной в полкилометра. По обе стороны ее возвышались различные, но чем-то схожие здания. Каждое опиралось на

множество колонн, над каждым рядом колонн портики с фигурами. На крышах также статуи. Все здания изукрашены финтифлюшками и похожи на юбилейные торты.

«Как же пройдет у них эта магистраль?— старался представить себе Удалов.— И где центральная площадь?» Вот она, а вот и выросший вдесятеро, напоминающий одновременно египетскую пирамиду и китайскую пагоду Гордом, а вот десятиэтажная статуя, уже с головой и с портфелем... Да это ж Пупыкин!

Удалов говорил себе: только не смеяться! Меня это не касается, а засмеюсь — накажут двойника.

— Мы с вами шествуем,— донесся до обалдевшего Удалова голос архитектора Оболенского,— мимо городского театра. Здание его, выдержанное в силе гусларского социалистического ампира-барокко, встанет на место устаревшей развалюхи, которая была построена космополитически настроенными купцами...

«Молчи, Корнелий»,— повторял про себя Удалов. Но язык его предал. Язык сам по себе сказал:

— В старом театре лучшая в мире акустика. Сюда симфонические оркестры приезжают.

Оболенский поперхнулся.

— Вы что хотите сказать, Корнелий Иванович,— мягко спросил он,— что наш новый театр хуже старого?

Как все накинудись на Удалова! Он оказался ретроградом, отсталым элементом и чьим-то наймитом. Слово «наймит» так и носилось по воздуху.

И язык Удалова — о, враг его! — не выдержал снова:

— Это бред, а не проект!

Оболенский так растерялся, что обернулся за поддержкой к Пупыкину. А Пупыкин молча покручивал ус, выжидал.

— Меньше по чужим женам бегать надо! — крикнул неуправляемый Удалов.— Лучше бы архитектуре учился!

Тут и у Оболенского нервы не выдержали.

— Она меня любит! — взвизгнул он.— А ты ее недостоин!

— Поговорили?— раздался громовой голос.

Удалов обернулся и понял, что Пупыкин говорит в мегафон. Видно, берег для особых случаев.

— Поговорили, и хватит! Всем сидеть!

Все сели.

— И ты, Оболенский, сядь. С тобой все ясно, старый козел. Заключительное слово по данному вопросу имеет товарищ Слабенко. После этого перерыв. После перерыва слушаем персональное дело бывшего директора стройконторы, бывшего члена президиума, бывшего, не побоюсь этого слова, моего друга, Корнелия Удалова.

И так всем стало страшно, что даже твердокаменный Слабенко не сразу смог начать свою речь и пил воду из графина.

— Снос,— сказал Слабенко,— начинаем с понедельника. Мобилизуем общественность. Она уже подготовлена, радуется.

— Это хорошо,— сказал Пупыкин.— Пресса, от тебя зависит многое. Если что не так — ответишь головой!

— Голоса народа уже подготовлены,— сказал Малюжкин.— Пожелания трудящихся, все как надо. Народ жаждет преображений.

— За полгода управимся,— сказал Слабенко.

— За полгода?

— Быстрее не выйдет, техники маловато.

— Взорвать! — сказал Пупыкин.— Чтоб за две недели центр снесли. И сносить это барахло будем методом народной стройки. Главное — энтузиазм! Ясно, Малюжкин?

— Надо трудящимся перспективу дать,— сказал Малюжкин.— Надо сообщить, что всем нуждающимся на проспекте вашего имени будут отдельные квартиры.

— Этого делать нельзя,— вдруг возразил Ложкин.— Народ нас не поймет. У нас же на проспекте только общественные здания.

— Как так?— вскинулся Оболенский.— А жилой дом для отцов города?

— Но это же один дом... для отцов.

— У нас в Гусляре,— отчеканил Пупыкин,— нет проблемы отцов и детей. Эта проблема надуманная. Если мы строим для отцов города, значит, строим и для детей. У меня самого двое.

Тут людей прорвало, начали аплодировать. Потом отцы города рапортовали, кто какую лепту внесет в общее дело.

Оказалось, что изделие номер один — это статуя Пупыкина для украшения крыш на проспекте, а изделие номер два — Пупыкин в детстве. Такие статуи народ требовал для детских садов. Делали те статуи из пластика под мрамор, вот и работала фабрика с таким напряжением, что допускала выбросы в атмосферу.

Потом по вопросу о главной статуе снова выступил Слабенко.

— Саботаж,— произнес он твердо,— до которого доказался так называемый профессор Минц, поставил нас в тяжелое положение.

— Тяжелое, но не безвыходное,— сказал Пупыкин.

— Безвыходных положений, конечно, не бывает,— согласился Слабенко.— Но как нам, простите, вашу голову поднять на такую высоту, куда ни один кран не достанет,— мы еще не решили. Без этого, гравитатора, не уложимся.

— Мы эти речи слышали,— поморщился Пупыкин.— Я бы назвал их капитулянтскими. Тысячи лет различные народы строили великие сооружения и без башенных кранов, а тем более без профессора Минца.

— Еще надо выяснить, на какую разведку он работает!— крикнула с места директорша музея.

— Ясно, на какую,— сказал Ложкин.— На сионистскую.

«Что же это происходит?— испугался Удалов.— Ложкин — милый сварливый старик, он же Минца как брата уважает». И тут же поправил себя: «Это в нашем мире уважает. А тут перпендикулярный».

— С Минцем ведется разъяснительная работа,— сказал Пупыкин.— Мы не теряем надежд. А теперь перерыв, в буфете крышу починили, икру привезли. Ты, Удалов, задержись.

Удалов задержался. Спешащие в буфет обходили его по стенке.

— Что-то ты сегодня не трепещешь?— поинтересовался Пупыкин.— По глазам вижу, что не трепещешь.

«Проницательный, черт,— подумал Удалов.— И в самом деле не трепещу. Но по какой причине — ему не догадаться. А жил бы я здесь, наверно бы, трепетал».

— Для меня твое провокационное выступление на активе не неожиданность,— сказал Пупыкин, задумчиво покручивая усы.— С утра мне сигналы на тебя поступают. Но я тебе не враг, мы с тобой славно вместе поработали. Может быть, обойдемся без персонального дела, как ты думаешь?

Удалову стало жалко своего двойника, и он ответил:

— Лучше без персонального.

— Ну и молодец, Корнелий,— сказал Пупыкин.— Ты садись, в ногах правды нет. А эти-то барбосы, ну прямо как барбосы. Слово скажи, они уже растерзать готовы. Я понимаю, у тебя душевный стресс. Правда, что Оболенского с Риммой поймал?

— Поймал,— признался Удалов.— Он в окно выскочил.

— То-то хромает, бес в ребро! Я-то когда тебе Римку передавал, можно сказать, с собственного плеча, думал, что достигнешь ты простого человеческого счастья. А сейчас вижу — ошибся я. Я свои ошибки всегда признаю. Знаешь что, ради дружбы я тебе Верку уступлю. Огонь баба. Или Светку? Она справа сидит, новая, у нее в роду цыгане были, честное слово! А Римку мы Оболенскому всучим.

И Пупыкин зашелся в смехе, совсем под стол ушел, такой махонький стал, одним ногтем придавить можно.

— Мне и с Ксюшей неплохо было,— сказал Удалов.

— Это ты брось! Нам такие Ксюши не нужны. Пускай знает свое место. Нет, дорогой, мы с тобой еще молодые, мы еще дров наломаем. А об этой интриганке забудь!

«Ага,— подумал Удалов,— значит, Ксения чем-то Пупыкину не угодила. Может, двойник ее все еще любит? Хорошо бы любил...»

— Чего задумался? Не согласен? Ой, непрост ты, Удалов, ой непрост! Ты чего сегодня утром на шоссе картошку собирал? Или тебе из распределителя мало картошки?

— А вы как думаете?— нашелся Удалов.

— Есть у меня подозрение,— сказал Пупыкин.— Но такое тяжелое, такое, можно сказать, страшное, что не смею сказать.

— А вы скажите.

— А я скажу. Я скажу, что, может быть, ты врагам нашего народа картошку носил?

— Каким таким врагам?

— Таишься, Удалов, значит, врешь! По глазам вижу, что врешь! Кому носил? Все равно дознаюсь!

— Нет, просто так,— решил спасти своего двойника Удалов.— Увидел, что рассыпанная, вот и собрал.

— Это чтобы в моем городе кто-то картошку рассыпал? Опять врешь. И что делал в такое время на шоссе — тоже забыл?

— Гулял,— сказал Удалов.

— А о чем с Савичем на рынке разговаривал?— Пупыкин вскочил и побежал по комнате. Удалов увидел, какие у него высокие каблуки.— Зачем в магазине изображал черт знает что? Зачем картонную лососину просил? В оппозицию играешь? А на площади, у моего монумента зачем крутился?

— Так, случайно...

— Случайность — это осознанная необходимость,— сказал Пупыкин.— Учить теорию надо. Ну что, будешь каяться или разгромим в пример другим маловеерам?

— Как знаете,— сказал Удалов и посмотрел на часы. Надо еще настоящего Удалова предупредить, что его ждет.

— Тогда — идейный и организационный разгром,— подвел итог беседе Пупыкин.

— Ну, вы прямо диктатор,— сказал Удалов.

— Не лично я диктатор,— ответил Пупыкин,— но осуществляю диктатуру масс. Массы мне доверяют, и я осуществляю.

— Ох, раскусят тебя массы,— сказал Удалов и поднялся. От этого движения Пупыкин вздрогнул и протянул руку к кнопке.

— Не нервничай,— сказал Удалов.— Пойду перекушу в буфет.

— А вот в буфет тебе вход закрыт,— осклабился Пупыкин.— На таких, как ты, тратить пищу нежелательно.

— Значит, заранее знал, чем разговор кончится?

— А моя работа такая — знать заранее. Подожди в приемной, далеко не отходи.

Удалов вышел из кабинета. Спортсмены с повязками

дружинников его пропустили. Удалов поглядел на секретарш. Вот черненькая — могла бы стать его женой, а вот и беленькая — тоже мог получить. Где же ты, Ксюша, где же ты, родная моя? И Удалов затосковал по Ксюше за двоих — за себя и за своего двойника.

На улице моросил дождик, но работы вокруг монумента не прекращались. Детишки вскапывали клумбы, воспитательницы сажали рассаду, монтажники крепили к боку статуи руку с портфелем.

Удалов, отворачиваясь от людей, быстро прошел к памятнику. За массивным постаментом таился невысокий полный мужчина в плаще с поднятым воротником, в шляпе, натянутой на уши, и в черных очках. Удалов подошел к двойнику.

— Ждешь?— сказал он.

— Тише! Тут люди рядом. Ты куда пропал?

— Пупыкин меня допрашивал.

— Ой, тогда я пошел! Бухнусь в ноги...

— А переодеться не хочешь?

— Зачем?

— А затем, что Удалов не может выйти на перерыв из кабинета в одном костюме и вернуться в другом.

— Тогда бежим — вон там подсобка пустая.

Они побежали, а по пути Удалов сказал двойнику:

— Ты хорошенько подумай, прежде чем туда возвращаться. Как только они икру съедят...

— Сегодня икру в буфете дают?— с тоской спросил двойник. С такой искренней тоской, что Удалов даже остановился.

В подсобке двойник сразу начал раздеваться. Удалов последовал его примеру.

— Вот я думаю,— сказал он.— Если ты смог так превратиться в такое... значит, и во мне это сидит?

— Что сидит?— не понял двойник.— Я не ворую, морально устойчив...

— И воруюшь, и морально неустойчив,— отрезал Удалов.— Только сам уже не замечаешь. Если тебе икру дают, а другим не положено, значит, ты ее воруюшь.

— Чушь! Мы, руководящие работники, должны поддер-

живать свои умственные способности. У нас же особенная работа!

— А в детском саду икру дают?

— Не знаю. Там молоко дают.

— Ну и погряз ты, Корнелий. не ожидал от тебя.

— А чем ты лучше? Не прижали тебя, вот и гордый. А попал бы на мое место, куда бы делся? Некоторые сопротивлялись. Что это им дало? Что это дало народу? Где Клава? Где Минц? Где Ванда?

— Где?— спросил Удалов, протягивая двойнику брюки.

— В разных местах. Наш народ еще не дорос до демократии. Нам твердая рука нужна.

— Именно что твердая. Сейчас будут слушать твое персональное дело.

Двойник сжался, как от удара в живот.

— Меня утром на шоссе видели, я картошку собирал. Решили, что это ты.

— А зачем ты картошку собирал?

— Зиночке Сочкиной помочь хотел. Она ее в город несла.

— Это преступление! Картошка по талонам, она ее с поля украла!

— А потом в магазине я хотел купить лососины. И эту глупость тебе припишут. Потом я на площади интересовался, кому этот памятник...

— Я тебя убью! Ты меня погубить вздумал?

— Откуда мне знать ваши порядки? Но главное, что я на вашем активе сообщил Оболенскому про его моральный уровень. Ну как, пойдешь на свою казнь или смоемся, пока не поздно?

— Я все объясню. Василий Парфенович меня простит.

— Ты от всего отпирайся,— посоветовал Удалов.— Я не я, корова не моя. А где мне Минца отыскать?

Но двойник его уже не слышал. Он бежал через площадь к входу в Гордом, навстречу своей горькой судьбе.

Тогда Удалов, избегая людных мест, поспешил к своему дому. Он знал, кого ему искать. Старый друг и сосед, изобретатель Грубин не мог измениться.

Но и Грубин изменился.

Удалов заглянул к нему со двора. Комната была за-

хламлена, в ней почему-то было много частей человеческого тела, изготовленных из белой пластмассы. Грубин сидел на продавленной кровати, держал голову в руках, будто хотел отвинтить.

Удалов тихонько вошел в дом, поглядел наверх — не смотрит ли кто со второго этажа?— и толкнул дверь к Грубину. К счастью, она была не заперта.

— Привет, Саша,— сказал Удалов.— Ты чем-то расстроен?

— А ты не знаешь?— спросил Грубин, не поднимая головы.— Ты мне скажи, как я мог попасться? Ну ладно, ты человек слабый, угодил в силки, даже биться не стал. Но я-то творческая интеллигенция, всю жизнь гордился своей независимостью. И вот — стал соучастником преступления!

— Не все сразу,— сказал Удалов.— Давай по порядку.

— Мне с тобой говорить не о чем. Ты номенклатура. Я — продавшаяся интеллигенция.

— А ты все-таки скажи. Допустим, что перед тобой не Удалов, а какой-то другой человек.

— Какой-то другой доносить не побежит.

— И я не побегу,— сказал Удалов.— Честное слово.

— Ты правды захотел? Тогда держись! Скажу тебе, Корнелий, что за последние три года ты сильно изменился. С тех пор, как тебя этот Пупыкин приблизил, ты сам на себя не похож. А с Ксенией что вы сделали?

— А что?

— Только не говори, что ты подчинился силе! Другой бы никогда жену не отдал. А ты выбрал Пупыкина.

Горько было Удалову слушать такие слова о своем двойнике. Но надо слушать. На ошибках учатся.

— А зачем ты Минца топил? Закоснел ты, Удалов, в своей подлости.

— Тогда слушай ты.— Корнелий Иванович произнес эти слова так значительно, что Грубин в удивлении уставился на него.— Я не Удалов. То есть я Удалов, но другой. А настоящий Удалов сидит сейчас в Гордоме, на активе, и соратники топчут его ногами.

Вот что удивительно! Грубин поверил Удалову мгновенно.

— У тебя глаза другие,— сказал он.— Прежние. Объясни.

И Удалов объяснил. И про изобретение Минца, и про то, как Минц простудился и пришлось Удалову идти в параллельный мир.

По мере того как он рассказывал, лицо Грубина светлело, морщины разглаживались, даже волосы начали завиваться. Он вскочил и принялся бегать по комнате, опрокидывая предметы.

— Сейчас же! — закричал он.— Беги отсюда! Тебе здесь не место! И возьми меня с собой!

— Спокойно,— сказал Удалов.— Без паники. У меня задача — найти Минца. А как исправлять положение, подумаем вместе. Рассказывай. Коротко, внятно. Начинай!

Грубин подчинился.

— Произошло это три с половиной года назад. Был у нас предгором Селиванов...

— У нас тоже,— сказал Удалов.— Потом на пенсию ушел.

— И занял его место Пупыкин, Василий Парфеныч.

— Все пока сходится.

— Времена были тихие, ни шатко — ни валко... Сначала Пупыкин ничего вроде бы и не делал. Все повторял: как нас учил товарищ Селиванов... А потом начались кадровые перестановки. То один на пенсию, то другой, того с места убрали, этого назначили... И тон у Пупыкина менялся. Уверенный тон становился. Ботинки заказал себе в Вологде на высоких каблуках... Пилипенку приблизил...

— Знаю, у нас он до сих пор старшина. Простой мужик.

— Против Пупыкина боролись. Был у нас такой Белосельский Коля, в классе с нами учился.

— Еще бы не знать,— улыбнулся Удалов.

— Так этот Белосельский выступил. Потребовал, чтобы покончить с обманом, а развивать трудовую инициативу и демократию.

Удалов кивнул. Он эту историю отлично помнил.

— Не знаю уж каким образом, но куда-то Пупыкин написал, кому-то позвонил, что-то против Белосельского раскопал. И пришлось Белосельскому уехать за правдой в

область. Не знаю, отыскал ли ее там или нет, только в город он не вернулся.

— Вот как у вас дело повернулось,— вздохнул Удалов.

— А дальше — покатилося. Пупыкин всюду выступал, говорил, какие мы счастливые, как наш город движется вперед семимильными шагами. И чем меньше товаров в магазинах становилось, тем громче выступал Пупыкин. И что грустно — каждый у себя дома боролся за демократию и гласность, а на собраниях голосовали как надо.

— Понятно,— сказал Удалов.

— Через год и ты, прости, Корнелий, сообразил, что лучше быть при начальнике, чем против. Как-то выступил ты против Пупыкина, и вскоре завели на тебя дело за хищение стройматериалов. Ты осознал, дело закрыли, и ты стал рядом с Пупыкиным на трибуне стоять.

— А с тобой что случилось?

— Ты же знаешь,— ответил Грубин,— я неплохой изобретатель. Я предложил усовершенствовать пластмассу, из которой игрушки на фабрике делали. И формы новые изобрел. А директор фабрики Мимеонов в то время решил Пупыкину угодить — наладить массовое производство его бюста. Меня консультантом на фабрику пригласили, премию дали. И когда Мимеонов начал для будущего города Великого Пупыкина изготавливать статуи в натуральную величину, приложил и я руку к этому безобразию. Теперь мучаюсь.

— Значит, другие не мучились и воспевали, а ты мучился, но тоже воспевал?— спросил Удалов.

— Только не надо иронии,— сказал Грубин.— Ты когда к нам приехал?

— Сегодня утром. Видел, до чего ваша деятельность довела. Костюм погубил и вообще всю одежду.

— Больше я на фабрику не выйду! Пусть меня выселяют на сельское шефство, пусть даже на принудотдых...

— погоди, не части,— сказал Удалов.— Мне ваша система до сих пор не совсем понятна.

— А у вас иначе?

— Некогда объяснять. Скажу только, что твой Пупыкин уже на пенсии, прокуратура им интересуется. Мне

главное сейчас — найти Минца. Почему его дверь опечатана?

— Он же на принудотдыхе. За саботаж. Гравитационный подъемник собственными руками сломал, чтобы стую не воздвигать. Принципиальный.

— Значит, есть все-таки принципиальные?

— Немного, но есть,— признался Грубин.— Только за принципы приходится дорого платить. Минц заплатил. И Ксюша твоя... Когда ее на сельхозшефство отправили...

— Говори понятнее!

— У нас сельское население разбегалось,— объяснил Грубин.— По другим областям. А Пупыкин в область рапортует, что у нас постоянный прогресс. Что ни год, сеем на пять дней раньше, выращиваем на три процента больше. Поставки всегда выполняем. Только из-за этого в городе жрать нечего, а в поле работать отправляют всех, кто несогласный или подозрительный. Половину учителей отправили, врачей больше половины, весь речной техникум там пропалывает... А из футболистов и самбистов Пупыкин создал дружины. Их на усиленном питании держат.

— Так что случилось с Ксюшей?

— Как-то товарищ Пупыкин лично домой к тебе, то есть к Удалову прнехал, чтобы показать свое к нему расположение. А Ксения вместо обеда ему всю правду выложила. На следующее утро ее скрутили — и в деревню, на сельхозшефство без права возвращения в город.

— А я? То есть, а он?

— Он побегал к Пупыкину, просит — верни жену! А Пупыкин, говорят, погладил его по головке и говорит: не нужна тебе такая старая жена. Она меня не уважает, значит, и нашу великую родину не уважает. Мы тебе сделаем развод, и отдам я тебе любую из моих секретарш. Так и сделал. Развел, на Римке женил.

— Общая картина мне понятна,— сказал Удалов.— Пошли к Минцу. Где он отдыхает?

— Принудотдых, Корнелий, это по-старому тюрьма. Минц в подвалах под гостиним двором, там особо недовольные отдыхают.

— Ты хочешь сказать, что профессор Лев Христофорович Минц, лауреат двадцати премий, профессор тридцати

университетов, находится в подвалах инквизиции? Срочно едем в область!

— До области ты не доедешь. В область специальное разрешение нужно. Его лично Пилипенко подписывает, только хорошо проверенным оптимистам. Так что в области о нас самое лучшее представление. А если кто-то приезжает, то сначала на витрины смотрят, а потом в буфете обедают.

— Ну что ж,— сказал Удалов,— тогда пошли в подвал.

— Подвалы заперты, там дружинники.

— Саша, я столько лет ремонтами занимаюсь, неужели мне подземные ходы в этом городе неизвестны?

Когда они с Грубиным вышли во двор, Удалов вдруг услышал:

— Корнелий, ты куда? Ты почему домой не идешь?

Голос был женский, жалобный.

Удалов поднял голову. В окне его квартиры стояла молодая жена Римма, неглиже, лицо опухло от слез.

— Я расклинаюсь! — крикнула она. — Это была минутная слабость. Он старался меня соблазнить, но безуспешно. Вернись, Корнелий. И не верь клевете Грубина. Вернись в мои объятия!

— Не по адресу обращаетесь, гражданка,— ответил Удалов.

А Грубин добавил:

— Чего на тебя клеветать? На тебя клеветщи, не клеветщи — пробы некуда ставить.

И молодая жена Римма плюнула им вслед.

По бывшей Яблоневой, а ныне Прогрессивной улице, мимо лозунга «Пупыкин сказал — народ сделает!» друзья спустились к реке. Удалов уверенно прошел за сарай, отодвинул гнилую доску, и перед ними обнаружился вход в подземелье. Грубин достал заготовленный дома фонарик.

Ход кончился возле окованной железными полосами двери.

— Здесь! — сказал Удалов.— Теперь сохраняй полную тишину.

И тут же раздался жуткий скрип, потому что Удалов стал открывать дверь, которую лет сто никто не открывал.

Но скрипа никто не услышал: его заглушил отчаянный крик.

Они стояли в подземных складах гостиного двора, превращенных в место для изоляции и принудотдыха. Перед ними тянулся низкий сводчатый туннель, кое-где освещенный голыми лампочками. Крик доносился из-за одной из дверей — туда они и поспешили, полагая, что там пытаются непокорного профессора. Но они ошиблись.

Сквозь приоткрытую дверь они увидели, что в побеленной камере на стуле сидит Удалов. Перед ним, широко расставив ноги, стоит капитан Пилипенко и читает что-то по бумаге.

— Нет! — кричал Удалов. — Не было заговора! И долларов я в глаза не видал.

Пилипенко подождал, пока Удалов кончит вопить, и продолжал чтение:

— Получив тридцать серебряных долларов от сионистского агента Минца, я согласился поджечь детский сад номер два и отравить колодец у родильного дома...

— Нет! — закричал Удалов. — Я люблю детей!

— Ну, что, освободим? — спросил шепотом Удалов.

— Не будем тебя освобождать, — искренне возразил Грубин. — Не стоишь ты этого.

Нельзя сказать, что Удалов был полностью согласен с другом. Трудно наблюдать, когда тебя самого заточили в тюрьму и еще издеваются.

Они прошли на цыпочках мимо камеры и остановились перед следующей, закрытой на засов. Грубин отодвинул засов и открыл дверь. В камере было темно.

— Лев Христофорович, — позвал Грубин. — Вы здесь?

— Ошиблись адресом, — ответил спокойный голос. — Лев Христофорович в соседнем номере. Имею честь с ним перестукиваться.

— А вы кто? — спросил Удалов.

— Учитель рисования Елистратов, — послышалось в ответ.

— Семен Борисович! — воскликнул Удалов. — А вас за что?

— За то, что я отказался писать картину «Пупыкин обзревает плодородные нивы», — ответил учитель.

- Выходите, пожалуйста,— попросил Грубин.
- Это официальное решение?
- Нет, мы хотим вас освободить.
- Простите, я останусь,— ответил учитель рисования.— Я выйду только после моей полной реабилитации.
- Тогда ждите,— сказал Удалов.
- Они перебежали к следующей двери, Грубин открыл ее.
- Лев Христофорович?
- Собственной персоной. Вы почему здесь, Саша?
- Я к вам гостя привел,— сказал Грубин.

Профессор Минц сидел на каменном полу, подстелив под себя пиджак.

- Это я, Корнелий,— сказал Удалов.
- Отказываюсь верить собственным ушам! Разве не вы первый предложили изолировать меня в этом доме подземного отдыха?

— Нет, не я,— честно ответил Удалов.— Тот Удалов, который предложил, сидит через две камеры от вас, Пилипенко ему террористический заговор шьет. А я — совсем другой Удалов, из параллельного мира. Меня послал сюда наш Лев Христофорович. По делу.

— Стойте! — закричал профессор и бросился в объятия к Удалову.— Значит, мои расчеты верны! Что же просил передать мой двойник?

— Нам нужно прокладывать магистраль через Гусляр,— сказал Удалов,— а у него никак не получается с антигравитацией. Он сам простудился и просил меня сгонять к вам.

- Вы говорите правду?— насторожился Минц.
- А зачем мне врать?
- Это может быть дьявольской выдумкой Пупыкина.
- Удалов правду говорит! — сказал Грубин.— Я верю.
- А я не верю! — сказал Минц.— Если в вашем мире тоже прокладывают магистраль, мой двойник никогда не согласится участвовать в преступлении против города. Он бы, как и я, предпочел бы кончить свои дни в темнице.

— Но в нашем мире,— возразил Удалов,— антигравитация нужна, чтобы подвинуть часовию Филиппа и спасти ее от сноса.

Минц все еще колебался. Тогда Грубин сказал:

— Пошли с нами, я вам покажу второго Удалова.

Через минуту они были у камеры, где Пилипенко вел допрос. Минц заглянул в дверь, обернулся к Корнелию и сказал:

— Простите, что я вам не поверил.

Эти слова он произнес слишком громко. Пилипенко услышал шум в коридоре, метнулся к двери и увидел Минца.

— Бежать вздумал? — заревел капитан, расстегивая кобуру.

Минц оторопел. Он не знал, что делать в таких случаях. Но Удалов, который вырос без отца, на улице, знал. Он шагнул вперед и сказал:

— Все, Пилипенко. Доигрался.

У Пилипенко отвисла челюсть. Он посмотрел на Удалова, метнул глазами в открытую дверь и увидел там второго Удалова.

— Аааа, — прошептал Пилипенко.

— Корнелий! — крикнул Грубин. — Выходи.

А первый Корнелий тем временем отобрал у Пилипенко пистолет, его самого затолкал в камеру и закрыл дверь на засов.

— А теперь бежать! — сказал Грубин, и они побежали к подземному ходу.

Если погоня и была, она их потеряла.

Без приключений они выбрались из-под земли, уселись за сараем, чтобы перевести дух. Удалов смотрел на своего двойника — синяк под глазом, царапина на щеке, и вообще вид потрепанный.

— Били? — спросил Удалов с сочувствием.

— Пилипенко, — сказал двойник. — Я до него доберусь.

— Нет, — сказал профессор Минц. — Судить его будет народ.

— Кто? — вздохнул двойник Удалова. — Прокурор? Судья? Так они все у Пупыкина в кармане.

— Бригаду пришлют, из области, — сказал Грубин. — Или даже из Москвы. Неподкупную.

— Революция! — сказал Удалов-двойник мрачно. — Только революция может снести этот вертеп.

— А как ты ее организуешь?

— Пойду к народу, раскрою ему глаза.

— А до сегодняшнего дня,— спросил Грубин,— у тебя глаза что, закрыты были?

— Нет, я видел, конечно, недостатки...— Удалов смеялся.

— И заедал их продуктами из спецбуфета,— закончил фразу Грубин. И горько улыбнулся. И все улыбнулись, потому что в словах Грубина была жизненная правда.

— Надо потребовать комиссии,— сказал Минц.

— Требовали,— ответил Грубин.— Только письма на почте перехватывают, и где потом эти писатели? На трудовом шефстве. К тому же Пупыкин справится с любой комиссией. У него по этой части опыт.

— Странно мне смотреть на вас, друзья,— сказал Удалов.— Вы все такие же самые, и внешне, и по голосу. Но в то же время не такие. Мог ли я предположить, что Корнелий Удалов станет прислужником у мелкого диктатора?

— Не надо,— сказал двойник.— Это в прошлом. Я все осознал.

— Что же, одного Пупыкина достаточно, чтобы вы из строителей светлого будущего превратились в болото?

— Пупыкин не один,— возразил Минц.— Это целое направление: пупыковщина. Подлая личность не может изменить историю, если не сколотит банду таких же подлецов. Хорошо служишь — все имеешь. И с каждым днем у него становится все больше верных слугителей. И пресса у него в руках.

Стало прохладно. Облака потемнели, снова подул ветер. Ситуация была какая-то ненастоящая, словно приснилась. Стоял Удалов в своем родном Гусляре, окруженный не только друзьями, но и самим собой, сейчас бы пойти посидеть в кафе или в театр махнуть, а вместо этого они таятся за сараем.

— Я в подшефное хозяйство пойду,— сказал вдруг двойник Удалова.— Ксюшу проводаю.

Слова двойника Удалова обрадовали — значит, не чужие они люди. И он принял решение.

— Значит, так,— сказал он, и все его внимательно слушали.

Потому что Удалов приехал из нормального мира.

— В наш мир отправится Лев Христофорович. Он сразу пойдет к нашему Минцу и все ему расскажет. Заодно и формулы сообщит. У Минца голова государственная, что-нибудь придумает. А два Минца тем более. Как решите — сразу обратно.

— А вы, Корнелий Иванович?— спросил Минц.

— А я вместе с моим близнецом отправлюсь на сельскохозяйственные работы. Боюсь, что без меня он у Ксюши прощения не получит.

— Спасибо,— сказал второй Удалов, и скупая слеза покатилась по его грязной щеке. Удалов достал платок и вытер ему слезу.

— А мне что делать?— спросил Грубин.

— Ты будешь в резерве,— сказал Удалов.— Веди работу в народе.

Все послушались Удалова и вышли из-за сарая. Они поднялись до половины склона, как вдруг Минц остановился.

— То, что вы предложили, Корнелий,— сказал он,— очень разумно. В каком-нибудь фантастическом романе так бы и произошло. Я бы отправился в параллельный мир, получил оттуда совет и помощь, вы с Удаловым подняли бы восстание в подшефном хозяйстве, и был бы счастливый конец. Но мы же не в романе!

— Ты прав, Лев Христофорович,— сказал Грубин.— Мы в реальной жизни. И должны жить так, будто нет никаких параллельных миров. Может, их и в самом деле нет.

— А я откуда?— спросил Удалов.

— А ты нам только снишься,— сказал Грубин.

— Ты прав, Саша,— сказал второй Удалов.— Сами Пупыкина вырастили, сами и ликвидируем. Никто, кроме нас, не наведет порядок в нашем собственном мире.

— Минутку,— сказал Минц и вытащил из кармана записную книжку. Набросал три строчки цифр и сказал Удалову:— Передайте это моему двойнику. И прощайте. Спасибо, что заехали. Вы нам сильно помогли. Действием и примером.

— Спасибо, Корнелий,— сказал Грубин, прощаясь с Удаловым.— Рад был встретиться.

Последним попрощался двойник.

— Надеюсь, что Ксения поймет,— сказал он.

— Все образуется,— успокоил его Удалов.— Она у нас отходчивая.

И они втроем, как три мушкетера, так и не объяснив Удалову, что намерены делать, быстро пошли вверх по улице.

Удалову стало одиноко. Он сложил вчетверо бумажку с формулами, спрятал в ботинок. Если задержат, может, не найдут.

Когда распрямился, услышал сверху хлопок. Выстрел?

Он вгляделся. Нет, не выстрел. Это хлопнула калитка. Кто-то вышел на улицу и пошел рядом с теми тремя.

Удалов потоптался на месте еще с минуту и припустил за друзьями, которые уже скрылись из виду. А когда догнал их, увидел, что рядом с ними идет человек десять, не меньше. И калитки все раскрываются...

СПАСИТЕ ГАЛЮ!

ГЛАВА I. ИЗ ОТЧЕТА

18 сентября в 16 часов 40 минут при переходе экскурсии из цеха № 3 в профилакторий с целью ознакомления экскурсантов с условиями отдыха работников Предприятия от группы отстала Галя Н., ученица 7 «Б» класса подшефной школы. Несмотря на принятые меры охраны детей, выразившиеся в том, что помимо главного технолога Шукина Н. Р. и его заместителя Клопатога Р. Г. группу сопровождали преподаватель 7 «Б» класса Калинина Р. Р. и стрелок специализированной охраны Варнавский Г. Д., Гале Н. удалось, как сообщили ее друзья по классу, присутствовавшие при инциденте, незаметно отойти в сторону под предлогом поправления чулок. Ее действия были вызваны слухами, имевшими место среди детей, о том, что запретная Зона Предприятия таит в себе некие сокровища и пресловутое озеро Желаний. По сообщению преподавательницы Калининой Р. Р., вышеупомянутая Галя Н. отличается непостоянством характера, тяжелыми семейными обстоятельствами и слабой дисциплиной.

По обнаружении исчезновения Гали Н. были приняты следующие меры:

а) Сделано объявление по внутренней сети Предприятия в надежде на то, что Галя Н. неглубоко углубилась в Зону и, услышав призыв, вернется обратно. Эта мера эффекта не дала.

б) Группа школьников была временно задержана в профилактории, где им был выдан горячий ужин и включен

видеофон для того, чтобы слухи об исчезновении Гали Н. не распространялись по городу и не вызывали излишней паники населения.

в) Был вызван из дома Васюнин Г. В., сборщик цеха №2, который, как известно, самовольно бывал в Зоне, за что имеет выговор и предупреждение об увольнении в случае повторения.

ГЛАВА II. СТАЛКЕР ЖОРА

Меня подняли с койки. Я сменился в два и лег спать. Звонят от главного технолога — пропал ребенок. Упустили в Зону. Немедленно приезжай.

Я, конечно, ответил, что когда получать выговора, то Васюнин плохой. Когда же прошляпили, ребенка упустили — Васюнин, спасай!

Оделся, приехал на Предприятие.

Там у третьего корпуса директор, главный технолог, заместители, спецхрана. Суетятся. Директор ко мне:

— Сталкер, надо помочь.

Сталкером меня после одного фильма зовут. Там был такой тип, чем-то вроде меня. И Зона тоже была. Смотрел я тот фильм, впечатления не получил. Пугают, а не страшно. Им бы в нашу Зону.

— Нет,— говорю,— я не в форме.

— Премию дадим, улучшим жилищные условия,— говорит директор.

Еще бы, думаю — что в городе поднимется, когда поймут, что ребенок пропал с концами! А выйти у нее шансов мало. Бывало, совались в Зону. Где они? Кто кормит их детей? Хотя, конечно, соблазнов немало. Но сокровищ нету. Другие только треплются. Далеко никто не пойдет. Может, Лукьяныч. Но Лукьяныч до третьего пункта ходил. Дальше его белая Козява не пустила. Вернулся, шрам на руке всем показывает.

— Ты о ее матери подумай,— сказал технолог.

— А что ее мать?

— Может, знаешь? Она раньше в «Ласточке» работала.

• Это меня подкосило. Лариса! Душа моя Лариса, сколь-

ко вздохов из-за нее, сколько слез пролито, а может, и крови. И я мальчишкой глазел на ее золотые кудряшки и алый ротик! И был допущен. Нет, серьезно. Один поцелуй — и умереть! Значит, это ее Галка? Вся в мать?

— Пойду,— сказал я.— Только вы пенсию оформите моей Людмиле. Ей, если что, Пашку воспитывать.

— Какая пенсия! — директор кричит.— Ты же вернешься! Мы другого знать не хотим. Мы верим в тебя, Жора.

— Слушай, давай без демагогии,— сказал я.— Я жить хочу, но мне девчонку жалко. Если она вглубь пошла, там и я не бывал. Зона есть Зона. Она человека не признает. У нее свои законы.

Тогда директор дал слово — если что, оформят, как погибшему на производстве.

Директор сказал, что со мной пойдет Щукин.

— Слушай,— сказал я Щукину,— интеллигенция. Ты мне в обузу. Вместо того чтобы ребенка вытаскивать, придётся тебя на горбу тащить. Лучше я Лукьяныча возьму.

Лукьяныч сначала — ни в какую.

— Меня уже ломало,— говорит.

Но пошли все же мы втроем. Я сам на складе отобрал, что нужно. На это ушел почти час. Кладовщик куда-то ушел, директор сам пломбы рвал. Взял хорошую веревку, нейлоновую. Пушку я Лукьянычу брать не велел. В Зоне пуля не спасет. Щукина я сгонял к спортсменам. У них, у альпинистов, оборудование взяли. Взломали дверь и взяли. Два ледоруба. Палатку. Кто-то из начальства стал говорить — на что палатка, не ночевать же собираетесь. Конечно, неплохо бы бронежилеты, но у нас их нет. Ватники взяли, свитера. Врачиха из медпункта бинты принесла, вату, я потребовал флягу со спиртом. Еще десять минут скандала. В конце концов директор флягу коньяком залил. Из своего фонда.

Я сказал Щукину:

— Оставайся, Коля.

А он поморгал, очки поправил. И говорит:

— Ничего, я в молодости в погранвойсках служил. Ты не беспокойся. Я не буду обузой. Я виноват, что недосмотрел — с меня спрос.

— Ладно,— говорю,— но учти, я иду спасать Ларискину Галку, а не тебя.

— Понятно,— говорит. А ватник ему мал — руки чуть не по локоть наружу, пальцы тонкие. Но упрямый.

В пять тридцать мы вышли.

Мне это не нравилось. Скоро сумерки. А ночь в Зоне еще никто не проводил. А если провел, уже не расскажет.

ГЛАВА III. ТЕХНОЛОГ ЩУКИН

Я шел в середине. Первым Жора Васюнин, легкий, худой, злой. Замыкал Лукьяныч. Лукьяныч робел, поминутно оглядывался. Директор соблазнил его большой премией. Впрочем, на что Лукьянычу премия? Удивительно несоизмеримы наши дела и их последствия! Любопытно, а что, если бы и я потребовал премию? Я внутренне усмехнулся. Я понимал, что мы должны найти девочку до темноты. Директор взял с нас слово, что до темноты мы вернемся. Я могу его понять: гибель девочки — это потеря, горе, но не трагедия для Предприятия. Если погибнет группа — можно представить, что будет суд. А директору два года до пенсии.

Я нес мегафон. Когда я брал его, Жора ничего не сказал. Но как только стены контейнеров скрыли нас от жалкой, потерянной группы провожающих, он оглянулся и коротко сказал:

— Брось.

Я положил мегафон на ящик.

— Лучше не шуметь,— сказал он коротко.— Зона не любит чужого шума.

В походке Жоры, в голосе что-то изменилось. Он стал первобытным. Именно первобытным — мягким, настороженным, готовым отпрыгнуть. Я старался подражать ему, ступать в след. Сзади топал и пыхтел Лукьяныч. Он никому не подражал.

Густая пыль покрывала выщербленный асфальт. Еще лет восемь — десять назад здесь был хозяйственный двор Предприятия. За эти годы Зона, наступая на нас, пожрала этот участок двора и приблизилась к третьему цеху. Неко-

торые работницы второй смены уверяют, что в осенние глухие вечера слышат крики и стоны из Зоны. И ее страшное дыхание.

— Смотри,— сказал Жора тихо. Он показал под ноги. Я подошел к нему. Цепочка следов, девичьих, узких, легких, тянулась между обрушенными контейнерами. Сквозь щели в контейнерах проступали металлические узловатые части станков.

— Она,— сказал Лукьяныч.— Давай крикну.

— Тише,— ответил Жора.— Она час назад здесь прошла. Видишь, пыль уже снова осела... Теперь не докричишься.

Мы остановились под двумя бетонными плитами, которые образовали как бы картонный домик.

— Я здесь был,— сказал Лукьяныч.

Жора поднял вверх руку.

Тихий стон донесся спереди.

Я хотел броситься туда, полагая, что стонет Галя.

Но Жора удержал меня.

— Это не то,— прошептал он.

Мы протиснулись по очереди сквозь переплетение арматуры. Под ногами хлюпала рыжая жижа. И тут я понял, откуда нам послышался стон: переплетение труб, висевшее на остатках колонн, покачивалось в полной неподвижности воздуха, словно невидимая сила подталкивала их. Трубы издавали странную смесь жалких, ноющих звуков.

Я вздохнул облегченно и хотел идти дальше, но Жора знаками приказал взять правее. Мы шли, прижимаясь к зубьям кирпичной стены. Следов девочки больше не было видно. Я старался представить себе: какая она? Я же видел ее в группе этих веселых щебечущих школьников. Почему именно ее потянуло в известную всем смертельную опасность Зоны? Что за сила сидит в человеке, которая омрачает его разум? Я скорее могу понять Лукьяныча, которого вела туда корысть, или Жору, вообще склонного к авантюрам и, по слухам, выносившим из Зоны ценные и загадочные вещи. Но девочка?

Я задумался и налетел на спину замершего Жоры. Сзади дышал Лукьяныч. Может, у него астма?

— Проходим трубу,— прошептал Жора.— Проходим по

одному. Я бегу первый. Если благополучно, махну рукой. Бежишь ты. Не оглядываться, не останавливаться.

Я нагнулся, заглянул в трубу. Она казалась нестрашной. Впереди, недалеко, был виден свет.

— А обойти нельзя? — спросил я.

Жора не ответил. Мой вопрос был глуп. По обе стороны возвышались обрывы кирпича и ржавых конструкций, с которых свисали серые бороды лишайников.

Жора наклонился и побежал.

Я смотрел ему вслед и считал шаги. Его черная фигура заполняла всю трубу.

И вдруг исчезла. Исчезла раньше, чем кончилась труба. Я мог поклясться в этом.

— Сгинул, — сказал Лукьяныч.

— Ты что говоришь! — огрызнулся я.

— Тогда идите, — сказал Лукьяныч. — Мне туда не к спеху.

Я понимал, что надо идти. Я снял с плеча моток веревки и передал его Лукьянычу. Сам взялся за конец.

— Будете страховать, — сказал я.

Лукьяныч кивнул. Он был напуган.

Я нагнулся и пошел в трубу. В ней царил резкий неприятный запах, схожий с запахом аммиака. Дно трубы было скользким, идти было трудно, я шел осторожно — считал шаги. Жора исчез на десятом шагу. На девятом я остановился. Вокруг воцарилась неестественная, мертвая тишина.

К моему удивлению, оказалось, что дно трубы и далее кажется твердым, и от этого обмана зрения я чуть было не сделал следующий шаг, даже поднял ногу, но не успел перенести вес тела вперед, как понял, что в самом деле дно трубы — лишь отражение ее потолка в покрытой блестящей пленкой темноте глубокого колодца. Я присел на корточки и попытался разорвать пленку. Пленка с треском лопнула, и я увидел — совсем близко, на расстоянии метра запрокинутую голову Жоры, которая медленно вползала в черную гляцевую трясину. Почему-то я совсем не испугался, наверное, был готов к чему-то подобному. Я бросил конец веревки Жоре, а сам упал на скользкий пол трубы и крикнул Лукьянычу, чтобы держал крепче — веревка рыв-

ком натянулась так, что я чуть было ее не отпустил. А Жора тем временем смог выдернуть руку из жижи и схватиться за веревку, отчего на секунду его лицо скрылось в черноте, но когда мы с Лукьянычем стали тянуть, с хлюпаньем и всхлипом трясина отпустила Жору, и через минуту отчаянного напряжения он оказался рядом со мной. От него несло отвратительной вонью.

— Живой,— прохрипел он,— живой...

— Ты знал?— спросил я.— Ты знал и пошел?

— Оно редко открывается. А с четырех закрыто.

— Весь в дерьме,— укоризненно произнес Лукьяныч.

— Пошли,— сказал Жора, поднимаясь на четвереньки.

И так, на четвереньках, он пополз вперед. Я полагал, что он обезумел, пытался остановить его, но он лишь грубо отрыгнулся и миновал благополучно место, где только что зияла трясина.

Я колебался последовать его примеру.

— Иди, не дрейфь,— прохрипел он, оборачивая ко мне черное лицо.— Они закрылись.

Я прополз за ним и, когда опасность осталась позади, позволил себе спросить:

— Что это было? Почему возникло? Почему исчезло?

— Потом скажу, сейчас молчи...

Мы выползли из трубы. Я обернулся. Из черной пасти трубы показался Лукьяныч. Над трубой криво висела эмалевая табличка «Туалет закрыт с 16—30». Словно какой-то шутник только что повесил эту табличку и подсказал мне обернуться и разделить с ним непринужденное веселье по поводу его выдумки.

А сам ухмыляется из темноты.

В ответ на мои мысли из недр трубы донесся грохот спускаемой воды, словно прорвался водопровод и в следующее мгновение он кинется наружу, чтобы утопить нас... Я рванулся вперед и налетел на спину Лукьяныча, который локоть к локтю с Жорой замер, закрывая от меня то, что заставило моих спутников остановиться.

Сначала мне показалось, что они стоят на краю зеленой лужайки, расцветшей синими васильками, но тут же стало ясно, что полянка живая, но покрыта она не травой и цветами, а тысячами круглых, стеклянных, разноцвет-

ных глаз, большей частью зеленых и бирюзовых. Это были лишь глазные яблоки, лишённые ресниц и век, но тем не менее они жили, подмигивали, их зрачки сужались, приглядываясь к нам, и по лужайке глаз как бы прокатывалась волна, отчего глаза приближались к нам, стремясь достать до наших ног.

— Направо! — крикнул Жора, и мы побежали между россыпью глаз и остатками блочного дома, сложившегося подобно карточному домику в длинную грудку плит, рам, кусков кровли, ступенек...

Глаза были резвее нас, они лились, отрезая нам дорогу, и вот уже мы бежим по глазам, которые с треском лопаются, разлетаются в пыль под ногами, но все новые и новые глаза рвутся к нам, уже взбираются, вкатываются по штанинам, щекочат ноги...

Мы уже не бежали — мы брели, почти по пояс в глазах, и Жора, перекрывая треск и шорох, кричал нам:

— Вы только не бойтесь, они не кусаются, не кусаются...

Но у Лукьяныча нервы не выдержали. Он увидел рядом щель между плитами, начал протискиваться в нее, раздирая потертый китель. Он рычал и брыкался — еще мгновение — и он исчез из виду, только слышно было, как трещат, скрипят панели, и тут же послышался шум обвала, и грудка панелей и лестниц начала оседать, вваливаться внутрь, погребая под собой Лукьяныча.

— Все, финиш,— сказал Жора, стряхивая с себя голубые глаза.

— Мы должны спасти его,— сказал я.

— Свежо предание.

— Но он, может быть, жив.

— Вот сам и иди,— сказал Жора зло.

— Пойду,— сказал я, глядя в растерянности на развалины дома и не видя щели и отверстия, в которые можно было бы проникнуть.

А Жора пошел вдоль развалин, не оборачиваясь, будто забыл о Лукьяныче.

— Так нельзя! — крикнул я, догоняя его.

Жора не отвечал.

Потом остановился, глядя вверх.

Я проследил за его взглядом и увидел, что на высоте трех метров завал пересекает трещина.

— Жди здесь,— сказал Жора.

— Нет,— сказал я.— Только вместе.

Жора выругался и начал карабкаться вверх. Я помог ему. Потом Жора протянул мне руку, и я взобрался наверх.

Трещина была узкой — внизу темнота. Жора кинул туда камешек. Камешек застучал по плитам — значит, провал был неглубоким.

Жора посмотрел в небо. Небо было бесцветным, вечерним.

— Черт знает что,— сказал он.— Из-за этого болвана Галку погубим.

Но, видно, доброе начало в этом грубом на вид парне победило.

Он протиснулся в трещину, прыгнул вниз, исчез из глаз. И тут же я услышал изнутри:

— Прыгай, тут недалеко.

Я послушался его. Каменная россыпь ударила по ногам, я ушибся, упав на бок.

Я зажмурился. Когда открыл глаза — вокруг была темнота. Еле-еле можно было угадать фигуру Жоры.

— Ты живой?— спросил он.

— Ничего,— сказал я.

— Тогда пошли. Нам надо вниз спуститься, его туда затащи.

Жора пошел вперед, я поднялся, последовал за ним.

— Ты за стену придержишься,— сказал Жора.— Здесь стена есть.

И в самом деле, справа была стена.

— Лестница,— предупредил меня Жора, и я угадал по тому, как его черная тень начала уменьшаться ростом, что он спускается вниз.

Я спускался следом, нащупывая ногой ступеньки.

— Осторожнее!

Одной ступеньки не было.

Вот и лестничная площадка.

— Никогда не подумаешь, что внутри есть такие пространства,— сказал я.

— Помолчи. Неизвестно, кто нас слушает.

— Кто здесь может быть?— сказал я, внутренне улыбувшись: развалины не казались мне страшными. Дом как дом, старый...

Мы спускались по следующему маршу лестницы.

И в этот момент что-то горячее и быстрое ударило меня по ще. Я вскрикнул. И присел. Горячее давило, шевелилось — это было Живое.

— Ты что?

Мягкие шерстяные пальцы ощупывали мои щеки...

Я пытался оторвать их от лица, а вторая рука произвольно шарила по стене. Кончиками пальцев я нащупал выключатель и нажал на него.

Зажегся свет. Лампа под белым плафоном буднично освещала лестницу.

Горячие пальцы оторвались от моего лица — большая летучая мышь заметалась под потолком.

И исчезала...

Внизу стоял Жора, смотрел на потолок.

— Мутант,— сказал он.

Я почувствовал страшный упадок сил и опустился на ступеньку.

Жора подошел, нагнул мою голову, осмотрел шею. Провел по ней пальцами.

Потом показал мне пальцы. Они были в крови.

— Вампир,— сказал он.— Хорошо, что свет загорелся.

— Вампир?— Мой голос звучал глухо, я его сам не узнал. Словно говорил какой-то старик.

— Думаю, он много не успел отсосать. Пошли.

— Там могут быть другие?

— Могут. Зря я тебя взял с собой. Если боишься, вылезай.

— А Лукьяныч?

— Вот именно.

Мы вышли в низкий длинный коридор. Он был освещен такими же белыми круглыми плафонами. Двери были закрыты. На полу толстый слой пыли. У стены стоял открытый ящик с разноцветными погремушками. Из-за двери послышалась стрекотня пишущей машинки.

— Жора!

— Я слышу,— сказал он.— Иди.

— Но там кто-то есть.

— Иди, тебе говорят!

Но я все же приоткрыл дверь.

Там была полутемная комната. Свет в нее проникал из коридора. В разбитое окно потоком, достигая пола, вливалась груда кирпича. На столе стояла пишущая машинка. Возле нее недопитая бутылка молока и кусок колбасы. Никаких других дверей в комнате не было. И ни одного человека.

— Не заходи! — Жора протянул руку, оттащил меня и захлопнул дверь.— Тебе жить надоело?

Сзади послышался треск. Я вздрогнул и оглянулся. Погремушки выпрыгивали из открытого ящика и падали на пол — как блохи.

— Идем,— сказал Жора.

В конце коридора была еще одна лестница.

В подвал.

Подвал был длинным и низким. Из труб капала вода, вода была на полу, по воде плавали широкие светло-зеленые листья кувшинок, но вместо цветов в воде покачивались колбы, наполненные розовой жидкостью.

— Лукьяныч! — позвал Жора.

В ответ — тишина, Мертвенная, угрожающая.

— Погиб он,— сказал Жора.— Зря мы сюда сунулись — сами не выйдем.

Но пошел дальше по подвалу, отбрасывая башмаками колбы и листья кувшинок.

В трубе что-то запело, будто там была заточена птица.

И тут мы увидели Лукьяныча. Он медленно и неуверенно брел нам навстречу.

Трудно вообразить себе облегчение и радость, которые я испытал при виде старого вахтера.

— Лукьяныч! — и побежал к нему.

Тот услышал.

— Ну вот,— сказал он.— А я думал — кранты.

Труба, пересекавшая подвал под самым его потолком, вдруг изогнулась, изорвалась пополам и на каждом торце образовалась зубастая безглазая морда. Морды повернулись к Лукьянычу.

— Ложись! — крикнул ему Жора. — Ложись, тебе говорю!

Но Лукьяныч растерялся или не услышал этого крика. Он остановился, поднял руки и стал отмахиваться от морд.

Из морд поползли белые волосатые языки, они схватили Лукьяныча за руки, обвили их и стали дергать, словно хотели втянуть в трубу.

Лукьяныч бился, пытаясь оторвать от себя эти белые языки, и потом, прежде чем мы успели подбежать, как-то лениво и равнодушно опустился в воду — во все стороны поплыли, словно опасаясь коснуться его, листья кувшинок.

Языки втянулись обратно в морды, морды прикоснулись друг к дружке, и труба, словно так и положено, вытянулась под потолком.

Лукьяныч лежал в воде. Я приподнял его голову.

— Поздно, — сказал Жора.

Я поднял руки вахтера. Пульса не было.

— Пошли, — сказал Жора. — Кончился Лукьяныч.

— Нет, — сказал я, — мы не можем его оставить.

Я попытался поднять Лукьяныча, он был невероятно тяжелым, он выскользнул из моих рук и упал в воду.

— Жора, ну помогите же мне! — сказал я.

— Дурак, — сказал Жора. — Посмотри.

Лукьяныч быстро темнел, рот оскалился, показались неровные золотые зубы.

Сомнений не оставалось. Он был мертв.

Но оставить человека в подвале — это было выше моих сил. И Жоре пришлось буквально оттащить меня от тела вахтера.

Он вел меня прочь, к лестнице. И тут я услышал сзади голос Лукьяныча:

— Погоди... Щукин, погоди.

— Он живой! — крикнул я и вырвался из рук Жоры. Но, подбежав к Лукьянычу, я в ужасе замер.

Его широко открытые глаза были совершенно белыми, более того, они были покрыты короткими белыми светящимися волосками. Лукьяныч смеялся. Он хотел дотянуться до меня, и я стал отступать — его пальцы, пальцы скеле-

та, почти дотянулись до меня — и вдруг Лукьяныч кучей тряпья упал в воду и стал растворяться в ней.

Я не помню, как Жора вытащил меня оттуда...

ГЛАВА IV. ТЕХНОЛОГ ЩУКИН

Я очень устал. И, наверное, потерял немало крови. И хотел остановиться и отдохнуть, но остановиться было страшно.

Мы шли в лабиринте железных ящиков разного размера и формы. Ящики были ржавыми, они вздрагивали, и изнутри доносилось постукивание, словно кто-то просил выпустить его наружу... Стенка одного была выломана.

— Вырвались,— сказал Жора.— Теперь держись.

Я не знал, кто вырвался, и не было сил спрашивать.

Небо было синим, вечерним, и уже появились первые звезды. Где-то далеко летел самолет. Стены ящиков смыкались над головами, и мы шли по узкому извилистому ущелью.

Местность начала понижаться. Мы опускались в какую-то воронку.

Ящики кончились, но приходилось перебираться через завалы бревен, бревна были гнилые, между ними летали светлячки. Жора шел уверенно. Только один раз он остановился и замер, приложив палец к губам. Я тоже замер. Я уже понял, что единственное спасение — во всем слушаться сталкера. Я не могу сказать, что раскаивался в том, что отправился в этот несчастный поход. Я был за пределами страха и любопытства.

Мы стояли, ожидая, пока длинная вереница больших белых крыс перейдет нам дорогу. Крысы не обращали на нас внимания. Каждая из них тащила в зубах маленькую куколку. Последняя, совсем еще крысенок, видно, устала и уронила куколку на землю.

Когда крысы исчезли, Жора наклонился и поднял куколку.

— Посмотри,— сказал он, протягивая мне куколку.

Я, хоть было довольно темно, понял, что куколка изо-

бражует Лукьяныча, с мизинец размером, оловянного, раскрашенного, в кителе и фуражке.

— Быстро работают,— сказал Жора.

— Кто?

Но Жора не ответил. Он быстро побежал вперед, перед ним мелькнуло какое-то живое существо.

— Стой! — крикнул Жора, кидаясь вперед.

Раздался вой.

Я подошел. Жора лежал на земле, между бревен, навалившись телом на ободранную, худую собаку.

Собака повизгивала и вырывалась.

— Ты не видел здесь девочку?— спрашивал Жора у собаки.

Собака не отвечала. Только скулила.

— Ну и черт с тобой,— сказал Жора и отбросил собаку. Та кинулась в сторону.

Жора проследил, куда она побежала.

— За ней,— сказал он.

Нам пришлось перебраться через быстрый, пахнущий карболкой мутный ручей, пробраться сквозь завал картонных коробок, набитых тряпьем. Там была дверь. Из-за нее вырывался луч света.

Жора приоткрыл дверь, и странное зрелище предстало моим глазам.

Вокруг низкого длинного стола сидело множество собак, ободранных, худых, во всем схожих с той собакой, которую поймал Жора.

Собаки смотрели не отрываясь на стол. Там, освещенные толстыми горящими свечами, бегали автомобильчики и паровозики. На большом блюде посреди стола — грудой блестящие украшения. Некоторые из автомобильчиков вдруг начинали толкаться, слабые падали со стола.

— Эй,— сказал Жора.— Кто видел девочку?

Собаки как по команде повернулись к двери. Одна из них зарычала.

И тут мы услышали далекий детский плач.

— Это она! — сказал Жора.

Он побежал через комнату с собаками, и те отступали, рыча. Я бежал за ним. Собаки нас не тронули.

Мы выскочили из воронки, и пришлось долго переби-

раться через расползающиеся тюки с шерстью, потом по щиколотку в грязи шлепать в мертвом кустарнике, и неожиданно перед нами открылась грязная поляна, по краям которой было вырыто множество выгребных ям, источавших мрачное зловоние.

Посреди поляны возвышалось странное сооружение, похожее на башню рыцарского замка. И я не сразу сообразил, что это нижняя часть громадной фабричной трубы. В трубе была сделана дверь. Из нее на землю падал тусклый квадрат света. Оттуда и доносился детский плач.

ГЛАВА V. СТАЛКЕР ЖОРА

Это был замок Сольвейг. Как его в самом деле зовут, даже он сам не помнит. Я — единственный живой человек, который его видел. В прошлом году я добрался до его башни. Это самая дальняя точка, до которой я забирался в Зону. Сольвейг тогда сказал мне, что озера Желания нету. И я ему поверил. Он знает.

Он искал его много лет.

Он сам себя называл Сольвейг. Я проверял. Есть такая опера, там Сольвейг прибегала к нему на лыжах. Но старик, наверно, спутал ее с соловьем. У него раньше был патефон. Но сломалась игла. Я обещал ему принести иглу, но не нашел — теперь их не делают.

Как же эта Галка добралась до старика? Здоровые мужики погибают, а она добралась.

У него в замке стоит золотой трон. Обшарпанный, правда, но золотой. Галку он привязал к трону. Она была чуть живая, рубаха в клочьях, джинсы разодраны... Ох и напереживалась эта дура! А тут попасть в плен к маньяку!

Старик стоял перед ней. В одной руке банка со сгущенным молоком. В другой гнутая алюминиевая ложка. Глаза дикие, ополоумевшие.

Она ела это молоко, вся физиономия в молоке, по распашонке, по лифчику течет молоко, джинсы в молоке, даже волосы в молоке — видно, она сопротивлялась в начале, мотала головой. А теперь уже ничего не соображает, только кричит иногда, как вост.

— Кушай,— говорил, скрипел старик.— Кушай, моя королева. Мне ничего для тебя не жалко.

Он совал ей ложку в рот, она старалась отвернуться, он топал ногами, сердился.

— Оставь Галку! — сказал я.

Он не сразу сообразил, что мы пришли. Потом испугался, кинулся в угол, схватил лом. Халат распахнулся, он под ним в чем мать родила, но жилистый. Он поднял лом и пошел на нас.

Я нагнулся, уклонился от лома и врезал ему в левую скулу.

А Щукин тем временем стал распутывать Галку, она только всхлипывала. Вокруг на полу валялись пустые банки, и весь пол — сплошная липкая белесая лужа.

Щукин скользил по молоку, я помог ему освободить Галку, она не могла стоять, мы отнесли ее к старому дивану, на котором обычно спал старик. Пауки кинулись во все стороны. Пауки у него ручные, умеют танцевать, он мне сам показывал.

— Дядя Жора,— повторяла Галка,— дядя Жора...

Я открыл флягу с коньяком, заставил ее глотнуть. И тут же Галку начало рвать сгущенным молоком.

Я думал, что она помрет. Но ничего, через несколько минут отошла. Оказывается, старик ее кормил больше часа, банок пять как минимум в нее всадил. Он псих, самое дорогое ей отдавал.

Пока мы откачивали Галку, старик очнулся, стал плакать, чтобы мы у него ее не отбирали.

Я поглядел наружу. Уже почти совсем стемнело.

— Будем ночевать здесь,— сказал я.

— Нельзя, нас ждут,— сказал мой технолог.— Ее мать сходит с ума.

— Моя мать с утра пьяная,— сказала Галка.

— Ты хочешь остаться здесь?

— Нет, уведи меня, дядя Жора.

— А что тебя в эту дырку потянуло?

— Мне нужно было... нужно было озеро Желаний.

— Из-за мамы?— спросил Щукин.

— Из-за мамы? А зачем ей?

— А чего?— спросил я.

— Мне нужна любовь одного человека,— сказала Галка.
— Сколько лет этому человеку?— спросил я.
— Сорок. У него жена. Толстая, гадкая, я бы ее убила!
— Дура,— сказал я,— жалко, что пошел тебя вытаскивать.

Старик очнулся, стал просить, чтобы мы ему оставили Галку.

— Пошли,— сказал Щукин.— Уже поздно.
— И куда ты пойдешь?— спросил я.
— Обратно.
— Обратно мы не пройдем,— сказал я.— Даже днем мы чудом прорвались. Ночью погибнем. Хуже Лукьяныча.
— Отдайте мне королеву,— сказал старик с угрозой.— А то скоро Ночные придут. Они вас скушают.
— Это правда,— сказал я.— Пошли.

Мы вышли, старик бежал следом, просил, чтобы я отдал ему его лом. Но я оттолкнул его, а шагов через пятьдесят велел моим спутникам затаяться в остатках трансформаторной будки. Я шепотом сказал им:

— Сейчас сидим тихо. Десять минут. Пускай он думает, что мы обратно пошли.

— А мы?— спросил Щукин.

— А мы пойдем дальше.

— А разве вы там были?

— Там никто не был. Но зато я знаю — на обратном пути нас точно убьют. А впереди — не знаю.

Они мне ничего не ответили. Они устали. Им было почти все равно. Я их понимал, мне самому было почти все равно. Только я упрямый. Я хотел, чтобы Галка все-таки вернулась домой.

— А кто этот старик?— шепотом спросила Галка. Видно, начала оживать. Они живучие, как кошки.

— Сумасшедший,— сказал Щукин.

— Он дезертир,— сказал я.— Так он мне сказал.

— Какой дезертир?

— В сорок первом здесь спрятался. А может, троцкист.

— А что же он ест?

— Сгущенное молоко,— сказал я.— В войну по лендлизу состав со сгущенкой шел, ветка недалеко, его в Зону затащило, потеряли. А может, врут.

На груди защекотало. Я испугался. Может, ядовитое? Запустил руку за пазуху. Оказалось — зеленый глаз. Я выбросил его. Он покатился к Галке. Она взвизгнула. Пришлось его раздавить.

Когда мне показалось, что все тихо, я повел их дальше. Но незаметно уйти не удалось.

Раздался такой грохот, которого я в жизни не слышал.

Особенный, страшный, гулкий, будто тысяча человек принялись молотить по пустым бочкам.

Меня отшвырнуло, понесло... Кинуло на землю, погребло...

И, наверное, сто лет прошло, прежде чем я сообразил, что случилось: Галка наткнулась на край Великой пирамиды. Той самой, которую мне старик показывал в прошлом году. Она из пустых банок. Пятьдесят лет он жрет это молоко. Две, три банки в день. Простая арифметика — сколько банок? И всю эту пирамиду мы развалили.

С нами-то ничего страшного, если не считать нервов. Но, конечно, мы переполошили весь этот скорпионник. А места дальше мне незнакомые, самые древние, самые загадочные.

Мы бежали по колючкам и мертвому лесу, мы пробивались сквозь цветущие оранжевыми одуванчиками заросли мелкой проволоки. Сумерки еще не кончились, так что, к счастью, мы кое-что видели.

А может, не к счастью.

Галка и так была еле живая. И именно она натолкнулась на скелет. Весь разможенный, на черепе сохранились длинные волосы, обрывки джинсов и даже цепочка на вывернутой шее. И Галка начала вопить — она этого парня знала. Хипповой парень, весной пропал. Значит, идиот, полез в Зону.

Галка начала снова рыдать, ее рвало, а по нашим следам уже шли Железные люди, заводные, без голов, раскрашенные. Хорошо еще, что у меня лом был, я отбивался, пока Шукин тащил Галку дальше.

Мы чуть было не погорели совсем, когда оказались перед ущельем. Я никогда не слышал, что здесь есть ущелье. Без дна.

Как переползли на тот берег — до сих пор не представ-

ляю. Мы по паутине ползли. Двух пауков я убил. Третий половину волос у меня вырвал... Но ушли. И Железные люди отстали.

Но пауки позвали других на помощь.

Это, может, и не пауки — ноги плюшевые, желтые, ноги у них из пружин. Не прыгают, но качаются.

Они были осторожные, как шакалы, ждали, когда мы помрем или ослабеем. И видно было, что ждать им недолго. Я все надеялся, что Зона кончится — но точно не знал, когда. Да и шли мы по луне, по звездам. И уверенности не было.

Пауки загнали нас к бетонной стене. Не знаю, кто и когда ее поставил. Метра три, поверх колючая проволока. Надо было эту стену одолеть, но сил одолеть не было.

Мы сидели в рядок, прижавшись к стене спинами.

Пауки дежурили полукругом, тоже ждали, раскачивались, как один футбольный тренер.

И тогда я услышал, что за стеной слышен стук. Быстрый частый стук. И я понял, что мы погибли — мы вышли к Бездне. Никто там не был, но некоторые слышали. Там работа всю идет, как будто ничего не было, а кто работает, неизвестно... А может, это Сборный червяк, что еще хуже...

Тут пауки пошли в наступление.

Я встал, я один мог встать. Я поднял лом и начал махать им.

Пауки, улыбаясь беззубыми ртами, отступили. Глаза светятся, как тарелки.

Я с отчаяния размахнулся и ударил ломом по стене. От нее отлетел кусок бетона. Я стал с отчаянием рубить по стене — пускай Бездна, но умереть от этих пауков куда хуже.

Я вошел в раж. Я бил, бил и ничего не слышал. Но когда Галка завизжала, я обернулся.

И увидел, что моего Щукина уволакивают пауки.

Они рвут его, тянут, а он почти не сопротивляется. Сам как тряпичная кукла.

Я кинулся на пауков, я дробил их ломом, мне уже было на все плевать.

Они оставили Щукина. Он был без сознания. Я поволок его к стене, и пауки пошли за мной следом.

Наверное, никогда еще во мне не было такой силы. Как последние сто метров в марафоне — а потом человек умирает.

Кусок стены выломился, выпал в ту сторону.

Лом провалился в дыру, звякнул там.

Теперь, даже если там ждет немедленная смерть, все равно другого пути нет. Мое оружие там.

Нас спасла Нога. Ее пауки боятся. Она вышла из темноты, скрепя суставами, сапог с меня ростом, из него торчит каменный палец. Пауки — в стороны. А Нога медленно попрыгала к нам, чтобы растоптать.

Я буквально выкинул в дыру Галку, а потом вытащил Щукина.

Там был асфальт.

Я упал рядом со Щукиным. Галка лежала на мостовой.

За стеной скрипела Нога. Потом стало тихо. Я закрыл глаза.

Знакомое постукивание послышалось вдали. Все ближе и ближе...

Дребезжал, надвигаясь, Сборный червяк... Я начал шарить руками, хотел найти лом. Лома не было. Я поднялся на четвереньки, и тут увидел, это не Сборный червяк, а к нам едет трамвай.

Обыкновенный трамвай, поздний, почти пустой. Я и не знал, что в Зоне есть такие места.

Пускай проедет. Это, наверное, трамвай-убийца.

Но трамвай не проехал. Он заскрипел тормозами, останавливаясь. Где лом? Где лом, черт побери! Я же не могу его голыми руками!

Из трамвая выскочила женщина, в синем сарафане.

Она побежала к нам.

Это была Лариска. Галкина мать. Я ее всегда узнаю, издали. Старая любовь. Хотя она теперь спилась, а у меня Людмила и Пашка, но от старой любви что-то всегда остается.

— Я прямо почувствовала! — закричала Лариска — и сразу к Галке.

А Галка начала плакать. Снова.

— Мама, я больше не буду! — Ну, как маленькая.

И только тогда я понял, что над улицей горят фонари. Редкие фонари, обыкновенные фонари.

Я сел на тротуар.

Из трамвая вышел водитель. Колька Максаков. Я его знаю.

Они с Лариской повели к трамваю Галку.

Надвинулись фары.

Это была директорская «Волга».

Директор первым подошел к нам. Он зачем-то пытался трясти мне руку. А мне было плевать... Я сказал, чтобы Щукина отвезли в больницу, он много крови потерял. Про Лукьяныча никто не спрашивал. Видно и так поняли.

Директор приказал вызвать бригаду, чтобы заделать стену.

ГЛАВА VI. ТЕХНОЛОГ ЩУКИН

Меня выпустили из больницы на третий день. За это время я подготовил докладную о мерах по ликвидации заводской свалки, которая в настоящем виде представляет опасность для завода и окрестного населения.

Я напомнил в докладной, что наш завод построен еще до революции как фабрика механических игрушек немецкого фабриканта фон Бюхнера. Свалка родилась, когда завод разрушили в гражданскую войну.

К несчастью, вместо того, чтобы разобрать развалины завода и складов, решено было строить новые корпуса завода игрушек имени Лассалья по соседству от разрушенных. А когда завод в двадцать пятом сгорел, то, восстанавливая, его подвинули вновь. С тех пор свалка стала использоваться и некоторыми другими городскими предприятиями. Свалка приобрела самостоятельное значение, и постепенно завод отступал под ее напором, оставляя в ее владении подъездные пути и заброшенные склады. А свалка все росла и надвигалась. Было много постановлений о ликвидации свалки, как-то ее попробовали снести, но два бульдозера стинули там, одного бульдозериста так и не нашли, второй вышел, но сошел с ума... В городе свалку начали называть

Зоной, и даже появились сталкеры... Теперь же завод отодвинут свалкой от Молодежной улицы на шесть километров, и никто толком не знает, что происходит внутри. Я писал, что свалка превратилась в замкнутую экосистему. В любой момент в ней может произойти качественный скачок, и она нападет на завод или на Молодежную улицу, с которой граничит, отделенная лишь бетонным забором. Потому я потребовал, чтобы свалку немедленно разбомбили военной авиацией.

По выходе из больницы я подал докладную директору.

Он прочел ее при мне. И предложил уйти в отпуск. Сказал, что я заслужил отдых.

— А как же свалка?— спросил я.

— Тут у вас некоторые преувеличения. Но источник их понятен,— сказал директор. Он прятал глаза.— Нервы.

— Вы там не были! — кричал я.— Вы не знаете! Это страшно! Вспомните о судьбе Лукьяныча.

— Мы обязательно примем меры,— сказал директор.— Но вот насчет авиации вы преувеличиваете. Так что лечитесь, отдыхайте.

Директору два года до пенсии...

ГЛАВА VII

Из приказа № 176 по заводу заводных игрушек имени Фердинанда Лассалья.

«...Исходя из вышеизложенного, принять следующие безотлагательные меры:

1. Возвести за счет сэкономленных средств соцбытсектора временное ограждение свалки со стороны цеха № 2.

2. Усилить охрану периферии свалки в ночное время, для чего изыскать возможности увеличения штатов специализированной охраны на два человека.

3. Временно, вплоть до особого разрешения, прекратить посещение завода экскурсиями, а также запретить проникновение на территорию Предприятия представителей прессы, которые безответственными выступлениями могут дезориентировать общественность.

4. Принять к сведению постановление местной органи-

заций Предприятия об обращении к Главному управлению заводных игрушек Министерства местной промышленности о выделении дополнительных ассигнований на приведение в порядок заводской территории.

5. Строго указать всему личному составу Предприятия о недопустимости распространения слухов касательно предположительного существования неопознанных явлений в районе заводской территории. С этой целью провести собрания в коллективах цехов и заводоуправления.

6. Ходатайствовать перед соответствующими организациями социального обеспечения об установлении повышенной пенсии вдове сотрудника специализированной охраны Варнавского Г. Л., как погибшего при исполнении служебных обязанностей.

7. Отметить сборщика Васюнина Г. В. премией в объеме двухнедельного оклада.

8. Предоставить заместителю главного технолога Щукину Н. Р. внеочередной отпуск для лечения.

Директор завода заводных игрушек
им. Фердинанда Лассаля».

ТИТАНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Удалов вошел в кабинет в Николаю Белосельскому. Вернесс, ворвался, потому что был вне себя.

— Коля! — воскликнул он с порога. — Я больше не могу.

Предгор Белосельский отложил карандаш, которым делал пометки на бумагах, пришедших с утренней почтой, ласково улыбнулся и спросил:

— Что случилось, Корнелий?

Когда-то предгор учился с Удаловым в одном классе, и их дружеские отношения, сохранившиеся в зрелые годы, не мешали взаимному уважению и не препятствовали проявлению их принципиальности.

— Я получил сегодня утром восемь новых форм отчетности, четыре срочные анкеты по шестьсот пунктов в каждой, не считая сорока трех прочих документов и инструкций.

С этими словами Удалов поставил на стол предгора объемистый портфель, щелкнул замками, наклонил, и гора бумаг вывалилась на стол.

— Ну чем я могу тебе помочь? — вздохнул Белосельский, который сразу все понял. — Я сам завален бумагами — работать некогда.

— Так мы перестраиваемся или не перестраиваемся? — спросил Удалов. — Неужели ты не понимаешь, Коля, что бюрократы нас скоро погребут под бумагами? Бумаги нужны им для того, чтобы оправдать свое бессмысленное существование. А мы терпим.

— Мы боремся, — сказал Белосельский. — Три дня на-

зад мы уговорили горагропром сократить на шесть процентов квартальную отчетность. После долгого боя они согласились.

— Ну и что?

— А то, что оставшиеся девяносто четыре процента они увеличили втрое в объеме.

— Надо разогнать,— сказал Удалов.

— Мы не можем разогнать,— сказал Белосельский.— Все наши организации подчиняются вышестоящим организациям, а все вышестоящие организации подчиняются очень высоко стоящим организациям, и так до министерств...

— Тогда подаю заявление об уходе на пенсию,— сказал Удалов.— Я уже три дня не был на стройплощадке. У меня рука сохнет.

— Так не пойдет,— сказал Белосельский.— Своим капитулянтским шагом ты лишаешь меня союзника. Мы должны думать, а не плакать.

— Тогда думай! — закричал Удалов.— Тебя же для этого сделали городским начальником.

— Если бы я знал! — с тоской произнес Белосельский и, подойдя к окну, вжался горячим лбом в стекло. Ему хотелось плакать.

— Простите, друзья,— раздался голос от двери. Там стоял незаметно вошедший в кабинет профессор Лев Христофорович Минц, местный гусларский гений и сосед Удалова.

— Заходите, Лев Христофорович,— откликнулся Белосельский.— Беда у нас общая, хоть от вас и далекая.

— Я все слышал,— сказал Минц.— Но не понимаю, почему такая безысходность?

— Бюрократия непобедима,— ответил Белосельский.

— Вы неправы,— сказал Минц.— К этой проблеме надо подойти научно, чего вы не сделали.

— Но как?

— Отыскать причинно-следственные связи,— пояснил профессор.— К примеру, если я собираюсь морить тараканов, я первым делом выявляю круг их интересов, повадки, намерения. И после этого бью их по самому больному месту.

— Так то же тараканы! — сказал Удалов.

— А тараканы, должен вам заметить, Корнелий Иванович, не менее живучи, чем бюрократы.

— Что же вы предлагаете?— спросил Белосельский.

— Я предлагаю задуматься. В чем сила бюрократа?.. Ну? Ну?

Друзья задумались.

— В связях,— сказал наконец Белосельский.

— В нежелании заниматься делом,— сказал Удалов.

— Все это правильно, но не это главное. Объективная сила бюрократии заключается в том, что она владеет бумагой. А бумага, в свою очередь, имеет в нашем обществе магическую силу. Особенно если она снабжена подписью и печатью. При взгляде на такую бумагу самые смелые люди теряют присутствие духа, цветы засыхают, заводы останавливаются, поезда сталкиваются... с самолетами, писатели вместо хороших книг пишут нужные книги, художники изображают на холстах сцены коллективного восторга, миллионы людей покорно снимаются с насиженных мест и отправляются в теплушках, куда велит бумага...

— Понял,— перебил профессора Удалов.— Нужно запретить учить будущих бюрократов читать и писать. Оставим их неграмотными!

— Они уже грамотные,— сказал Белосельский. А Минц добавил:

— К тому же бюрократами не рождаются. Ими становятся. И опять же по велению бумаги. Потому я предлагаю лишить нашу бюрократию бумаги!

— Как так лишить?— удивился Белосельский.

— Физически. Не давать им больше бумаги. А не будет бумаги, им не на чем будет писать инструкции и запреты, а вам не на чем будет составлять для них отчетность.

— Но как?

— Вы не можете закрыть все учреждения, вы не можете выгнать бюрократов на улицу. Но в вашей власти отказать им в бумаге. Вся власть Советам!

Слова мудрого Льва Христофоровича запали Белосельскому в душу. Не сразу, а собрав вокруг себя сторонников, обдумав процедуру, он издал указ, радостно встреченный всем населением.

«Отныне и навсегда ни одно учреждение города Великий Гусляр не имеет право держать в своих стенах никакой бумаги, кроме туалетной и предназначенной для написания заявления об уходе (по листку на каждого человека)».

Мы не будем описывать здесь, как сложно было перекрыть доступ бумаге в учреждения и конторы, как хитрили и изворачивались руководители этих контор, как пришлось ставить добровольцев на городских заставах, чтобы пресечь контрабанду бумаги из области и даже из Москвы. Но если народ решил, то народ справится!

Бумажный поток был перекрыт. Город вздохнул свободно. Бравые патрули перехватывали врывающийся в город поток бумаг и тут же сдавали в макулатуру. Уже через две недели на эту макулатуру каждый житель города получил по книге Дюма и собранию сочинения писателя Пикуля.

С каким наслаждением шел утром на работу Корнелий Удалов, а также все его сограждане! Они были уверены, что никто не будет отвлекать их от созидательного труда. И производительность этого труда резко возросла.

Учреждения затаились. В их недрах шли бесконечные совещания, но так как протоколы приходилось вести на туалетной бумаге, они оказывались недолговечными и наутро приходилось совещание повторять, так как совещание, не оформленное протоколом, считается недействительным.

Удалов с Белосельским со дня на день ждали светлого момента, когда откроются двери Горснаба, Горстата, Горотчета, Горпромпроса, Горплана и других контор, и оттуда выйдут сотрудники и сотрудницы, чтобы сдаться на милость победителей и перейти к станкам, больничным койкам, классным доскам и прочим местам, где так не хватает людей. Но двери не открывались.

Прошла неделя. И вдруг Удалов, проходя по Пушкинской, увидел скромное объявление. Оно звучало так: «Горотчету на постоянную работу требуются каменщики, ткачи, вышивальщики, граверы и чеканщики. Оплата по ставкам ведущих специалистов, тринадцатая зарплата гарантирована».

Сердце тревожно забилося. И еще тревожней стало

Удалову, когда он на следующей улице увидел такое же объявление, вывешенное Горпромпланом.

Худшие подозрения Удалова подтвердились в тот же день. Примерно за час до обеда к нему в контору вошли три дюжих молодца. Они волокли большую гранитную плиту. На плите тщательно выбиты буквы:

ИНСТРУКЦИЯ

по учету использованной арматуры в пересчете
на погонные метры и кубические сантиметры.

Для служебного пользования.

Срочно.

Ответ предоставить в течение
24 часов под личную ответственность.

Молодцы поставили плиту к стене. Солнце, заглянувшее в комнату, осветило своими теплыми лучами глубоко выбитые строчки.

— Распишитесь в получении, — сказал один из молодцов, протягивая Удалову медный лист и молоток с долотом. — Вот тут выбейте свою фамилию.

До обеда Удалов выбивал по меди свою фамилию. А из соседних фабрик, контор, магазинов и учебных заведений ответно постукивали молотки — руководители и директора расписывались в получении инструкций.

Вместо обеда Удалов кинулся к Белосельскому.

Тот был в трауре. Стены его кабинета были заставлены разного размера каменными плитами, медными и железными листами, на столе лежали грудой шелковые и хлопчатобумажные свитки с вышитыми на них запросами, жалобами, анкетами и рекомендациями.

Посреди кабинета стоял профессор Минц и сдержанно улыбался.

— Ну, что вы улыбаетесь! — завопил Удалов с порога. — Они нас победили! Лучше я буду расписываться на бумаге, чем, как египетский раб, выбивать свою фамилию на твердых предметах.

— Не падайте духом, Корнелий, — произнес Лев Христофорович. — И вы не падайте, товарищ Белосельский.

Враг пошел на последние, крайние меры. Значит, он слаб.

— Да вы посмотрите в окно,— сказал Николай.— Отсюда видно — они беспрерывно куют и вышивают! Они все при деле! Они расширяют штаты.

— А мы хитрее,— сказал Минц.— На прошлом заседании вы отказали в создании кооператива гранильщиков, кооператива вышивальщиц, артели чеканщиков?

— Мы не отказали. Мы перенесли вопрос на будущее, потому что не были подготовлены нужные бумаги.

— Вот именно! Бумаги! А теперь у нас нет бумаг!

— А как же...

— И ты туда же, Коля?— строго спросил Удалов.

Лицо Белосельского озарила лукавая усмешка.

— Верочка! — позвал он секретаршу.— Вы можете звывать ко мне председателей всех кооперативов? Сейчас. Спасибо.

Через час, без единой бумаги, оперативно и решительно в городе были организованы кооперативы чеканщиков, гранильщиков, вышивальщиц, каменщиков и прочие добровольные организации, готовые внести свой вклад в развитие экономики и заработать при этом больше, чем могли заплатить городские учреждения, даже с учетом тринадцатой зарплаты.

Бюрократия лишилась рабочих рук.

Прошло еще пять дней. Жизнь в городе текла спокойно. Новых инструкций не появлялось.

Утром во вторник Удалов сказал жене Ксении:

— Ксюша, наша титаническая борьба с бюрократией кончилась в нашу пользу. Бюрократия потерпела поражение!

И тут из другой комнаты вышел сын Удалова, подросток Максимка.

— Папа,— сказал он.— Мы в поход не пойдем.

— Почему?— удивился Корнелий.— Ты же так готовился.

— Вчера приходил к нам один дядя из Горпромплана и всем нам предложил заработать.

— Вам? На каникулах?

— Папа,— сказал Максимка.— Ты совершенно не сле-

дишь за дискуссиями о просвещении. Пора наконец приблизить школу к жизни. Наше образование находится в критическом положении. Я не хочу быть недорослем! Мой сверстник в Соединенных Штатах зарабатывает на каникулах сотни и даже тысячи долларов, разнося молоко и газеты!

— Остановись! — закричал Удалов. — Все стали образованные! Иди, зарабатывай. Но честным трудом!

— Я понял, папа, — сказал Максимка, — если мне предложат что-то бесчестное, я откажусь, даже если на эти деньги я мог бы купить мотороллер.

Вечером они встретились с сыном за ужином.

— Ну и что, сынок? — спросил Удалов.

— Очень интересная идея, — ответил Максимка. — Все мы будем работать курьерами.

Удалов искренне рассмеялся.

— Какими же вы будете курьерами, если бумаг нету?

— А мы и будем бумагами, — ответил сын. — Каждый из нас получает номер. Я, например, исходящий 18-24 от 14 июня. Состою из шестидесяти пунктов и завтра с утра направляюсь в область.

— Не выйдут, — ответил Удалов, все еще не в силах поверить в дьявольскую задумку Горпромплана. — Ты не запомнишь все пункты.

— Запомню, — улыбнулся подросток.

Он вытащил из кармана длинную тонкую веревку, от которой отходили короткие веревочки со множеством узелков.

— Письмо туземцев майя, — пояснил он отцу. — Докладывая мое содержание, я пользуюсь этим письмом как подсказкой. Показать?

— Ну... — неуверенно сказал Удалов.

Максимка встал в позу, потянул пальцами конец веревки и монотонно заговорил:

«Исходящий 18-24 от 14 июня. В областное управление Главпромпланстройкомплекта заместителю подзаведующего сектором вторичного учета товарищу Богаткину Гы Мы...»

— Хватит, — махнул рукой Удалов. — Сдаюсь. Боюсь

только, что они там тебя заприходуют, пришьют к делу, положат на полку и забудут покормить.

Сын только отмахнулся. Он ходил по комнате, перебирал пальцами веревочки и тихо бубнил.

Наутро Удалов, проходя мимо открытых окон Горучетинспекции, услышал доносящееся оттуда бормотание. Он остановился, заглянул внутрь. Перед начальственным столом стояла девчушка, лет десяти и послушно повторяла за начснабом Лапкиным, которого Удалов давно знал: «Пункт третий: поручить руководителям нижних управленческих звеньев... Не упадочнических, а управленческих, девочка! Если не запомнишь до обеда, мы с тобой лишимся компота».

На автобусной остановке в ожидании машины в область томилось два десятка школьников с веревочками в руках...

Трое юношей и первоклассник в очках ждали Удалова в конторе.

Они были вежливы, но настойчивы. Удалову пришлось выслушать их тексты и послания соответствующих организаций. Затем Удалов покорно спросил:

— А где расписываться? В получении?

— Если есть круглая печать, — ответил один из ходячих документов, — ставьте мне на лоб.

— На лоб?

— Разумеется, чтобы видно было.

Удалов улыбнулся. Он достал из стола круглую печать, густо намазал ее чернилами и злорадно припечатал круглые лобики детей.

— Пуская теперь вас папы с мамами отмывают! — сказал он.

Но когда подошел к очкастому первокласснику, рука его не поднялась.

— А еще куда можно? — спросил он.

Мальчик протянул ему ладошку. И Удалов припечатал ладошку.

Весь день по городу шастали входящие и исходящие. У некоторых детишек на лобиках стояло уже по три-четыре печати. А на щеках были подписи фломастерами.

Удалов перестал улыбаться.

А когда вечером вернулся из города усталый Максимка,

лоб и щеки которого были густо разукрашены штампами и печатями, он собственноручно, несмотря на громкие вопли мальчика, который лишался честно заработанных денег, отмыл его в ванной так, что чуть кожа не слезла.

Впрочем, эта же сцена повторилась во многих домах, что сильно обесценило детей в качестве документов.

А на следующий день после короткого и бурного совещания в Гордоме все дети города были отправлены в палаточный лесной городок, который мгновенно выстроили родители.

— Ну вот, вроде и все,— сказал Удалов еще через день.

Ему только что позвонил Коля Белосельский, который сообщил, что к нему прорвались курьеры из области. Один принес инструкцию, вырезанную из березовых листьев, второй прямо в кабинете снял майку и показал письмо, написанное на его животе. Следовательно, в других городах и даже в области почин великогуслярцев был подхвачен.

— Титаническая борьба подошла к концу,— сказал Удалов жене, уходя на службу.

— Ты мне это уже говорил,— ответила Ксения.— Погоди, они еще не сдались.

Удалов только отмахнулся от пророческих слов супруги.

Светило солнце, пели птицы, впереди гудели автомобили.

На центральной площади города, обширной и заасфальтированной, что-то происходило.

Машины и автобусы, которые намеревались было пересечь площадь, вынуждены были остановиться.

Туда, на площадь, чиновники из различных учреждений, здания которых и окружали площадь, выносили свои столы. Сотни столов, тысячи столов...

Руководители учреждений и контор, руководствуясь планчиками, нарисованными на клочках туалетной бумаги, указывали, где ставить столы.

Удалов остановился на краю площади среди зевак, стараясь понять, что же замыслила гибнущая бюрократия.

Постепенно стал вырисовываться рисунок, согласно ко-

торому устанавливались столы. В сумме они составили три громадные буквы:

«SOS»

Затем по команде сотрудники уселись за столы и стали смотреть в небо.

Удалов тоже посмотрел в небо. Небо было голубым и пустым.

— Чего вы хотите?— спросил он у ближайшего чиновника.

— Нам не объяснили,— ответил тот.— Сказали, чтобы сидеть и ждать. Начальству виднее.

Начальство с Удаловым разговаривать не стало.

Удалов поднялся к Белосельскому. Белосельский был встревожен. Они стояли у окна, и буквы «SOS» были от-
лично видны.

Подошел Минц.

— Глупо,— сказал он.— Если они надеются на область, то там идут те же процессы.

— Знаю,— сказал Белосельский.— По всей стране идут процессы. Но все равно на сердце тревожно.

И в этот момент сверху послышался ровный нарастающий гул.

Темные быстрые тени мелькнули над площадью.

Одна за другой между буквами тревожного послания опускались летающие тарелочки. На них были опознавательные знаки, которые были Удалову знакомы.

— Эта с Альдебарана,— сказал он, глядя, как открывается люк и из первой тарелочки выходят трехногие зеленые пришельцы с портфелями.— А это с Альфы Водолея.

Из второй тарелочки выползли крабовидные существа в черных костюмах.

Вот открываются люки в третьей, пятой, двадцатой тарелочках...

Один из пришельцев, крупного размера, с четырьмя щупальцами, вынул из-за пазухи микрофон, и его голос раскатился над площадью:

— Дорогие братья! Узнав о том, в каком катастрофическом положении вы находитесь, и увидев ваш сигнал бедствия, мы по зову сердец откликнулись на вашу беду. Мы, представители могучих организаций и учреждений Альде-

барана, Сириуса, Паталипутры и многих других разумных миров; доставили нашу скромную помощь. Вы не одиноки, друзья и коллеги!

Под аплодисменты гусярских чиновников прищельцы стали выносить из тарелочек толстые стопки бумаги, копии, ксероксы, новенькие печатные машинки...

Чиновники смиренно и деловито выстраивались в очередь и каждый из них получил достаточно бумаги, чтобы завалить Удалова с головой.

— Да,— сказал Минц.— Мы потерпели поражение.

— Титаническое поражение,— сказал Удалов.

Белосельский не выдержал. Он заплакал.

— Коля,— сказал Удалов, кладя руку на плечо друга.— Не падай духом. И на Альдебаране мы с тобой отыщем союзников.

— А они... они... из соседней Галактики...

— Мы и до соседней Галактики доберемся.

ТРЕВОГА! ТРЕВОГА! ТРЕВОГА!

1.

Высокий, стройный, несмотря на свои сто двадцать лет, верховный координатор Дальней разведки широкими шагами пересек полутемный зал космической связи. Техники безмолвно поднялись при его приближении. Огоньки на пультах тускло отражались на серебряном мундире координатора. Безмолвное напряжение опустилось на зал. В тишине, подчеркиваемой шепотом самописцев и тихим жужжанием самонастройки, голос координатора прозвучал громом.

— Канал срочной связи,— произнес он.

От легких и быстрых движений техников ярче загорелись экраны. Мигнула мириадом огоньков схема готовности.

— Код?— спросил первый техник.

— Шесть-особый. Тревога первой степени.

— Все каналы свободны,— сказал второй техник.

Координатор опустился в кресло. Его рука в черной перчатке на секунду замерла над пультом, прежде чем набрать известные лишь координатору цифры...

Палец решительно опустился на пульт, коснулся первой цифры...

2.

Зарево вулканов окрашивало небо в грозный, багровый цвет. Иногда по непрочной еще коре планеты прокатывалась волна землетрясения. Вездеход по касательной опу-

стился возле висящего над черным камнем пузыря станции.

Усталый разведчик тяжело прыгнул на пиритовую плиту, скафандр особой защиты делал его похожим на старинного робота.

Мягко открылся люк, приглашая Свиридова войти в уют и безопасность станции.

Лишь одна мысль, одно необоримое желание завладело мозгом и телом разведчика — спать...

Натруженными руками он снял шлем. Растер жесткими пальцами глубокий красный шрам, пересекающий щеку. Взглянул в зеркало. «Сколько тебе лет, старина?» — спросил он свое изображение. Изображение сощурилось в ответ. Лицо было молодо, но глубокие складки у губ, щетина на подбородке, мешки под глазами мешали поверить, что тебе лишь завтра минует тридцать.

Струи дезинфицирующего душа ударили по плечам и животу. Но не принесли свежести и облегчения. Свиридов был по ту сторону усталости.

Переодевшись в шорты и голубую домашнюю накидку, Свиридов прошел на Центральный пункт. Ирида коротко взглянула на него. Изображения на экранах зашатались, заваливаясь вправо.

— Что, трясет? — сказал Свиридов.

— Поспи, — сказала Ирида, обратив на него пристальный немигающий взгляд сирианки. — Три часа. Потом снова на вахту. Возможен взрыв на склоне Плеиницы. Надо будет эвакуировать оборудование.

— Три часа? — спросил Свиридов.

— И ни минутой больше.

Свиридов сказал себе: три часа — это вечность, это спасение.

Неожиданно вспыхнул экран внутреннего оповещения.

Зеленое лицо второго исследователя, увеличенное втрое, так что видна была каждая чешуйка на лбу и хоботе, смотрело на Свиридова.

— Никита, — сказал Второй. — Экстра-срочная с Земли. Тебе.

Лицо исчезло — на экране возникла желтая полоска

космограммы. С легким щелчком она отделилась от экрана и перелетела в руки Свиридову.

— Ты знала?— спросил Свиридов у Ириды, прочтя космограмму.

— Да,— ответила сирианка.

— Надо лететь,— сказал Свиридов, преодолевая дурноту.

— Сквозь пылевую на планетарном катере тебе до утра не прорваться,— сказал с экрана Второй.

— Надо,— сказал устало Свиридов.

— Может, поспишь сначала?— спросила Ирида. В ее ровном голосе впервые за последний месяц прозвучала жалость.

— Не нужно меня жалеть, девочка,— сказал Свиридов, попытавшись улыбнуться.— Надо. Я прошел сквозь льды Андромахи и огонь Белого Карлика. Я постараюсь прорваться.

— Ты прорвешься,— сказал Второй.

— Я готовлю катер,— сказала Ирида.— Надевай скафандр.

Что в ее инопланетном взоре? Неужели это любовь?

Чтобы никто не увидел, как покраснел его шрам, Свиридов отвернулся и натянул шлем.

— Надо,— повторил он. Голос его прозвучал глухо.

3.

Рука в черной перчатке снова замерла над кнопками.

Лениво перемигивались огоньки над пультами.

Второй сигнал устремился в звездные дали...

4.

Павел знал: за спиной поселок, посевы, теплицы. Если он не выдержит, погиб труд всей колонии.

Он стоял на краю рощицы живых, подвижных, трепещущих деревьев, которые, ощущая его напряжение и решимость, старались отклониться, прижаться к желтой земле. Растительный мир страшился грядущего боя.

Пискнул биолокатор, вмонтированный в браслет. Опасность!

Легким движением Павел включил гравитатор, и тот рывком вознес его над поляной, над вершинами деревьев.

Биолокатор не ошибся.

Огромные лиловые лопухи на болотце расступились — оттуда черной молнией вырвалась торпеда страшного хищника — перепончатого ящера. Ломая робкие деревья, ящер рухнул на поляну, там, где секундой раньше стоял Павел. Сообразив, что потерял добычу, ящер принялся рвать когтями траву и ломать стволы.

Павел включил миникамеру — зрелище было достойно того, чтобы запечатлеть его на видео.

Это было ошибкой. Второй ящер услышал жужжание камеры. Тень его на мгновение закрыла солнце, и Павел лишь чудом успел увернуться от живого снаряда, круто уйдя к кустам, откуда к нему уже устремился бородавочник — скользкое трехметровое существо, схожее сразу с жабой и кабаном.

Павел разрядил в бородавочника бластер, затем перевернулся в воздухе так, что гравитатор чуть не разбил его о торчащую из болота скалу, и уже из-за скалы всадил очередь в разъяренную морду ящера.

Но это еще не победа. Павел знал, что на запах крови и паленой шерсти из леса вылетит вся стая. Надо отступать.

Второго ящера Павел срезал, когда тот опрокинул на него скалу, третий уже подстерегал его за болотцем. А часть своры уже пробиралась низиной к теплицам.

Поэтому пришлось вынырнуть из теплой жижи болотца, где Павел был почти в безопасности, и выскочить на открытое место, чтобы рептилии увидели своего врага.

Павел стоял, широко расставив ноги и непрерывно стреляя из бластера. Ящеры падали, корчились в судорогах, но на их месте тут же возникали новые и новые чудовища...

— Павел,— слышалось в шлемофоне.— Павел, ты еще жив?

— Сражаемся,— коротко ответил Павел.— Если продержусь еще полчаса, считай, что теплицы спасены.

— Павел, тебя вызывает Земля.

— Не могу отвлекаться.

Павел взмыл в небо и оттуда расстрелял группу бородавочников, что пытались прорваться по узкой промоине.

— Павел,— слышалось в шлемофоне.— Шесть-особый. Тревога первой степени.

— Еще этого не хватало!

Павел бился врукопашную с небольшим птеродактилем, который умудрился вцепиться ему в спину.

— Павел! — Вызов повторили.

— Эх,— сказал Павел, отрывая хищный клюв птеродактиля.— Не успел я спасти теплицы.

С этими словами Павел включил силовое поле и гравитацию на полную мощность. Лес стремительно пошел вниз. Один из ящеров еще пытался преследовать его, но быстро отстал и присоединился к стае, которая понеслась крушить лабораторию и теплицы...

А Павел уже вышел в стратосферу, к катеру, что ждал его на орбите.

5.

Рука в черной перчатке набрала новую комбинацию на пульте.

Техники готовили каналы прибытия.

— Сигнал стопорится,— сказал координатор.

— На пути черная дыра,— ответил техник.— Чтобы пробить ее, нужна энергия всей Солнечной системы.

— Отдайте приказ. От моего имени. Переключить все станции Земли и Марса на мой пульт.

— Слушаюсь,— сказал техник.

6.

Сто тридцать шесть этажей.

Общая высота восемь метров сорок сантиметров.

Лаконичные линии, строгие очертания...

— Как ты думаешь,— спросил Джон.— Им понравится?

— Должно понравиться.

— Как много от этого зависит, — сказал Джон.

— Земля будет благодарна нам, — согласился Джавад.

Да, земные специалисты неплохо потрудились. Жители планеты, трудолюбивые, схожие с муравьями двухсантиметровые насекомые, согласились наконец рассмотреть просьбу землян. В благодарность за дьявольский трехмесячный труд Джавада и Джона — разведчиков с Терры.

Четыре посольства направляла туда Земля, в надежде получить формулу лекарства от смерти. И четыре посольства отправлялись обратно несолоно хлебавши. Жители планеты не соглашались на обещания и посулы Земли. Но Джавад и Джон сделали то, что не удалось их предшественникам. Используя земную технологию, они построили небоскреб, который пришелся по душе не только населению, но и правительству планеты. И вот сейчас разведчики ждали встречи с правительственной комиссией. За небоскреб и проектную документацию они должны были получить лекарство от смерти.

— Еще два часа трудных переговоров, — сказал Джон. — И — домой!

— Два часа? Я думаю, что и пятью часами не обойдемся. Ты же знаешь, какие у них сложные обычаи и правила. Каких трудов нам стоило позвать комиссию на стройку!

— Надеюсь, ты не забыл с какой ноги делать первый шаг и как кланяться канцлеру правой руки?

— Нет. Я помню это, даже если ты разбудишь меня среди ночи. А ты сам не забыл, как обращаться к Государственной шляпе?

Джон улыбнулся.

— Мы заслужили отдых, — сказал он. — Я так устал от бесконечных уменьшений и увеличений! Утром во мне два сантиметра, к обеду я возвращаюсь в естественное состояние, затем снова уменьшаюсь для споров со снабженцами, затем снова...

— И так далее, — подытожил Джавад. — Я даже порой забываю, какого же я размера в самом деле.

И, нажав кнопку биотранслятора, он тут же начал уменьшаться.

— Погоди, Джавад! — взмолился Джон. — Рано!

— Пора,— откликнулся Джавад, ставший размером с кошку.— Сейчас придет их комиссия.

Он продолжал уменьшаться.

В ухе Джона щелкнул динамик космической связи.

— Говорит центр,— услышал разведчик.— Связь шесть-особый.

— Что случилось?— спросил Джон.

— Тревога. Срочно вызывают на Землю.

Джон посмотрел под ноги. Там, далеко внизу, у входа в небоскреб, уже собирались зеваки. Среди них стоит Джавад. С минуты на минуту появятся кареты правительства.

— Мы не можем,— сказал Джон.— Через пять минут у нас решающая встреча. Земля получит лекарство от смерти.

Джон не смог скрыть ликования в голосе.

— Шесть-особый,— повторила Земля.— Тревога первой степени. Вы поняли?

— Я понял,— сказал Джон горько.

Джавад быстро увеличивался. Он тоже услышал вызов.

— Пошли?— спросил Джон.

— Пошли,— сказал Джавад.

Они смотрели вниз. Из-за холма появились первые правительственные кареты.

— Что же, лекарство от смерти подождет,— криво усмехнулся Джон. И они поспешили к космическому кораблю.

7.

Черный палец дотянулся до следующей кнопки.

— Можно давать свет?— спросил техник.— Многие в Солнечной волнуются. Звонят. В детских садах кухни отключились. Холодильник под угрозой.

— Минутку,— резко оборвал его координатор.— Следующий вызов потребует дополнительной энергии. Земля терпит.

Жюльен замер в тени нависающего над ним мрачного замка. Специальный плащ делал его практически невидимым. Третьи сутки, питаюсь лишь таблетками, он подслушивал переговоры пиратов Серого облака с графом Кровавого залива. Что привело их сюда, в мирный край Облачной империи?

Жюльен напрягся... Слышны шаги. Некто, стуча по каменным плитам подкованными каблуками, вошел в потайной зал. Кто это? Жюльен осторожно достал светящийся регистр походок. Частота и амплитуда шага совпадала с характеристиками шагов Эж-о, лилового палача бандитов Гонгоры... Но ведь мы были уверены, что этот голубчик отдыхает на Марциальных водах!.. Теперь все встает на свои места. Вот он, дьявольский, столь опасный для Галактики союз пиратов, графа и мафии. Теперь главное не упустить ни слова из их переговоров...

Жюльен включил дистанционно управляемые магнитофоны замка.

Каждое слово, каждый вздох долетали теперь до него...

Но раньше чем Жюльен услышал первые слова, в его ухе застрекотал галактический вызов:

— Внимание! Шесть-особый. Тревога номер один.

— Я не могу,— прошептали в микрофон посиневшие губы Жюльена.— Я на задании.

— Шесть-особый!

— Это угроза всей Галактике.

— Тревога первой степени!

Жюльен выключил микрофоны и пополз кустами к прогалине, где под кучей сучьев скрывался его гравитолет...

— Последний вызов,— произнес координатор.— И можете переключать снабжение энергией на Солнечную систему.

— Слушаюсь,— сказал техник и склонился к пульту связи.

Черная рука вновь протянулась к кнопкам вызова...

10.

Базиль отозвался не сразу.

Батискаф попал в объятия щупальцев стометрового кальмара, и Базиль старался вырвать батискаф из ловушки, не убив последнего гиганта юрского моря.

А кальмар все тянул и тянул батискаф в глубину...

Нет, положение не было безвыходным. Базиль дал напряжение на внешнюю оболочку. Голубые электрические искры вспыхивали на присосках щупальцев. Но кальмар не намеревался отпускать жертву.

Базиль понял,— пора включать вибрацию.

Батискаф задрожал.

— Вызов шесть-особый,— раздалось в батискафе.— Говорит Земля. Срочное возвращение.

— Не могу,— сказал Базиль.— Меня не пускают.

— Без шуток!— Он узнал голос самого координатора.— Тревога первой степени.

— Тогда мне придется убить суперкальмара — а он в Красной книге.

— Постарайтесь обойтись без жертв,— сказал координатор.— Но это не отменяет приказа.

— Значит, стрелять?

— Шесть-особый!

В батискафе воцарилась тишина.

— Прости, старина,— сказал Базиль, включая лазерную пушку.

11.

Они входили поочередно в зал Координационного совета. Разведчики высшего класса. Резиденты в дальних мирах. Элита галактической службы.

Сдержанно здоровались. Проходили к свободным креслам. Свиридов сразу задремал. Он очень устал.

Координатор вошел в зал. Он успел переодеться. На нем был алый плащ, на груди — большая Звезда Галактики.

Разведчики не вставали. Это не принято. Здесь все равны. Здесь каждый разделяет ответственность перед человечеством, неся свой крест на дальних планетах и в открытом космосе, защищая Землю от неожиданностей, внося свой вклад в покорение Вселенной. Избранные. Лучшие из лучших.

Координатор окинул их суровым, но теплым взглядом.

— Можете садиться, — произнес он, занимая свое кресло.

Эта фраза, оставшаяся с давних пор неравенства, была частью ритуала.

— Я созвал вас, — сказал координатор, — так как в этом возникла крайняя необходимость.

Собравшиеся хранили молчание. Все понимали, что никогда координатор не посмел бы оголеть столь ответственные участки незримого галактического фронта, если бы не крайняя нужда.

— Сегодня к нам поступил следующий документ:

Координатор вынул из папки желтоватую пластинку.

— «От Земгосстата Координационному совету. Срочно. Секретно, — прочел координатор. Разведчики замерли в своих креслах. — Требуем по всем постам и станциям в трехчасовой срок предоставить отчетность по использованию канцелярских кнопок и бумаги. А также дать объяснение по вопросу перерасхода шестидесяти трех скрепок за период по январь текущего галактического года. Исполнение возложить лично на Верховного координатора».

Воцарилась мертвая тишина.

Координатор положил пластинку на сверкающую мраморную поверхность стола.

— Положение серьезное, — произнес он. — Сейчас же каждый из нас, включая меня, приступает к составлению отчета. Надеюсь, что скрепки будут найдены. Как, мальчики?

Свиридов, сон которого как рукой сняло, ответил за всех:

— Мы не подведем вас, шеф.

ТИШЕ, ПРОСТОЙ МАРСИАНИН!

Рассказ-гипотеза

На своем опыте я убедился в том, какую огромную роль может сыграть маленький человек в истории планеты. Я имею в виду себя. Подумать только, если бы моя кузина не работала в Марсводхозе, судьба Марса могла бы сложиться иначе.

Когда колодец в нашем поселке совсем пересох, я приехал в Соацеру, потому что нехватка воды грозила разорением. Моя повозка, запряженная белым рогатым медведем, за два дня преодолела расстояние от предгорий Соара, через плодородные поля Азоры до громадного пустыря древней Соацеры, над которым возвышался монумент Магацитла. Я миновал развалины цирка, проехал под рухнувшими арками. Над моей головой пролетали крылатые лодки и парусиновые птицы горожан. Смуглые лица высывались из воздушных экипажей...

Вот и прекрасная Соацера, столица Марса. Пурпуровая, серебристая, канареечная листва парков сомкнулась над мной, засверкали отблесками солнца окна уступчатых домов, когти медведя застучали по белым плитам улицы.

Я остановил повозку у высокого и тяжелого, как пирамида, мрачноватого здания из черно-красного камня. По широкой лестнице между квадратных, суженных кверху колонн, доходивших только до трети высоты дома, спешили, спускаясь и поднимаясь, многочисленные инженеры и чиновники в черных и красных тогах и круглых шапочках.

Я долго не мог отыскать места, чтобы поставить мою

повозку. Дважды меня отгонял солдат в белом яйцевидном шлеме и в серебристой широкой куртке с толстым воротником, закрывающим шею и низ лица. Он лениво ругал меня «темной деревенщиной» и даже намеревался избить меня дубинкой, но потом, узнав, что я из соарских краев, значит его земляк, смиловился и разрешил привязать медведя у стоянки наземных экипажей.

Мою кузину Шохихи я не без труда отыскал на восьмом этаже здания Верховного совета инженеров. Марсводхоз, где она состояла секретаршей инженера, был в те дни организацией незаметной, бедной и, можно сказать, бесперспективной. В титанической борьбе, что кипела в вышних эшелонах власти, Марсводхоз участвовать не смел, перебиваясь мелкими заказами.

Кузина Шохихи обрадовалась, когда я стал вынимать из мешка дары сельской жизни — фрукты и ранние овощи, которыми в том году, хоть и скудно, нас одаривали боги. Затем я объяснил кузине цель моего прихода.

Кузина моя, несмотря на молодость, была бойка и умела устроиваться в жизни, иначе как объяснишь тот факт, что она, единственная из нашей волости, пробилась в Верховный совет инженеров?

После недолгого размышления Шохихи велела мне ждать, а сама скрылась за массивной дверью. Возвратилась она через три минуты и с лукавой улыбкой велела мне войти в кабинет.

Разумеется, я оробел. Мне еще никогда в жизни не приходилось входить в обиталище столь важной персоны.

За каменным столом восседал худой человек в высокой зеленой шляпе, что свидетельствовало о его принадлежности к Марсводхозу. Он улыбнулся мне тонкими губами и спросил:

— Зачем пожаловал, поселянин?

Я быстро опорожнил мешок, выложив на стол те овощи и фрукты, что остались после подарков кузине. Начальник не возражал, он поглядывал на меня, не переставая улыбаться.

— Вижу, — сказал он наконец, — что проблема твоя мала, как малы твои деревенские подарки.

— Воистину, — согласился я.

— Он хороший, хоть и простой человек,— сказала от двери моя кузина.

— Вижу,— согласился худой инженер, которого, как я впоследствии узнал, звали Лецатлом.

Он ждал.

— Колодец в нашей деревне,— сказал я, униженно пряча взор,— скоро совсем усохнет. Вода уходит все глубже. Плохо марсианскому крестьянину.

— Знаю,— тяжело вздохнул Лецатл.— История Марса завершается. Жизнь вымирает на нашей планете. Пройдет несколько столетий, и последний марсианин застывающим взором в последний раз проводит закат солнца.

Инженер Лецатл вздохнул.

Я был потрясен его словами. У нас в деревне никогда не думали о судьбах Марса. Мы полагали, что существующий порядок вечен, и к рассказам о волнениях в городах и даже о войнах относились равнодушно. Пускай городские дышат дымом хавры и летают на полотняных птицах — не наше это дело.

— Подумай, темный крестьянин,— продолжал Лецатл.— Как я могу поднять уровень воды в твоём колодце? Может, ты полагаешь, что я буду таскать туда воду в кожаных ведрах?

Моя кузина хихикнула, а я подумал, что пропали зазря овощи и фрукты, которые мы собирали со всей деревни.

И тут стена справа от меня раздвинулась, и в кабинет Лецатла вошел другой инженер, потолще, сам главный инженер Марсводхоза Таскаб, лишь недавно назначенный на должность и желающий себя показать.

— Я услышал случайно ваш разговор,— сказал он высоким скрипучим голосом.

Лецатл вскочил из-за стола. Кузина пала на колени. Я последовал ее примеру, потому что каждый крестьянин знает, что лучше лишний раз упасть в пыль, чем получить палкой по голове.

— Я услышал и подивился твоей ограниченности, Лецатл,— сказал Таскаб.— Может быть, визит этого темного поселянина — знак небесного благоволения. Разве ты не знаешь, что Марсводхоз намереваются прикрыть, считая, что от нас нет пользы? А если прикроют Марсводхоз, куда

ты пойдешь, уважаемый Лецатл? Может, ты хочешь присоединиться к городской черни?

— Но я не вижу связи, великий Таскаб, между моей судьбой и судьбой поселянина,— смутился Лецатл.

— Когда народу плохо,— ответил его начальник,— куда идет народ за помощью? Он идет в Марсводхоз.

— Но мы не можем рыть колодцы! — возразил Лецатл.— У нас нет для этого средств и техники.

— Ну что ж ты мелочишься, мой глупый Лецатл?— сказал ему начальник, подошел к столу, выбрал самое зрелое яблоко из принесенных мною и надкусил его.— При чем тут колодцы? Мы проведем канал к деревне нашего друга, проведем его от реки Лиазы и напоим страждущие поля.

— На это нам не выделяют ассигнований!

— Замолчи! Мне надоело тебя слушать! Народ требует, а мы с тобой кто? Мы — слуги марсианского народа!

— Простите, великий инженер,— вмешался я,— нам совсем не нужен канал. Нам бы воды в колодец...

— Почему вам не нужен канал? — строго спросил Таскаб.

— Канал будут строить много лет, а когда его построят, наши поля уже высохнут, и нам придется переселяться в другое место.

— Ты видишь только свою деревню,— сказал главный инженер.— Думай обо всей волости. Ты представляешь, как повысятся урожаи, когда целая река придет в твои края?

— Это, конечно, хорошо...

— Твои дети будут купаться в реке, ты будешь умываться каждое утро!

— Мы, марсиане, к этому не привыкли. Часто мыться вредно.

Но главный инженер меня уже не слушал. Он обернулся к кухне Шохихи и сказал:

— Неси сюда чистый свиток и палочки для письма. Я буду диктовать тебе письмо в Совет инженеров!

Я не верил своим ушам! Мой скромный визит вызвал к жизни столь важный документ. В своем письме в Совет инженеров Таскаб сообщил, что народ Марса, в первую очередь жители волости Соар, а также долины Азоры, тре-

буют немедленно провести канал, чтобы спасти их от засухи и голодной смерти. Конечно же, смерть нам не грозила, да и жители плодородной долины Азоры не нуждались в каналах, но письмо Таскаба в Совет инженеров звучало столь тревожно и убедительно, что у меня на глаза навернулись слезы.

Когда я возвратился в деревню, в мою хижину собрались односельчане.

— Ну что, починят нам колодец?— спросил старейшина деревни.

— Бери выше,— сказал я, чувствуя себя причастным к великим решениям столицы,— к нам проведут настоящий канал. Наши дети будут в нем купаться, а воды будет столько, что у каждого дома мы устроим бассейн.

Соседи покачали головами, не поверили мне. Не поверили они и газете, в которой вскоре было напечатано, что для того, чтобы покончить с нехваткой воды в предгорьях Соара, решено построить специальный канал от реки до хребта.

Канал строили четыре года. Трудно приходилось Марсводхозу. Опыта не было, к тому же ставили палки в колеса завистливые конкуренты и высоколобые из Совета знаний, утверждавшие, что воды на Марсе и без того недостаточно. Зачем же тратить ее столь неразумно?

Но вот, наконец, когда крестьян в нашей деревне уменьшилось вдвое — поля наши уже не могли прокормить всех едоков,— канал добрался до высохшего колодца. Он прорезал своим широким ложем всю долину Азоры, поглотив поля и виноградники, стоимость его оказалась в шестнадцать раз больше проектной, а рабочих на строительстве померло видимо-невидимо. Но так как Марсводхоз думал лишь о счастье простых людей, строительство было завершено.

В ночь двойного полнолуния, за мной прислали из Соацеры специальную воздушную лодку. В ней прилетела моя кузина Шохихи, в новой шубе из лапок песчаных крыс.

— Кузен!— воскликнула она, подбегая к моей покосившейся хижине, что стояла над откосом канала.— Ты включен в комиссию по открытию канала, как представитель народа. Одевайся!

— О, Шохихи,— ответил я.— Мы так обеднели, пока

ждали воды, что я был вынужден продать все свои накидки и плащи. Да что я — посмотри, мои соседи тоже ходят в рубище, а то и голышом.

— Ничего,— ответила Шохихи, бросив взгляд на собравшихся соседей.— Мы выдадим тебе одежду из фондов Марсводхоза. А когда придет Большая вода, вы все разбогатеете и купите серебряные плащи.

На следующее утро, получивши казенный плащ, который был мне велик и волочился по полу большой воздушной лодки, я был представлен важным инженерам, что собрались на борту этого экипажа. Начальство, облаченное в серебряные и черные плащи, в различного рода головных уборах, улыбалось мне и поздравляло в моем лице марсианских земледельцев, о которых оно так славно позаботилось.

Лодка легко поднялась в воздух над окраиной Соацеры, там, где река Лиаза протекала по соседству с монументом Магацитла. По знаку, сделанному самим Таскабом, раскрылись могучие бронзовые врата, и воды реки хлынули в широкое ложе канала, гоня перед собой пыль и остатки забытой в канале техники.

Лодка летела невысоко, следуя за валом воды, стремившейся по каналу. Жители окрестных деревень сбегались, чтобы полюбоваться зрелищем. Среди крестьян я угадывал чинов Марсводхоза, которые подсказывали, когда поднимать руки и ликовать. Рядом со мной стояли Таскаб и инженер Лецатл. Они тихо переговаривались, не обращая на меня внимания, как не обращают внимания на сенную мышь.

— Сейчас наступит момент,— сказал Таскаб,— чтобы утвердить объемы работ на будущий год в десятикратном размере.

— Совет инженеров приятно поражен,— заметил Лецатл.

— Еще бы! Всюду разруха, только мы добиваемся успеха.

Они обернулись к Великим инженерам, которые стояли у борта воздушной лодки, с улыбками наблюдая за тем, как волна, катившаяся по каналу, смывает с берегов остатки разрезанных им полей, и несет, несет вверх мусор и труху. Затем корабль повернул обратно, чтобы успеть к банкету.

До нашей деревни вода в тот день не дошла. Инженеры

сказали, что так и надо, но вскоре в долине будет сооружена дополнительная насосная станция, там, где последние капли воды впитывались в темный песок.

На банкете меня кормили рядом с инженерами. Потом вследи прочесть тост. Текст на золотом свитке дала мне Шохихи. Буквы были большие, и я прочел почти без запинок. Затем, уже пешком, я вернулся в деревню.

Огромную насосную станцию построили на нашем канале еще через три года. К тому времени в нашей деревне осталось лишь пять домов, а воду мы возили из долины Азоры в бочках. Черпали ее из того огромного солоноватого болота, что образовалось за насосной станцией, поглотив большую часть некогда плодородных полей. Большинство жителей долины переселились в город и превратились в курильщиков хавры.

К сожалению, насосной станции было нечего качать. И тогда возник великолепный план, должный решить заодно и проблему снабжения столицы водой, так как сильно обмелевшая Лиаза уже неспособна была напоить город. Четверть государственного бюджета была выделена на то, чтобы провести канал от северной полярной шапки Марса к истокам Лиазы. Канал должен был достичь длины в тысячу дневных переходов, иметь на своем пути множество насосных станций и водохранилищ.

...Я попал в Соацеру в надежде добыть там бочку для воды. Наша прохудилась. Мучаясь от жары и пыли, я обошел весь город, но ни в одной лавке бочек не отыскал, так что пришлось брести в Марсводхоз, чтобы попытаться увидеть мою дорогую Шохихи.

Марсводхоз к тому времени отделился от Совета инженеров и построил в центре Соацеры на площади Атлантиды черный небоскреб, в котором трудились тысячи чертежников и инженеров. Летающие лодки и воздушные шары сотнями опускались на плоскую крышу небоскреба.

Меня долго не пропускали в здание. Я пытался доказать у входа, что я и есть первый простолудин, который вызвал возвышение Марсводхоза, но меня, глядя на мои жалкие одежды, лишь поднимали на смех.

И все же мне повезло. В тот момент, когда меня, пиная остроносые башмаками, вытаскивали из громадного не-

фритового холла, мой отчаявшийся взор упал на большую мраморную статую, что возвышалась у стены. Статуя изображала марсианина в сельской тоге с кожаным ведром в руке. Черты лица марсианина показались мне знакомыми.

— Стойте! — закричал я пронзительным голосом. — Прочтите, невежественные солдаты, надпись под этой статуей!

Некоторые из солдат засмеялись, но начальник караула смиротворился и прочел буквы, выбитые на постаменте:

«Тебе, простой марсианин, наш труд и наши достижения!»

— Это же мой памятник! — кричал я. — Это памятник мне!

Солдаты растерялись, ибо не ожидали такого поворота событий, а начальник караула, хоть и не угадавший сходства между мной и мраморной статуей, на всякий случай велел меня отпустить и позвонил наверх к Шохихи. Та, узнав в чем дело, приказала пропустить меня.

Я еще раз взглянул на мраморную статую и, погрозив пальцем солдатам, поднялся на лифте на сороковой этаж, где находился кабинет моей кузины. Она страшно растолстела и стала главным секретарем и первой наложницей Верховного инженера Таскаба.

Кузина встретила меня очень мило, расспросила о жизни в нашей деревне и огорчилась, узнав о ее бедственном положении. Потом она напоила меня настоем горных трав и показала большую карту Марса, висевшую на стене кабинета господина Таскаба, который в тот день отсутствовал, так как повез правительственную комиссию на южный полюс.

Вид моего родного Марса меня поразил. Ведь я учился целый год в школе и там тоже была карта. Но как разительно она отличалась от марсводхозовской! На последней вся планета была исчерчена прямыми полосами, которые, пересекаясь, образовывали водохранилища и озера.

— Любуешься? — сказал инженер Лецатл, входя в кабинет. — Впечатляет?

Он еще больше похудел, но одет был богато.

— Очень рад, — произнес я, опускаясь на колени и целуя край плаща великого инженера. — Но скажите мне, о инженер, почему нужно перекопать весь наш Марс?

— Чтобы его спасти,— сказал инженер.
— А как же раньше?
— Раньше? Раньше не было каналов, и народ был несчастлив.

— Когда как,— вздохнул я.

— Серость неблагодарная! Неужели ты забыл, как наш первый канал напоил твою деревню?

— До нас-то вода так и не дошла,— вздохнул я.

— Это частность,— нахмурился инженер.— Мы думали о главном. Нам удалось спасти от засухи долину Азоры.

— Но, великий господин...

— Молчи. Правда, пришлось пожертвовать рекой, которая ранее питала водой Соацеру. Наша столица поделилась водой с народом.

Я поклонился, потрясенный подвигом нашей столицы.

— Но мы не могли оставить без воды тех честных тружеников, что обитают в главном городе Марса,— продолжал Лецатл.— И потому начали колоссальные работы по перекачке воды с северной снежной шапки. Несколько лет вся страна в гротом напряжении ковала светлое будущее. Вместо телевизоров заводы выпускали землечерпалки, вместо летающих лодок — лопаты.

— Ах, какой энтузиазм! — поддержала инженера моя кузина.

— Позвольте задать глупый вопрос,— сказал я.— Зачем же выпускать землечерпалки, если канал уже построен?

— Канал построен,— снисходительно усмехнулся Лецатл.— Но дело наше не закончено. Сегодня Марсводхоз стал самой главной организацией Марса, на него вся надежда...

— А если его не станет?

— Ах, какой ты темный,— вздохнула кузина.

— Куда же вы денете миллионы рабочих,— рассердился Лецатл,— которые роют каналы? Куда вы спрячете тысячи машин, что сделаны по нашим заказам? Что будут делать наши проектные институты и управления? Что?

Инженер Лецатл гневался, и я отступил в сторону, боясь, что он меня убьет. Но тут красный бог пустыни потянул меня за дурацкий язык.

— Значит, вы работаете для себя?— спросил мой язык.

Клянусь, что я к этому вопросу не имел отношения. Так что побои, которые обрушил на меня Лецатл, были незаслуженными.

Уморившись колотить меня, инженер воскликнул:

— О нет! Мы не эгоисты, мы не палачи Марса, мы не преступники, как утверждает некий так называемый эколог...

Тут Лецатл в негодовании плюнул, моя кузина тоже плюнула, и я, чтобы не отставать от образованных людей, плюнул вслед за ними.

Лецатл несколько успокоился. Он подошел к окну и, глядя на равнины Марса, открывшиеся его взору, тихо сказал:

— Все не так просто. Когда мы взяли воду из северной полярной шапки, по всей планете стало меньше дождей. И чем лучше работал наш главный канал, тем сильнее свирепствовали засухи. Да, вода в столицу поступала. Но высохли окружающие поля, и некому стало кормить город.

— Надо было тут же закрыть канал! — сказал я.

— Это было бы капитуляцией! Мы сделали лучше. Мы протянули еще более грандиозные каналы от южной полярной области.

Инженер Лецатл подошел к карте Марса и включил бегущие огоньки, чтобы показать мне, какие каналы уже несут живительную влагу на поля, а какие еще строятся. Это было чудесное зрелище, и оно меня порадовало.

— Значит, теперь с сельским хозяйством хорошо? — спросил я.

— Скоро будет хорошо, — твердо ответил инженер. — Правда, основные резервы снега на полярных шапках истощены и дожди на всей планете прекратились.

— Это я чувствую всей кожей, о великий, — согласился я. — Но куда девается вода? Ведь раньше ее не было только в моем колодце?

— Воду поглощают пески, вода разливается, просачивается, даже разворовывается. Ты не представляешь, какое на Марсе идет вредительство!

— Всех бы расстрелять, — заметила моя кузина.

— А безответственность некоторых рядовых строите-

лей?— продолжал Лецатл.— А плохое качество строительной техники? А нехватка материалов? Об этом ты подумал?

— Нет, не подумал,— сказал я.

— Всех расстрелять,— сказала Шохихи.

— Так что сейчас мы приступили к суперканалу,— сказал Лецатл.— Он соединит тремя линиями северный и южный полюса и наладит нормальный баланс воды на планете. И тогда все будет хорошо.

Лецатл замолчал.

— Великий инженер,— сказал я.— Нельзя ли для нашей деревни достать новую бочку? Нам не в чем возить воду из болота, в которое превратилась долина Азора.

— Вон отсюда! — закричал инженер.— Чтобы я тебя больше не видел! Своим разговором о бочках ты подрываешь великую идею! Я тебе целый час говорил о достижениях, а ты ответил мне черной неблагодарностью.

— Тебя надо расстрелять,— сказала моя добрая кузина.

Чтобы они не успели привести в исполнение эту угрозу, я убежал по лестнице с сорокового этажа.

На улице, как всегда, ярко светило солнце. Когда я брел обратно в деревню, задыхаясь от жары и мучимый жаждой, то увидел, как на пустыре у памятника Магацитлу расстреливали саботажников. Среди них было несколько экологов в лиловых тогах и высоких шапках.

На дне канала, того самого, первого и знаменитого, который должен был заменить мой колодец, стояла желтая тина.

В деревне я никого не нашел. Люди ушли.

Без бочек я не мог возить воду из болота, да и вода была там вонючая. Чтобы не помереть с голода, я перебрался в горы и там в узком ущелье отыскал небольшой родник, возле которого я с тех пор и живу. Родник с каждым месяцем скудеет. Не знаю, кто из нас иссякнет раньше...

Уже пять лет я не видел ни одной живой души. Если раньше над головой иногда пролетали воздушные лодки, теперь небо опустело. Вчера мне приснилось, что я поднимаюсь над Марсом на большой птице. И вижу, что он весь изрезан широкими высохшими каналами. И ни одной души... Лишь где-то возле северного полюса последние инженеры из Марсводхоза строят свой последний канал.

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДОМИНО

Маленькие смерчки катались по пыльной улице, долетали до мощных лип у входа в парк и рассыпались бесследно. Ветер был горячим, бюро прогнозов намекало, что он пришел из Африки в составе циклона.

Корнелий Удалов отбегал от смерчков, жался к штакетнику. Саша Грубин шагал прямо, смерчам не кланялся, а только отмахивался от них, если вставали на пути.

— Опасаюсь,— говорил Удалов.— Горюхин подведет. От хорошего удара стол пойдет в сторону.

— Разберемся,— говорил Грубин.— Убедим.

Над их головами репродуктор рассказывал о больших потерях обеих сторон в клубийско-варийской войне, которая достигла опасного накала.

— Мы не можем ударить в грязь,— говорил Удалов. Он волновался. Он снял кепочку и вытер ею лысину.— Двенадцать команд. Лучшие таланты района — что они подумают об организаторах?

— Разберемся,— отвечал Грубин.

Они вошли в парк, сразу стало прохладней, ветер унялся.

Впереди слышались глухие удары.

Аллея некоторое время шла по берегу реки, и от реки шел кислый запах — фабрики и заводы вышестоящих городов спускали туда лишние отходы.

На поляне возле эстрады для танцев работал паровой молот.

Перед ним лежали на земле деревянные просмоленные сваи длиной метров по шесть.

Некоторые уже были вбиты в землю так, что наружу торчали лишь столбы в метр высотой.

Паровой молот замер. Стало тихо.

— Иваныч! — крикнул из кабины усатый молодец Горюхин. — Земля. Порода плотная идет. Пересчитывай коэффициент.

— Вот, — сказал Удалов Грубину, подходя к ближайшему столбу и пытаясь пошевелить его. — Не доверяю я Горюхину.

Грубин тоже потрогал столб. Потом два других, что были вбиты в землю рядом.

— Один бы не выдержал, — сказал он. — По четырем удар распределится.

— Ты забыл, как забивает Драконов из Потьмы? Его удар в области знают! Он на прошлых поселковых играх стальной лист прошиб. Рассматривают вопрос, чтобы ему играть в боксерских перчатках.

— А он?

— Отказывается. Как ты кости в перчатках удержишь?

Горюхину обещали премиальные, но удаловские сомнения не рассеялись. Он боялся ударить в грязь лицом перед гостями из дальних пределов Гуслярского района.

Доски с пилорамы еще не привезли. Доски будут двухдюймовые, поверх них — стальной лист.

На полу танцевальной эстрады местный художник делал плакат: «Привет участникам всерайонных соревнований по домино!» Буквы были метровые — плакату висеть на центральной площади.

Удалов постоял за спиной художника. Налетел ветер, стал рвать концы фанерного щита, пришлось зевакам, которых набралось немало, сесть на углы и держать их.

Пошел снег. Сразу похолодало. Видно, африканский циклон сменился циклоном из Норвегии. Так уже было на прошлой неделе.

— Если климатические условия будут неблагоприятные, — сказал Грубин и задумчиво запустил пятерню в буйную шевелюру, — надо искать резервный вариант.

Они подошли к трибунам, которые сколачивали плотники.

— Может, сделаем навес? — спросил Удалов.

— Ассигнований не выбить,— заметил Грубин.

— А если всенародную подписку?

— Уже две провели. Народ устал. И времени до завтра не осталось.

— Обойдемся,— сказал тогда Удалов.— У нас всегда обходится.

Крупные хлопья снега пригибали к земле траву. Один из пыльных смерчей, странным образом прорвавшись сквозь стену деревьев, выскочил на поляну и перевернул фанерный лист с лозунгом, разметав по сторонам художника и зевак. Художник ругался. Краска текла по доскам.

— Возьми себя в руки,— посоветовал художнику Удалов.

Они с Грубиным, пригибаясь, чтобы не снесло ветром, поспешили дальше, к летней читальне, где ждали команды и приближенные болельщики.

Все сидели за столиками. Удалов прошел вперед и обернулся.

Вот они — соратники, бойцы, закаленные, с мозолистыми ладонями, острым взглядом, умением считать до ста и далее, знатоки дебютов и эндшпилей, известные мастера «рыбы».

— Столы будут в срок,— объявил Удалов.

За окнами стемнело. Надвинулся неожиданный буран. По стеклам колотило снегом, градом и мелкими камнями, что ветер поднял в Кызыл-Кумах.

— Включить свет,— сказал Удалов, перекрывая аплодисменты.

Свет не загорался — провода были оборваны. Звенели, рассыпаясь, стекла.

Никто не покинул зал.

— Получены заявки двенадцати команд!— кричал Удалов, перекрывая грохот бури.— В большинстве они не страшны. Но нельзя скидывать со счетов Драконова и Змиева из Потьмы.

Раздался свист болельщиков, сильнее свиста ветра.

— Но обе наши команды,— продолжал Удалов,— мы с Грубиным.

Аплодисменты.

— И Ложкин с Погосяном.

Бурные аплодисменты.

— Готовы и не страшимся.

Гром аплодисментов.

Обратно они возвращались под проливным дождем. Было тепло. С неба изредка падали лягушки. Барометр, что уже сто лет висел на базарной площади, лежал в грязи — он упал так низко, что свалился со столба.

— Природа нам сильно мешает,— сказал Грубин.

— Природу будем игнорировать,— сказал Удалов.— Нам некогда отвлекаться. За деталями опасно забыть о большом.

Когда Удалов пришел домой, там царило плохое настроение.

Виновато было телевидение. Оно сообщило, что отступающие клубийские войска нанесли атомный удар по варийской столице. Есть многочисленные жертвы. Радиоактивное облако распространяется в сторону Европы.

Удалов искренне посочувствовал варийцам. Но главная проблема была в том, что горкоммунхоз мог выделить лишь тринадцать номеров в гостинице «Гусь». Два двухместных, остальные четырехместные. Можно поставить еще несколько раскладушек. Все равно болельщикам и гостям не хватит. Они съедутся из Глубокого Яра, из Муравьев и из Матейки.

Пришел пенсионер Ложкин, он был не в форме — мучило давление. Удалов ему объяснил, что в такой момент преступно думать о здоровье. Старик возражал, ссылаясь на сообщение газет о том, что слой ионосферы над Антарктидой совершенно истощился и космические лучи беспрепятственно достигают Земли, губя флору и фауну. Удалов доступно объяснил, что с ионосферой справятся ответственные международные организации. У нас другие задачи. Впервые за всю историю Великого Гусляра городской команде брезжит надежда стать чемпионами района. Ложкин был сражен и пошел к себе кушать валидол.

Бывает, судьба ополчается на идею. Об этом написано в биографиях великих людей. Но сила духа состоит именно в том, чтобы провести четкую грань между важным и не важным, принципиальным и мелочами, основной целью и боковыми проулками.

Взмокший, еле живой велосипедист из Глубокого Яра постучал в дверь Удалова в десятом часу ночи. Он сообщил, что переполненная промышленными отходами речка Коровка залила поселок, отрезав его от цивилизации. Отбытие команды Глубокого Яра на соревнования — под угрозой. Команда сидит на крыше клуба, держа над головой шкатулки с фирменными костяшками. Удалов обещал с утра послать к Глубокому Яру буксир. Обнадеженный велосипедист укатил в ночь. Он был из породы скромных героев.

Удалов не спал. На столе приглушенно бормотал приемник. Удалов не выключал его, потому что надеялся, что радио сообщит о соревнованиях. Радио говорило о заносах на Гавайских островах и заседании ООН. С клубийско-варийского фронта новых сообщений не было, лишь спутники уловили еще ряд ядерных вспышек. В конце новостей представитель бюро прогнозов попросил прощения у слушателей, так как предсказать погоду на завтра не сможет. О соревнованиях — ни слова.

К трем часам ночи началось землетрясение. Оно было несильным, но длительным. Многие в городе проснулись. Удалов беспокоился, как переносит его Ложкин.

В семь утра Удалов пошел через город к Синюшину. Тот играл в домино еще в период первых пятилеток и скрывал дома ценные дебютные заготовки. Удалов рассчитывал, что сейчас, в решающий в жизни Великого Гусляра момент, пенсионер пойдет навстречу.

Удалов добирался до цели более часа. За ночь в некоторых местах намело барханы песка, в других — сугробы. День все не начинался, деревья стояли голые, возле них вороха листвы.

Синюшин долго не открывал — он отсиживался в подвале.

Он был закутан в одеяла, поверх них — покрывало, сшитое из пластиковых мешков. Удалов напомнил, зачем пришел. Сказал, что присутствие Синюшина на открытии игр — обязательно. Старик рассердился и побрел обратно в подвал.

Удалов спустился за ним.

— Эвакуация скоро будет? — спросил старик.

— Об этом потом,— сказал Удалов.— Где дебютные заготовки? Без них Драконова—Змиева не свалить.

Старик не понял. Ему хотелось узнать про ядерную зиму. Удалов держал себя в руках. Главное было не рассердить старика.

Когда старик выбился из сил, Удалов отнес его на руках наверх, к заветному сундуку. Старик сдался.

Обратный путь домой занял два часа, потому что упали многие деревья и телеграфные столбы. Пришлось перебираться через опрокинутый бурей автобус. Радиоактивное небо светилось зеленым.

Удалова беспокоило, доберутся ли люди из Матейки — дорога туда проселочная. Может, послать навстречу трактор?

Пока Удалов переодевался и искал галстук, к нему поднялся Грубин. Грубин был при полном параде. Сзади на пиджаке было пришито: «Грубин № 2, Великий Гусляр». Грубин сообщил, что Ложкин плох, но готов сражаться. Они положили Ложкина на раскладушку и понесли. Ложкин прижимал к груди дебютные заготовки Синюшина.

По дороге остановились у гостиницы. В гостинице было пусто. Администратор исчез. Прошли по номерам. В некоторых еще были целы стекла.

Из одного номера доносился слабый крик. Когда отгребли песок от двери, нашли там болельщика из Потьмы.

Вышли на улицу. Похолодало. Откопали раскладушку. Ложкин окоченел. Пришлось растирать снегом. Удалов страшно волновался: надвигался момент открытия, а неизвестно, где оркестр. К тому же предстояло разместить на трибунах почетных гостей.

На базарной площади образовалась гора. Земля вздрагивала и шевелилась. Ложкина пришлось переносить через трещину неизвестной глубины.

Уже возле парка догнали оркестр. Это были настоящие музыканты и болельщики. От оркестра осталась скрипка и литавры. Дальше шли, держась друг за друга. Совсем стемнело, и с неба срывались метеориты.

Настроение было приподнятое. Хотелось петь и смеяться.

Удалов был почти убежден, что команду Драконова—Змиева они одолеют.

По парку идти было трудно, потому что большая часть деревьев уже упала. Раскладушку бросили. Поддерживаемый товарищами и величием момента, Ложкин брел сам.

У поляны их встретил Погосян, могучий человек, напарник Ложкина. Надпись на его спине оторвалась и металась под ветром, как белый флаг.

— Доложи,— попросил Удалов.

— Болельщики раскапывают столы,— сказал Погосян.— Хорошо, что оркестр привели.

К тому времени от оркестра остались только литавры, скрипку потеряли в буреломе.

— Драконов прибыл?— спросил Удалов.

— И Змиев тоже,— ответил Погосян.— У Змиева сломана рука.

— Надеюсь, не правая?

— Нет, левая, все в порядке. Какие новости в городе?

— В городе все в порядке. Город живет ожиданием матча,— ответил Удалов.

Буря стихла. Выглянуло багровое солнце.

Природа переводила дух.

Болельщики, их набралось не больше дюжины, хотя Удалов рассчитывал на большее, уже прокопали в снегу и грязи траншеи к столу. Стол понадобился один, как оказалось, команды из Матейки и Глубокого Яра прибыть не успели. Может, придут позже.

Команды сели так: Ложкин напротив Погосяна, Драконов против Змиева. У Змиева левая рука была в лубках, он морщился от боли, но в глазах горел огонь. Драконов был, как всегда, мрачен и уверен в себе.

Удалов судил первую партию. Грубин ему ассистировал.

Решили, что победители будут сражаться с парой Грубин—Удалов.

Багровое солнце смотрело сверху.

Расклад оказался удачным для Ложкина.

Он ударил по столу первым.

Ледниковый щит Гренландии сполз на юг, и Атланти-

ческий океан хлынул на сушу. Луна сорвалась с орбиты и быстро пошла в открытый космос.

Погосяну пришлось пропустить ход. Драконов так рубанул по столу дублем тройки, что шестиметровая свая ушла сантиметров на десять в землю. Болельщик из Матейки кричал «Ура!» Он болел за Драконова.

Густой зеленоватый туман окутал эту сцену.

Партия шла к концу, но исход ее все еще был неясен.

К сожалению, небольшой вулкан, проснувшийся именно в районе парка, неожиданно взорвался. Сваи, игроки и судьи полетели в разные стороны.

Удалов очнулся на берегу моря — соленые валы били в берег. Атлантический океан добрался до Великого Гусляра.

Удалов помог подняться Драконову.

Они отступали от моря, стараясь не попасть под извержение вулкана.

— Доиграем завтра, — улыбнулся Удалов.

— Я расклад помню, — сказал Драконов. — У меня все записано.

И они пошли искать соратников.

ПОСЛЕДНИЕ СТО МИНУТ

Я не выспался. Я спал на балконе, на раскладушке, там было чуть прохладнее, но грохотал гром, всю ночь вспыхивали молнии — будто кто-то входил ко мне, включал ослепительный свет над головой, а потом, не извинившись, уходил, потушив свет и оглушительно хлопнув дверью. И донимали комары, городские, мелкие, беззвучные, озлобленные, что совокупляются в мокрых подвалах и плодят таких же, мелких и подлых.

Я дремал, просыпался; мне казалось, что я совсем не сплю, хотя я, конечно, сколько-то спал.

Встал я в семь, начал собираться, формула «возьмите с собой только самое необходимое» вчера не казалась столь невыполнимой. Я принялся складывать самое необходимое на пол в комнате, чтобы потом отобрать из самого необходимого самое-самое необходимое. Процесс этот был длительным и очень печальным, потому что мне все время встречались вещи, которые нельзя было назвать необходимыми, но без которых существование теряло смысл.

Я стоял над грудой необходимых предметов, когда начал звонить телефон. Это было сразу после восьми.

— Прости,— сказал Булыгин, не поздоровавшись,— ты сегодня будешь в конторе?

— Не знаю. А что?

— У меня гипертонический криз. Не могу выйти на улицу. Но если я сегодня не заплачу за водопровод в дачном кооперативе, меня лишат. У тебя есть полторы сотни?

— Но я сегодня, наверное, не буду...

— Постарайся, Сережа. Мне очень нужно. Найдешь Каца и отдашь, полторы сотни, запомнил?

— Запомнил.

Я повесил трубку и утешил себя тем, кто Булыгин уже позвонил с той же целью еще пятерым сослуживцам.

Я вернулся к груде абсолютно необходимых вещей и положил рядом с ней дорожную сумку.

Уже в половине девятого температура была тридцать три градуса. Жара держалась уже двадцать пятый день. И это в мае!

Я включил телевизор.

Скучный японский профессор рассказывал о необратимости парникового эффекта. Я принялся раскладывать необходимые вещи на две кучи.

Затем отечественный профессор, куда веселее и жизнеспособнее японского, комментировал речь коллеги, обвинил его в пессимизме и сообщил, что меры принимаются. Потом девица с красными волосами начала петь и припрыгивать. Наверное, это была старая запись. В Москве уже две недели никто не припрыгивает.

Я пошел в душ — все равно проблему необходимых вещей мне не решить.

Тут же меня догнал звонок телефона. Я вернулся. Сопровождение у Филимоненко состоится во вторник, в три часа, сказала секретарша Леночка.

Я согласился. Я не стал говорить ей, что во вторник меня уже не будет в Москве.

Я включил душ. Сквозь шум тепловатой воды донесся телефонный звонок. Мокрый, но не освеженный, я кинулся к телефону. Боба сказал, что умерла его тетя. Я эту тетю никогда в жизни не видел, но завтра будет вынос тела и надо помочь нести гроб. Я сказал Бобе, что меня не будет в Москве, но Боба не поверил и обиделся.

Я вернулся в душ. Снова зазвонил телефон. Междугородний. Это был Мирошниченко. Было плохо слышно, но я понял, что с поездами из Харькова произошла заминка и потому он не смог достать билета. Так что я должен ждать его через две недели. Я согласился ждать.

Доктор позвонил ровно в десять. К тому времени я успел поговорить с двенадцатью знакомыми и малознако-

мыми. Градусник за окном показывал тридцать восемь — температура поднималась катастрофически, как и предсказывал доктор еще на той неделе.

Доктор спросил:

— Вы готовы?

— Почти.

— Почему такой голос? Плохо спали?

— Плохо. Но это понятно.

— Разумеется, нервы?

— Нет, очень жарко.

— Я вам завидую. Если вы не лжете, то, значит, вы умеете владеть собой. Теперь слушайте меня внимательно. Сейчас десять часов, три минуты. Через сто минут я жду вас на пустыре за гастрономом. Знаете?

— За стекляшкой?

— Да. Там забор, но в нем много отверстий, сделанных пьяницами. Сегодня суббота, на пустыре никого не должно быть.

— Через сто минут?— Мозги были совсем жидкими, и меня охватило вялое раздражение против его манеры изъясняться не по-человечески. Сто минут. Значит, во сколько мне надо быть на пустыре?

— Значит, на пустыре вы должны быть в одиннадцать сорок три. Ни минутой позже. Ни минутой! Мы не можем ждать.

— Я понимаю,— сказал я.

— Надеюсь, вы уже уложили вещи?

— А можно взять вторую смену?

— Ни в коем случае. Вес вашей сумки не должен превышать пять килограммов триста граммов.

Доктор отключился.

Я подумал, что у меня достаточно времени, чтобы еще раз залезть под душ. Но не дошел до душа. Снова позвонил телефон, и я решил было не подходить к нему, потому что после разговора с доктором окончательно понял, что завтра меня в Москве не будет, но потом все же подошел — в последний раз.

Звонила Ольга. Она очень удивилась, что я так рано встал, хотя я всегда рано встаю. Оказывается, она не хоте-

ла меня будить. Потом она спросила, как я себя чувствую, и я честно признался, что чувствую себя паршиво.

— Все себя чувствуют паршиво,— сказала Ольга.— Ты не представляешь — я сейчас говорю с тобой, а вся потная, словно камни таскала. Когда это кончится?

— Не знаю,— сказал я.— Может быть, никогда.

— Ой, не надо меня пугать! Меня все пугают — и телевизор и даже ЖЭК. У нас горячей воды нет.

— А разве сейчас бывает другая?

Она не поняла юмора и сказала:

— Я в принципе согласна на горячую воду, потому что ее можно охладить. Ты меня понимаешь?

— А что звонишь?— спросил я, поглядев на часы и поняв, что семь минут из отведенных мне ста я уже истратил.

— Вопрос сексуальный,— сказала Ольга.— Конечно, при такой температуре думать о сексе неприлично, но женщина должна устраивать свое личное счастье. Как ты думаешь, Андрюша не импотент?

— Что?

— Манихсева мне сказала, что она точно знает от его прошлой любовницы, что он практически импотент...

Когда я смог повесить трубку, оказалось, что потрачено пятнадцать минут.

И тут же телефон взвыл снова. Он требовал меня, он желал общаться.

Я протянул руку к аппарату и тут осознал, что я не только сто минут — я могу всю свою жизнь провести у телефона.

Я законопослушный человек и не люблю бить чашки. Но осознание катастрофы вошло в меня в этот момент так глубоко, что я осторожно и медленно поднял телефон на уровень плеч и с наслаждением мальчишки, который ломает дорогую игрушку, швырнул его на пол. От телефона отлетели какие-то куски, он весь стал плоский, но тут же зазвенел вновь.

И тогда я его растоптал.

Топтал я его увлеченно, но кончилось это плохо, потому что я поскользнулся на какой-то детали и сел на пол. Отшиб копчик. Да так, что думал — уже не встану. Толь-

ко мысль о том, что мне осталось восемьдесят минут, заставила меня с крихтеньем подняться на четвереньки и приняться за отбор самых необходимых вещей.

Позвонили в дверь.

Я открыл, придерживая ладонью поясницу.

Это был почтальон.

Пот катился по нему ручьями.

— Я «Новый мир» не стал в ящик класть,— сообщил он мне,— крадут. Из двадцатой квартиры жаловались.

Он передал мне журнал. На обложке были мокрые следы его пальцев.

— У вас попить не найдется, водички?— сказал почтальон.— Невыносимо работать. А кто о нас думает? У вас телефон разбился?

Мы пошли с ним на кухню. Из-под крана он пить не хотел, но, к счастью, нашлась вода в чайнике.

— Вчера по телевизору говорили,— сказал почтальон.— Нет гарантий, что не будет заражена вода, потому что очистные сооружения от этой жары остановились. Вы слышали?

— Нет, не слышал.

Почтальон пил медленно, мелкими глотками, я его знал уже лет пять, он все собирался на пенсию, потом возвращался, потому что дома было скучно.

— А вы в командировку собрались?— Он, оказывается, увидел, проходя мимо комнаты, мои вещи.

— Уезжаю,— сказал я.

— Только не на юг,— сказал почтальон.— Потому что там доходит до пятидесяти. У меня племянница вернулась. К счастью, живая.

— Я в другую сторону.

Он допил воду, поблагодарил, но ушел не сразу, он полагал невежливым уйти сразу. Я закрыл за ним дверь и понял, что до randevu мне осталось меньше часа. Внутри начал щекотать какой-то жучок. В конце концов — за что я держусь? Зачем мне галстук? Или вторые ботинки? Пожалуй, надо сделать вот что: три пары белья, рубашка, зубная щетка — представим, что мы отправляемся в Ленинград. На три дня. А остальное — сувениры. И две кни-

ги. Какие книги? Нет, надо взять мои статьи. И рукописи... А зачем сувениры?

Я метался по комнате. Нет, со стороны вы бы подумали, что я сижу перед вещами в кататоническом трансе. В самом же деле я мысленно метался по комнатам, хватал с полки и из шкафов вещи, тащил их к куче, выбрасывал, хватал другие...

Когда же я наконец поднял дорожную сумку — конечно же, в ней было куда больше пяти килограммов, — мне расхотелось уходить. Я все понимал: надо. И ничто меня не удерживало — ни семьи, ни друзей, ни родителей — все это было, и все это как-то кончилось...

Нет, понял я, так нельзя. Я выключил телевизор, который передавал приукрашенный прогноз погоды, сел на стул, посидеть на дорожку. Тихо тикали часы. Еще мамыны, настенные.

Я встал, подошел к двери, но тут же положил сумку на пол и побежал на кухню. Мне показалось, что я не выключил газ. Конечно же, я выключил газ.

Можно было бы еще посидеть — мне оставалось полчаса, а идти до гастронома не больше семи минут.

Лучше я приду раньше. Хватит. Каждая минута здесь бессмысленна.

Я закрыл окна. Ночью может быть гроза — каждую ночь бывают сухие грозы, после которых становится еще жарче. А если и получается дождь, то он тут же поднимается паром...

На улице были люди. Странно, но люди ходят по улицам. И будут ходить до последней возможности. Вот мать везет ребенка гулять... Вот старуха тащит с рынка сумку. Значит, на рынке чем-то торгуют. Я бросил взгляд на градусник — ртутный столбик стоял возле сорока. Днем поднимется до пятидесяти.

Я захлопнул дверь, вызвал лифт. Лифт приехал сверху. В нем стоял Мешков, в брюках и майке.

— Простите, — сказал он. — Я в таком неглиже. За газетой еду.

— Я понимаю, — сказал я.

Господи, подумал я, забыл деньги. Сберкнижку и деньги. Возвращаться?

Я поглядел на часы. Двадцать пять минут. Черт с ней, со сберкнижкой, там все равно рублей сорок, не больше.

Мешков навалился на меня, от него пахло потом.

— Нет, вы мне как физик скажите, что будет? Что будет?

— Ничего хорошего,— сказал я.

— Но ведь вы несете ответственность.

— Почему?

— Вы же, ученые, довели до такого состояния.

Но было слишком жарко, чтобы он мог накачать себя до действенного гнева.

Лифт остановился на первом этаже.

— Нет, вы не убегайте, не убегайте. Вы читали, что в Индии количество смертей достигло шестнадцати миллионов? А с Африкой потеряна связь. С целыми городами. И вы еще настаиваете, что не имеете к этому отношения?

— Не больше, чем директор любого завода, который травил воздух,— сказал я.

— Нет! Он же дурак, этот директор. Он о премии думал. А вы знали, к чему это приведет.

Я освободился от его потных пальцев.

— Страшно газеты брать. Но всегда остается надежда. Это как со средством от СПИДа,— сказал Мешков.

Он пошел к ящику. Я думал, что уже избавился от него, но в дверях дома меня остановил крик:

— У меня на даче все выгорело!

Двадцать минут.

На улице было так жарко, словно меня подвели к открытой двери в домну. Воздух был неподвижен.

Я стоял на верхней ступеньке и не решался сделать шаг на солнце.

— Сергей Матвеевич! — Навстречу мне шла Наташа Птицына, за ней брел пудель Тришка. Оба беленькие, но от жары помятые и мягкие.— Сережа, я так больше не могу. У вас в институте нет какого-нибудь другого бюро прогнозов?

— Ты хочешь, чтобы тебе приятно врал?

— Конечно, пускай врут, но ведь надо на что-то надеяться. Ты в командировку?

— Да, я спешу.

— Одну минутку. Все равно самолеты уже не летают, мне одна знакомая сказала. Мне нужно с тобой посоветоваться о Дашке. Ты понимаешь, она решила поступать на физмат. Разве это дело для девочки?

— Наташа, мне в самом деле надо идти.

— Я же тебя не из-за пустяков беспокою, а по делу. Скажи, у тебя есть кто-нибудь в приемной комиссии?

— Боюсь, что никаких экзаменов в этом году не будет, — сказал я. — И вообще, если можешь, последуй моему примеру — уезжай куда-нибудь. Чем дальше, тем лучше. К Северному полюсу.

— Я тебя понимаю. Вчера демонстрация была на Пушкинской о конце света. Говорят, всех милиция забрала. Положение аховое. Но все равно мы не можем уехать, ты же понимаешь, Дашке поступать, не терять же год...

— Прости, я опаздываю. До свидания.

— Я к тебе завтра зайду.

Я вышел на улицу. Надо спешить.

— Сережка, сукин сын!

Мазовецкий шел под большим, в цветах, зонтом. Он дышал как рыба, выброшенная на берег. Он загородил мне дорогу животом.

— Не уйдешь, — засмеялся он. — Два слова!

Пальцы его были мокрыми. На солнце было градусов шестьдесят.

— Я тебе звонил, а ты трубку не берешь, — сказал Мазовецкий. — А дело важное. Завтра будут распределять места на стоянке. Два места освободилось.

— Я опаздываю!

— Ты только скажи — ты придешь за меня голосовать?

— Стоянка тебе уже не пригодится!

— А что, плохо выгляжу?

— Вся наша Земля плохо выглядят.

— Да, положение критическое, я сегодня ночью пытался «неотложку» вызвать — занято, как на вокзале, пришлось валокордином спасаться. Ты куда? Ты не ответил...

Я вырвался и поспешил по улице. Поспешил — неправильное слово. Каждое движение вызывало спазм в сердце. Рубашка была мокрая. Может, бросить эту чертову сумку?

— Вы не скажете, как пройти на Тишинский рынок?

Человек, который остановил меня, был в черном пиджаке, и от него исходили волны адского жара.

— Прямо и направо,— сказал я на бегу.

Но человек загородил мне дорогу.

— Извини,— сказал он.— Прямо куда?

— Вон туда! — Крик у меня не получился. Я толкнул человека, он был крепок и горяч.

— Не спеши,— сказал он.— А направо где?

Я бежал дальше, до поворота, человек в черном пиджаке грозно кричал мне вслед, но я не слышал, что он кричал, потому что уши заложило и голова кружилась. В тени, вытянувшись вдоль дома, лежал человек, пожилой, босой. Может быть, умер, может, тепловой удар. Но я не мог остановиться... Наверное, редким прохожим я казался сумасшедшим. Нормальный не бежит по солнцепеку.

До гастронома оставалось метров триста.

Взвизгнули тормоза. Черная «Волга» остановилась у тротуара. Я не видел, кто там, но за мной застучали шаги, бежала Софья Вячеславна.

— Сергей Матвеевич!

Она ухватила меня за мокрую рубаху, и так цепко, что мне пришлось затормозить.

— Какое счастье,— сказала она, держа меня алыми когтями и доставая другой рукой из плоской черной сумки пластиковую папку.— Это она секунда. Только подпишите, что не возражаете против обмена жилой площади. Да не рвитесь вы, успеете. Это же каторга — пока всех обойдется, легче отказаться от обмена.

Она была без лифчика и пропотевшая блузка приклеилась к полной груди.

— Вот здесь. Погодите, еще на одном экземпляре.

Она тяжело дышала. Но не отпускала меня.

Потом я снова побежал и уже на углу у гастронома с ужасом понял, что черная «Волга» Софьи Вячеславны пятится вдоль тротуара. Дверца открылась.

— Не на том экземпляре! — крикнула Софья Вячеславна.

Я не слушал, я бежал к гастроному.

Она топала следом.

В узкой тени вдоль стены магазина стояла длинная очередь за водкой. Люди в очереди были сонные, покорные. За зданием стекляшки начинался забор. Я начал протискиваться в дыру. Сзади меня держала за сумку Софья Вячеславна.

И тогда я увидел, как с пустыря как бы не спеша, но ускоряясь, чтобы в несколько секунд достичь световой скорости, поднималась последняя летающая тарелочка, которая эвакуировала с Земли тех, кого еще можно было спасти на благо космической цивилизации. Которая должна была увезти меня...

Софья Вячеславна не заметила никакой тарелочки — та уже скрылась в непрозрачном жарком мареве, окутавшем умирающую от парникового эффекта Землю.

— Подпишите или нет?

— Отпустите сумку, тогда подпишу, — сказал я спокойно. Как спокойно ведут себя люди, которым сказали, что их близкий только что умер. Ведь ничем не отличается минута ДО от минуты ПОСЛЕ.

Она исчезла, поспешила к своей черной «Волге», которую отсудила у дипломата-мужа. Я уселся у забора, на выгоревшую траву. Под забором была узкая полоска тени. Я поставил сумку рядом с собой на землю. Я почему-то надеялся еще, что они вернутся. Хотя они не возвращаются.

В дыру ввалились два подростка с бутылкой портвейна. Они были в потных ярких майках и обрезанных у колен джинсах.

— Хочешь третьим? — спросил один из них. — Хочешь, дядя?

На самом деле они и не собирались со мной делиться.

Я знал, что никуда отсюда не уйду — не смогу уйти. Я слушал, как они тихо разговаривали. Про Римку и Володьку, про то, что на той неделе обещали похолодание, а какой-то старик отдал концы. За забором загудела машина. Донеслись крики из очереди. В этом городе все намеревались жить вечно.

СТАРЕНЬКИЙ ИВАНОВ

Разумеется, он не всегда был стареньким. Это он только в последние годы стал стареньким. Его койка стоит в убежище рядом с моей, и он мне показывал свои детские фотографии.

Иван Иванович, серьезный, худенький, одетый почему-то в девичье платье, сидит на коленях у массивной женщины в большой шляпе и с выходящим из живота обширным бюстом.

— Похож?— спросил Иван Иванович.

— Похож,— сказал я.

— И всегда был похож,— сказал Иван Иванович.— А это моя мать. Она меня воспитывала в бедности, но в строгости. Папа нас оставил в младенчестве.

С первого взгляда ясно, что иначе воспитывать она не умела.

Историю своей интересной жизни Иван Иванович рассказывал мне не по порядку. Теперь же, когда его нет среди нас, я разложил его воспоминания в хронологическом порядке. И мне открылись некоторые любопытные закономерности.

1917-й год Иван Иванович встретил гимназистом последнего класса. Он был хорошим учеником, но не блестящим, и потому его любили учителя. В классе он ни с кем не дружил, потому что друзей ему подбирала мама, а ему хотелось дружить с другими. Самое яркое воспоминание того года — получение премии за перевод Овидия.

На демонстрации Иван не ходил, потому что мама вселала ему получить достойный аттестат зрелости, полагая,

что он пригодится при любой власти. К тому же Иван Иванович всегда боялся толпы. Он был невелик ростом, худ и очкаст. Таких бьют при любом народном возмущении.

В 1918 году Иван Иванович поступил на службу. Аттестат ему не понадобился. Он был делопроизводителем в Москультсапросвете, но ездить на работу было далеко. Они с мамой жили на Сретенке, а учреждение располагалось на Разгуляе. Так что когда Иван Иванович увидел объявление о том, что делопроизводители требуются в Госзерне, что помещалось напротив клиники Склифасовского, он перешел туда.

Впервые его исполнительские способности проявились именно там.

То есть способности были и ранее. Иван Иванович был аккуратен, вежлив и тих. Он никогда не выступал на собраниях и чурался общественной деятельности. У него была одна всем известная слабость. Смысл жизни для Ивана Ивановича заключался в получении премий. Обычно он работал от сих до сих. Правда, добросовестно. Но если он узнавал, что за такое-то задание положена премия, он мгновенно перевоплощался. Он готов был просиживать на службе ночами, он мог сверотить Гималайские горы, совершенно независимо от размера этой премии. Само слово «премия» вызывало в нем внутренний ажиотаж, подобно тому как словом «щука» можно свести с ума заядлого рыбака, а запахом водки — алкоголика.

Первый случай из длинной череды подобных произошел в период нехватки продовольствия и обратил на исполнителя внимание руководства.

— Если кто-нибудь из вас, архаровцы, придумает, как отыскать эшелон с пшеницей, что затерялся на пути между Белгородом и Москвой, — сказал начальник подотдела Шариков, заходя в большую гулкую комнату, где сидели тридцать сотрудников подотдела, — он получит премию.

— Я найду, — сказал тихий Иванов, приподнимая худенький зад над стулом. — Только мне надо выписать мандат.

В комнате засмеялись, а товарищ начальник подотдела Шариков, однорукий матрос с «Ретвизана», сказал:

— Зайди ко мне.

Иванов, под хихиканье коллег, прошел за перегородку, где проницательный Шариков сказал:

— Если не шутишь, бери мандат, и чтобы через два дня зерно было в Москве. Не доставишь, пойдешь под ревтрибунал. Охрану дать?

— Ни в коем случае,— испугался Иванов. Он не выносил вида винтовок.

Вечером второго дня осунувшийся Иванов, в пальто без правого рукава, с кровавой ссадиной через щеку, вошел в кабинетик товарища Шарикова, который, за неимением другого угла, там и ночевал.

— Состав на Брянском вокзале,— сказал он и упал в обморок.

Шариков отпоил Ивана Ивановича горячим чаем. Потом взял трубку и позвонил на Брянский вокзал. Иванов не врал. Состав стоял там. Может быть, Иванов и рассказал Шарикову, как он совершил такой революционный подвиг, но мне Иван Иванович о подробностях не рассказывал. Известно лишь, что Шариков предложил Иванову наградить его почетным оружием, но тот сказал, что хотел бы получить положенную премию. На следующее утро Иванов сложил в дерматиновую сумку два фунта воблы, фунт муки и полфунта леденцов. Остальные сотрудники подотдела готовы были от ненависти его растоптать.

С тех пор так и пошло. Если надо было сделать невыполнимую работу, Шариков приходил в комнату и говорил Ивану Ивановичу, что тот, по выполнении ее, получит премию. И тот выполнял любую работу. Одна недоброжелательница прозвала его даже Василисой Премудрой. Но прозвище не привилось, потому что было длинным.

Тем более, она сама его быстро забыла, потому что Иван Иванович, теперь уже замначальника подотдела, сделал ей предложение, и она переехала к нему на Сретенку. Они прожили два года, но потом Соня, как звали жену Иванова, не выдержала притеснений его мамы, которые были тем более невыносимы, поскольку жить им приходилось в одной комнате в коммунальной квартире, и уехала от него, хотя развода не взяла.

В 1924 году Госзерно реорганизовали, Шарикова кину-

ли на укрепление коммунального треста, и тот, уходя, взял с собой Ивана Ивановича.

Так прошло несколько лет. Иван Иванович ничем особенным не отличался, хотя и совершил несколько небольших подвигов, оцененных премиями. Года через два умерла мама, полагавшая, что сына недооценивают. Жена Соня после этого вернулась к Ивану Ивановичу, и у них родилась дочь. Жизнь налаживалась.

Иван Иванович показывал мне фотографии того времени. Он, еще молодой, но строгий, стоит рядом с женой Соней, которая держит на коленях дочку, очень похожую на Ивана Ивановича в детстве.

Ивану Ивановичу запомнилась от тех лет премия — наручные часы с секундной стрелкой и в стальном корпусе, — которую он получил за то, что разработал и провел в жизнь идею товарища Шарикова о создании цепи современных бань в подотчетном районе. Задача была сложная, достойных помещений не хватало, а народу надо было мыться. Шариков обратился к Ивану Ивановичу и сказал:

— Будет премия.

Иван Иванович думал три дня. Он ходил по Москве, рассматривал дома и строения. Наконец, удовлетворенный, вернулся за свой небольшой стол и написал, а затем подал по начальству докладную записку о размещении бань в некоторых церквях. Там толстые стены и даже встречаются подвалы, где можно разместить котлы.

Шариков несколько смутился, опасаясь, не слишком ли радикально решение Иванова. И премию выдать воздержался, пока не провентилирует вопрос в Моссовете.

Иванов был обижен. Он привык уже, что если премию обещали, премию должны дать. Так и сказал жене. Жена Соня сказала, что лучше прожить без премии, чем принимать такое решение. Иванов ничего не ответил жене, но той же ночью написал письмо в ОГПУ, в котором разъяснил свои разногласия и честно поведал об обещанной премии. Шариков больше на работу не пришел, но Иванову его место не отдали как беспартийному. Впрочем, Иванов на него и не претендовал, так как был идеальным исполнителем, а не организатором.

Новый начальник подтвердил, что премия Иванову по-

ложена, однако после того, как тот лично проведет операцию по передаче церкви под бани. Иванов честно провел эту операцию и был премирован часами с секундной стрелкой, которые носил до старости.

Умение с выдумкой исполнять принесло Ивану Ивановичу еще одну премию в размере месячного оклада в середине тридцатых годов, когда в коммунальном тресте был обнаружен правотроцкистский заговор, организованный на немецкие деньги. Сверху спустили разнарядку, в которой было сказано, что в тресте есть восемнадцать участников заговора, во главе которых стоит Семенов. Но более ничего не уточнили.

Начальник был растерян и призвал Иванова.

Иванов прочел письмо из ОГПУ и спросил: а может ли он рассчитывать на премию, если удачно выполнит поручение? Когда он получил соответствующее обещание, он взял список сотрудников, в котором нашел семнадцать Семеновых и двадцать одну Семенову. Из них он и составил список участников правотроцкистского заговора, организованного на немецкие деньги. Начальник колебался, потому что от него требовалось лишь восемнадцать заговорщиков, а если отыскать тридцать восемь, то не останется кандидатов для следующих заговоров.

Тогда Иванов, почувствовав, что рискует остаться без премии, переслал второй экземпляр списка в ОГПУ. На следующий день начальник не пришел на работу, а Иванов получил премию в размере месячного оклада.

Его жена Соня выразила сомнение, правильно ли Иванов ведет себя. Тот даже не рассердился.

— Я же получаю премию, — сказал он. — Зря премии не дают. Мама была бы рада.

...Соня навсегда уехала от мужа, взяв с собой дочку. Она поселилась у родственников под Запорожьем.

Иванов посылал алименты на воспитание дочери, а когда получал премию, присылал больше. Если Соня получала денег больше, чем рассчитывала, она долго плакала.

Последний раз Иван Иванович прислал дополнительные тридцать рублей в 1947 году, в день восемнадцатилетия дочери.

В то время он уже работал в Академии наук, но не

ученым, а исполнителем в Президиуме. Тогда случился казус: к нам в страну приехала высокопоставленная делегация из недружественной страны, чтобы ознакомиться со Сталинским планом преобразования природы. Для делегации был выделен специальный участок, где должны были колоситься поля, огражденные буйными лесными посадками. Однако за день до приезда делегации стало известно, что посадки, созданные на принципах внутривидового сотрудничества и взаимопомощи, завяли, а поля, засеянные ржаной пшеницей, перерожденной из яровой, пусты. Остановить высокопоставленную делегацию и не пустить ее в страну не удалось. Тогда тот академик, который придумал дружбу между деревьями, отыскал Ивана Ивановича и общал ему премию.

Иван Иванович, как он мне признался, взял географическую карту того района и выяснил, что выше его находится большая плотина. По согласованию с академиком и другими лицами, он предложил выход. Он сам отправился на ту плотину и в нужный момент открыл все ее створы. Река, разлившаяся по полям и лесным дорогам, нечаянно утопила иностранную делегацию, а также несколько деревень. Были принесены соответствующие извинения за стихийное бедствие. Больше подобные делегации не ездили. Иван Иванович получил свою премию, но был строго наказан за самоуправство и три года провел в лагерях строгого режима.

Денег оттуда он семье не посылал, потому что дочь уже достигла совершеннолетия, и никто не ждал от отца вестей. В то же время он четырежды получал в лагере премии. В первый раз за то, что исполнил просьбу начальника лагеря экономить ватники заключенных, которые за пятилетку изнашивали ценную одежду до дыр. Он предложил совместить борьбу за экономию ватников с экономией питания. Двойная экономия привела вскоре к тому, что ватники стали освобождаться от содержимого вдвое быстрее, а из сэкономленных продуктов удалось выделить Иванову премию в виде пирожка с повидлом.

Иванов был освобожден досрочно. Он не изменился, лишь облысел. Обиды ни на кого не таил, так как все

премии, которые ему были обещаны, как до ареста, так и во время жизни в лагере, он получил.

Я пропускаю здесь несколько лет плодотворной работы Ивана Ивановича. Но надо сказать, что за эти годы он получил более двенадцати премий, и репутация его настолько укрепилась, что его стали использовать в самых различных областях хозяйства.

Однажды судьба свела его с бывшей женой Соней.

Проблема, стоявшая перед проектировщиками большого комбината в Запорожской области заключалась в том, что комбинату требовалось много воды, а воды было мало. Пригласили Иванова. Обещали премию.

Иван Иванович решил, что посетит во время этой командировки свою семью. Семья встретила его прохладно. Дочь была замужем и отца не узнала. А Соня узнала, но не обрадовалась. Чтобы не тратиться на гостиницу, в которой были номера лишь по три рубля, тогда как командировочные Ивана Ивановича предусматривали оплату в размере полутора рублей, Иванов решил переночевать в доме у Сони.

Ему постелили у окна на диване.

Утром Иван Иванович проснулся от звона цепи. Его жена набирала воду из колодца. Он встал, подошел к колодцу и увидел, что до воды метров десять.

Прощавшись с Соней, Иван Иванович отправился в Запорожье и узнал у специалистов, что в том районе есть большая подводная линза, из которой и черпают воду местные жители. Иван Иванович обрадовался, вернулся в Москву и там сообщил, что воду для комбината можно найти, если выкопать возле него колодцы глубиной в пятьдесят метров и качать воду прямо из линзы.

Некоторые специалисты подняли шум, что этим будет ликвидировано местное сельское хозяйство. Однако они не знали, как суров становится Иван Иванович, когда речь идет о заслуженной премии. Он смог пробиться к министру — и комбинат получил воду, а Иванов премию. Четыре близлежащих района области были выселены, так как невозможно возить воду в цистернах для ста пятидесяти тысяч семей.

Когда в другом министерстве, которое прознало о спо-

собностях Ивана Ивановича, решено было повернуть на юг северные реки и таким образом насытить влагой поля юга, исполнителем пригласили Иванова. Иванов уже стал пожилым человеком. Он получил отдельную однокомнатную квартиру, где повесил фотографии мамы и почетные грамоты, но жениться снова не стал.

Ученые и любители старины сильно возражали и рвались в кабинет к министру, чтобы объяснить, почему нельзя губить север ради спасения юга. Иван Иванович добился в министерстве, чтобы другим ученым, которые будут доказывать обратное, тоже дали премии. Другие ученые, узнав о премиях, стали доказывать общественности, что опасения первых ученых напрасны. Тем временем, пока разбирались в споре, Иванов дал сигнал бульдозерам и экскаваторам двинуться на север, где они срочно прокопали каналы. Эта борьба, закончившаяся победой Ивана Ивановича, заняла три года. Но для Иванова не прошла бесследно. Он получил премию в размере ста двадцати рублей. И смог купить красивый импортный торшер.

Еще пятьдесят рублей премии он получил за то, что ему удалось уничтожить озеро Байкал. А потом шестьдесят пять за ликвидацию Аральского моря.

Газеты и журналы метали громы и молнии в министров и академиков, полагая, что это они уничтожают природу и культурные ценности. Что из-за их легкомыслия, корыстных и даже преступных действий нашим детям нечего будет есть и нечем дышать. Но никто не метал молний в Ивана Ивановича, потому что он был совершенно незаметен. И никто так и не догадался, что именно его страсть к получению небольших, честно заработанных премий и есть главная причина упадка нашей цивилизации.

На рубеже девяностых годов Иван Иванович, согбенный возрастом, собрался уйти на пенсию. Но тут его вызвал к себе сам Петрищев.

— Иван Иванович,— сказал Петрищев.— Как ты знаешь, народ у нас за последние годы очень разболтался. Все труднее строить новые заводы, так нужные нашему министерству для выполнения плана. Мы с тобой, конечно, не возражаем против охраны окружающей среды.

— Нет, не возражаем,— сказал Иванов.

Петрищев налил в стакан воды из графина, подошел к подоконнику и лично полил стоявшие в горшках цветы.

— Боюсь, что Златогорский комбинат нам не дадут пустить. И тогда мы не реализуем ассигнования.

— Плохо,— сказал Иванов.

— Мне хотелось бы дать тебе премию, Иванов,— сказал Петрищев.— И немалую. Рублей в сто. Как ты на это смотришь?

— А чем они мотивируют?

— Ах, не говори. Типичные демагоги. Говорят, что дым этого комбината уничтожит воздух над европейской частью территории нашей страны. А это преувеличение.

— А премия когда будет?— спросил Иванов.

— Сразу, как только задымят трубы комбината.

Удивительная сила духа и упорство крылись в этом немощном на вид старичке. Не прошло и шести месяцев, как, несмотря на протесты общественности, на три специальных постановления правительства и даже резолюцию ООН, Златогорский комбинат дал первый дым.

Вскоре половина человечества была вынуждена перейти в газоубежище.

Премии Иван Иванович получил вместе с противогазом.

Он отложил ее на черный день и переселился в газоубежище.

Там мы с ним и познакомились.

Длинными вечерами Иван Иванович дребезжащим голосом рассказывал мне о своей жизни, и постепенно я стал понимать, какую громадную неоцененную роль он сыграл в жизни нашего государства. Я сказал ему об этом, и Иван Иванович удовлетворенно кивнул. А на следующей неделе, когда из-за кислотных дождей никто не мог выйти из газоубежища, мы с ним занялись подсчетами. Оказалось, что за свою жизнь Иван Иванович получил в общей сложности сто сорок две премии общей суммой в восемь тысяч тридцать два рубля. Это помимо зарплаты. Затем мы с ним стали подсчитывать, во сколько его деятельность обошлась стране. Без ложной скромности Иванов согласился на мои неполные выводы: восемнадцать триллионов с хвостиком.

И каждый новый день, сколько их ни осталось до конца света, стоил не меньше шестнадцати миллиардов.

— Что ж, внушительно,— сказал старенький Иванов.

Впрочем, эти цифры на него не произвели большого впечатления, потому что были абстрактны. Я сужу об этом, потому что за последующие дни он ни разу не вспомнил о них, зато как-то утром растолкал меня, чуть не свалил с раскладушки.

— Послушайте,— шептал он.— Мы ошиблись. Я забыл о трех премиях. Общая сумма восемь тысяч триста тридцать шесть рублей. Вот так-то!

Вчера Иван Иванович покинул нас.

В полдень в газоубежище вошли три человека в галстуках и противогазах. Они долго шептались с Иваном Ивановичем. Наконец один из них внятно произнес:

— Премию вам гарантирую.

Иван Иванович подмигнул мне и ушел вместе с ними, натягивая противогаз.

Уже третий день я жду конца све...

МАМОНТ

Повесть

1.

Петр Гаузе — коренной русак. Фамилия от предка, саксонца, который нанялся Петру Великому в драгунские капитаны, служил честно, поселился в России, скончался в бригадирском чине, окруженный детьми и внуками. Отсюда пошли Гаузе — преимущественно Петры, все коренные русаки.

В конце полевого сезона 1976 года Петр Петрович Гаузе искал мамонта, но лодка перевернулась. Петр чудом выбрался из потока, вполз по осыпи повыше, оглянулся. От его лодки, припасов, документов, фотокамер, сигарет и дневников ничего не сохранилось — по стремнине неслось одно весло.

Горше всего без сигарет. Бог с ними: с едой, документами и теплой одеждой — страшно остаться в лесу без сигарет.

Петр Гаузе пошел вниз по реке. Сыпал мелкий дождь, ночью разве что не примораживало. Придется мамонту ждать до следующего лета.

На второй день, изголодавшись, промаявшись без сна под корнями поваленной ели, Гаузе решил срезать километров десять. Река делала петлю, вот и решил срезать. Если бы не так хотел курить, не посмел бы удалиться от берега.

Часа три пробирался сквозь бурелом, наткнулся на брусничную россыпь. Брусника еще не поспела, была розовой, мучнистой. Гаузе долго ползал от кустика к кусту, пока не показалось, что почти сыт. Тогда-то и потерял направление. Солнце не видно, облака цепляют за вершины деревьев, лишайники растут как вздумается и не показывают, куда идти.

Гаузе пошел туда, где ниже. Чтобы попасть к реке, потом к людям и к сигаретам. К вечеру отыскал ручеек, на его берегу переночевал, а утром ручей привел его в болото и кончился. Некоторое время Гаузе сидел на краю трясины и утешал себя, что другие бродили неделями и ничего, оставались живы. Побрел дальше.

Совсем отчаялся, чуть не плакал — вдруг увидел железную дорогу. Принял ее за галлюцинацию, тем более что была она неполноценной: только насыпь и шпалы. Насыпь кое-где осела, шпалы расползлись.

Петр Гаузе пошел по шпалам. Шаг маленький — шаг большой, шаг короткий — шаг широкий. Размышлял: когда дорогу забросили? То ли ошибка царских инженеров, то ли причуда Сталинских пятилеток. Километров через пять спустился с насыпи, пожевал брусники, но далеко не отходил: насыпь, как ниточка, выведет к людям.

Потом Гаузе нашел мертвого человека.

2.

Ему не хотелось называть человека трупом. Это из области криминалистики. Гаузе поглядел на человека и понял, что в лесу водятся волки. А до того казалось, что только Гаузе и птицы.

У мертвого человека не было лица и кисти правой руки. Можно было полюбопытствовать, как устроена человеческая голова изнутри, но Гаузе этого делать не стал, а отвернулся и принялся искать глазами волков.

Моросил холодный дождик, он уже смыл кровь со шпал и теперь полоскал окровавленную траву между ними. Руки Гаузе совсем ооченели, он держал их в мокрых карманах.

Мертвый человек был одет теплее, чем Гаузе. На нем был стеганный ватник, теплые штаны и армейские ботинки. Наверно, он был охотником, да расстрелял все патроны, а ружье потерял.

Мертвому человеку ватник не нужен, можно снять. Только скорее, пока не стемнело. Но Гаузе медлил, ему неловко было раздевать другого человека. Он сосчитал до ста, потом до пятидесяти.

Петли ватника, пришитые с краю, были широкие, видно, охотник много раз его расстегивал. Потом Гаузе стал стаскивать ватник с рук, ворочать мертвого человека, который околел, словно нарочно расставил руки. Когда Гаузе повернул его на бок, увидел за спиной вещевой мешок. В мешке — горбушка черного хлеба, совсем размокшая, тряпки, нож с наборной ручкой, мешочек с разбухшей крупой, три куса мокрого сахара в бумажке.

Надо было отойти в сторону: неловко жевать при мертвом человеке. Но Гаузе не удержался, откусил от горбушки. Проглотить трудно, словно разучился жевать и глотать. Гаузе откусывал новые комья, чтобы протолкнуть ими те, что в горле застряли. Когда проглотил последний кусок, тут его и вырвало. Весь хлеб наружу — такая жалость! Его дергало, сотрясало, а он ругал себя за спешку.

Когда отдышался, положил в рот кусок мокрого сахара и стал сосать. Комочки хлеба и непереваренные розовые брусничины забрызгали все вокруг, пришлось ватник отряхивать, но кровь с него не сошла.

Гаузе натянул ватник — маловат, сыр, но вроде бы стало теплее. Штаны и ботинки с мертвого человека снимать не стал, слишком.

Гаузе закинул за плечо невесомый мешок, нож сунул в карман, прикрыл тряпочкой лицо мертвому человеку и пошел дальше: широкий шаг, короткий, длинный, маленький, как шпалы велят.

Через сто шагов Гаузе увидел на шпалах серую ушанку, натянул ее, хоть мала и промокла.

Начало темнеть. Гаузе считал шпалы, но задумывался и сбивался со счета. Считал снова и чуть не пропустил недалекий гудок.

Гудок мог каждую секунду прерваться, надо было по-

дойти к нему поближе, чтобы потом не заблудиться. Гаузе побежал, увидел справа просеку, которая вела к гудку. Он вытащил из кармана нож, от волков, и спустился с насыпи.

3.

Петр Гаузе вышел к жилью, когда уже стемнело. Воздух стал синим, строения впереди — как кубики в тумане. Но тут врубили свет — звездами перед глазами фонари, кометами — лучи прожекторов. И уже не видно, что там, только живой свет.

Петр Гаузе, хоть и выбился из сил, сразу сообразил, что перед ним объект. Объект — это общее слово, включает то, что не деревня и не город.

Больше шансов в лесу увидеть объект, чем деревню. Объекты чаще стоят там, где никто не подозревает. В этом секретность и интересы государства.

Луч прожектора отыскал Петра Гаузе и пришил к земле, как булавка бабочку. Петр Гаузе с радостью подчинился. Сел на мокрую траву вырубки, сразу задремал, жаль только документы остались в лодке, придется звонить, выяснять, хороший ли он человек, в самом ли деле палеонтолог.

Недолго нежился Петр Гаузе в дремоте: его разбудили грубым толчком, рядом — сапоги. Ему велели, чтобы он, сука, вставал, и заломили руки за спину. Отобрали ножик, мешок, а Гаузе повторял, чтобы товарищи не беспокоились, он сам пойдет, но его не слушали, и Гаузе был не в обиде: они имели право так обращаться с неизвестным лицом, вышедшим из леса. Такие функции у охраны объекта. Редко шпион попадает, но надежда на шпиона есть.

Щелкнуло сзади, кисти рук стянуло. Наручники? Пошел Гаузе вперед, скользя по грязи, прямо в солнце прожектора. И думал: когда уладится, они выпьют по маленькой, все мы славные ребята, настоящие русаки.

Земля под ногами стала тверже, значит, вышли на до-

рогу. А потом возник шлагбаум, ворота, загородки, солдаты, проволока в несколько рядов.

Пржектор отпустил глаз. Гаузе разглядел, что впереди длинные строения с решетками на окнах, а дальше большой дом, идти к которому по деревянным мосткам. Мостки вздрагивали, хлюпали и были скользкими.

Вот и рядом большой дом. Кирпичный, в три этажа. Застекленная дверь. Затолкнули Гаузе туда. Ну и холл! Он полукругом охватывал мраморную лестницу шириной метров в пять, которая вела, раздвигаясь, на второй этаж. Перила, округлые на концах, были украшены бронзовыми амурами. Ноги и низ животов амуров были отполированы до блеска — кто спускался по лестнице, хватался за них.

Из холла в стороны — резные двери, в стиле модерн начала века, навевают грусть по вольно выющим женским волосам и струйкам сигаретного дыма. Хотел Гаузе попросить сигарету у конвоиров, да вспомнил, что руки заняты наручниками.

— Схватили? — спросил седой сержант, что сидел за столиком у одной из дверей. Перед ним листы бумаги, а пальцы — в фиолетовых чернилах.

— Полковник у себя? — спросил тот, кто топал сзади Гаузе.

Он вышел вперед, и Гаузе его разглядел. Капитан был высок ростом, гладок лицом. Лицо концентрировалось в центре, переходя в большой, устремленный, острый к концу нос. Все лицо было создано, чтобы служить носу фоном и стартовой площадкой. Казалось, и тело капитана, наполненное крепким тугим жиром, мягко ширящееся к поясу и сужающееся к коленям, таинственным образом служит опорой носу и самостоятельного значения не имеет.

Тут Гаузе и себя увидал в зеркале, схожем с дверью и висящим между дверей. И не сразу сообразил, что это он — старший научный сотрудник, кандидат наук П.П. Гаузе, коренной русак.

Бродяга в зеркале оброс рыжей щетиной, был грязен и страшен. Изношенная до крайности ушанка сбилась набекрень — одно ухо кверху, как у битого щенка, из-под нее — диким светом глаза, звериный взгляд, но трусли-

вый. Мокрый окровавленный ватник расстегнут, под ним разодранная на животе куртка, не поймешь какого цвета, джинсы в грязи, а вместо ботинок на ногах — плюхи глины. Уголовный рецидивист, попался, когда в окно сельского магазина лез. Такому доверья нет. Понял это Петр Гаузе и сказал:

— Ну и дела!

Тут бы провести по лицу, убедиться, что ты — это ты, а руки за спиной онемели. И ног у входа не вытер.

Капитан обернулся от двери, прицелился носом в Гаузе, но тут изнутри послышалось: «Давай!».

Гаузе замешкался, старался вытереть ботинки один о другой, шмат грязи отлепился и шлепнул о пол. Солдат ему в спину автоматом ткнул.

Гаузе поспешил в кабинет.

4.

За столом, лицом к двери, сидел полковник.

Видно, специально к встрече не готовился: мундир нараспашку, там серая фуфайка. А выбрит так, включая голову, что свет от хрустальной люстры отражается зайчиками и стоит головой пошевелить, как зайчики бьют в глаза, заставляют жмуриться.

Полковник — как солнышко, светл, округл, составлен из шариков. Все шарики разграничены и правильны. Шарик-щечки вылезают под шариками глазками, а над ними лоб — шаром более других.

Полковник посмотрел на Гаузе и огорчился его диким видом. Отвернулся, взял со стола пластиковый мешок — в таких крупу хранят — приставил к пышным губам, надул шарики-щечки и стал пыжиться.

— Здравствуйте,— сказал Гаузе.— Не выйдет, в пакете дырка.

— Вот именно,— согласился полковник.— Погляди, Левкой.

Капитан сделал строевой шаг к столу, пригляделся носом и сказал:

— Так точно, прогрызано.

Уморительно сказал, Гаузе улыбнулся. Ну вот, кончились его скитания, люди ему попались милые, сейчас разберутся.

— Надо меры принимать,— сказал полковник.— Не хотел я на это идти, но придется. А ты, П-234, не улыбсья, нет у тебя к этому оснований.

— Что с ним делать будем?— спросил капитан Левкой, имея в виду Гаузе.

— А номер он зря оторвал,— сказал полковник.— Недостойно это советского человека, номер с себя рвать. Значит, как за ворота, так и номер не нужен?

— Отвечай,— подсказал Левкой Петру Гаузе.

— Не понял,— сказал Гаузе, сохраняя на щеках ухмылку.

— Не понял он,— вздохнул полковник.— Непонятливый.

— Разумсется,— сказал Гаузе,— я виноват в том, что подошел близко к объекту, вверенному вам, но войдите в мое положение. Три дня в лесу, без пищи, а я ведь чуть не утонул, перевернулся в лодке, и все документы пропали. Вы можете позвонить в область, там вам все разъяснят.

Гаузе показал на телефонный аппарат, стоявший на столе. Теперь уж подошла очередь полковнику улыбаться. Что он и сделал. Пробежал толстыми пальчиками по телефонному шнуру, черная змейка тянулась-тянулась, вытянулась до конца. На конце белый бантик привязан, покачивается, а за бантиком черная крыса выскочила, подпрыгивает, играет с бантиком как котенок.

— По этому телефону позвонить? — мягко полковник спросил, без нажима, с некоторой только обидой.

— Простите, я не знал,— сказал Гаузе.— Значит с другого аппарата придется звонить. А крыса такая смешная, ну ведет себя совершенно как котенок.

— А номер снимать не положено,— сказал полковник и, отпустив телефонный шнур, принялся снова надувать дырявый пакет.

— Зовут меня Гаузе, Петр Петрович, русский, 1940 года рождения, беспартийный, под судом и следствием не состоял, в плену и оккупации не был, родственников за границей не имею...

Полковник прервал его, подняв палец:

— Снятие номера,— сказал он,— приравнивается к экономическому саботажу. В то время как у нас каждый лоскут на учете, ты, П-234, нагло, посреди белого дня, выкидываешь его в кусты. А люди старались...

— Какой номер?

— А вот такой.

Полковник извлек из кармана грязную белую тряпку, в две ладони, на ней черным: «П-234».

— Не веришь, что нашли? Не веришь? А волки на что?

Гаузе пожал плечами. Ничего ему эта тряпка не говорила.

— Я искал мамонта,— сказал он.— Не нашел, потерпев крушение.

Вздыхнул полковник.

— На суде,— сказал он,— это может послужить водоразделом между жизнью и смертью. А уж лишнюю пятерку я тебе гарантирую.

— Ты слушай,— посоветовал капитан Левкой.

Нос его приблизился к лицу Гаузе, откуда-то, неведь откуда кулак выскочил. И в подбородок Петру Гаузе врезал.

Петр Гаузе поднялся на ноги, раздумывая, откуда кулак взялся, если и полковник и капитан смотрят на него с интересом, без озлобления, сами не понимают, зачем он на пол сажился. Гаузе головой помотал, хотел возразить, но тут увидел на столе пачку папирос «Казбек». И так ему захотелось покурить, что произвольно:

— Разрешите папироску, товарищ полковник.

Полковник удивился, пакет на стол опустил, руками развел: вот, мол, какой странный человек мне попался,— и вежливо, пальчиком, пачку через стол повез, к Гаузе.

Но только Гаузе дотянулся до пачки, как кулак его снова настиг. И на пол свалил с помутнением сознания. А в глаза зайчики били, потому что полковник привстал, даже через стол перегнулся, смотрел на Гаузе с сочувствием, но пачку папирос тем временем спрятал в ящик стола.

— Пускай отдохнет до суда,— сказал полковник.— Намаялся.

Он из воздуха бумажку взял, протянул Петру Гаузе.

Гаузе бумажку получил, а Левкой к нему наклонился, авторучку подал, показал, где расписаться в получении.

Это повестка была.

«Товарищеская тройка приглашает Вас явиться на разбор Вашего дела в любое удобное для Вас время от 15 часов до 15 часов 3-х минут завтрашнего дня».

Левкой ручку забрал обратно и стал подталкивать Гаузе к двери, сапогами, и Гаузе даже одобрял его беззгливость, потому что Гаузе был очень грязен.

На четвереньках выполз Гаузе в холл, сержант за столиком головой покачал — ах как нехорошо здесь ползать! — обошел спереди, но не помог, а наступил на руку, очень больно. Гаузе руку подобрал под себя и упал головой вперед. Дальше он не помнил.

5.

Петру Гаузе казалось, что он спал, только не выспался. И спина закоченела.

Лежал он на нарах, как на вагонной полке.

Было в том вагоне полутемно, Гаузе развернулся из эмбрионального положения, начал елозить спиной по нарам, чтобы спина отошла, и тут понял, что над ним вторые нары и там кто-то есть.

Тот кто-то услышал шевеление Гаузе, заскрипел досками — сверху свесились сапоги. Блестящие, со шпорами, съехали вниз, встали у головы Гаузе, и оказалось, что выше сапог — серые кальсоны.

Спустился седоусый старик, крепкий еще. Поверх кальсон поношенный китель.

— Где глаз-то потерял? — спросил он у Петра Гаузе.

— Доброе утро, — сказал Петр Гаузе, человек воспитанный. — Какой глаз вы имеете в виду?

Однако ему только казалось, что он воспитанно разговаривает. На самом деле болтал неразборчиво: рот разбит, язык великоват. Пощупал ладонью лицо — в самом деле, один глаз заплыл, щекой подперт. Догадался:

— Это меня потом били, а я не заметил.

— Бывает. Ты кто будешь?

Глазок в двери отодвинулся, оттуда голос:

— П-234, ожидает суда. За побег и экономическую диверсию.

— Ах ты, заботники,— сказал старик, поднялся, к двери подошел, достал из кальсон гвоздь, заклинил им глазок. Вернулся, спросил:

— Далеко уйти успел?

— Я не ушел, а пришел,— сказал Гаузе.— Все документы утопил и заблудился.

— А номер спорол? Они за это очень серчают.

— Я нашел мертвого человека, на шпалах. С него ватник снял.

— Главное,— сказал старик,— не поддавайся безумию. Я вот сколько лет не поддаюсь?

Сыро, темно, холодно, по стене пауки бегают, окошко трубой под углом вверх уходит. Сколько же лет? Но спросить неудобно, нетактично. Он вместо этого так спросил:

— Где вы чистите сапоги?

— А их чистить не надо. Это личный подарок председателя реввоенсовета товарища Троцкого. Их без ног снять невозможно.

Ну кто из них поддался безумию?

— Где мы находимся? — спросил Гаузе.— Мне многое непонятно. Почему я подвергся избиению и получил повестку? Почему мне никто не верит?

— Повестку покажи,— сказал старик.

Поглядел на бумажку.

— Зря расписался,— сказал он.— Теперь-то уж точно закатают. Тебе сколько оставалось?

— Я, понимаете, по тайге шел, мамонта искал...

— Я тоже бегал,— сказал старик.— Восемь раз бегал.

— Это же недоразумение. Я ниоткуда не убегал. Я сюда случайно пришел. Зачем мне убегать?

— Ну что ж, стой на своем,— сказал старик.— Имешь право.

Он пошел в угол, там стоял сосуд под крышкой. Старик спустил кальсоны, сел на сосуд. Гаузе отвернулся, чтобы не показаться невежливым. А старик рассуждал:

— Бегство есть бессмысленное действие, но все мы — человеки бессмысленны. Здесь особенно...

Дверь заскрипела, а старик закричал:

— Рано к нам еще!

В камеру вошел солдат с ключами, за ним — неопределенного возраста молодой человек в белом халате с чемоданчиком в руке, за ним — женщина. Врачи?

— Темно,— сказал молодой человек.

Солдат выглянул в коридор и крикнул:

— Сидоров, дай свет!

Лампочка под потолком, голая, желтая, мигнула, вспыхнула — глазам больно.

Мужчина в халате был хоть и молод, но молодость серая, без свежего воздуха, лицо одутловатое, мышцы вялые. А женщина непонятна. В белом платке, завязанном как на косыбе, закрывая лоб, чтобы не обгорел на солнце. Щеки впалые, нос прямой, глаза к полу.

Старик поднялся с судна, застегивая кальсоны.

— По чью душу?

Никто не ответил, никто на него не смотрел, на Петра Гаузе тоже никто не смотрел.

Два солдата кресло внесли. Потертое, сиденье продавлено, пружины наружу. Зубоврачебное кресло. С ручек болтаются, к полу, ремни.

Потом столик внесли, поджарый, скрипучий. Женщина, не поднимая глаз, подобрала с полу чемоданчик, стала раскладывать на столике инструменты. Зубы лечить будут.

— Садись,— сказал молодой человек старику.

— Не пойду,— сказал старик.— Не имеете права.

Солдат старика толкнул. Только старик не шелохнулся.

— Бери его!

Навалились на старика вчетвером. Пошло хрипение, вздохи, ругань и даже визг; старик кусался, норовил задеть солдат шпорами, как петух в драке.

Гаузе хотел вскочить — и головой об нары!

— Отпустите товарища, он сам сядит!

Старик извернулся — шпорой достал до Гаузе. Больно. С продранных джинсов грязь посыпалась.

Гаузе почувствовал обиду, ноги подобрал. Сколько раз говорил себе: «Не вмешивайся, без тебя разберутся».

Разбирались.

Старика скрутили, посадили в кресло, пристегнули ремнями, пыхтели, матерились, радовались победе.

Молодой человек медленно пошел вокруг. Словно высматривал, с какой стороны у старика рот. Потом догадался: спереди, и сказал:

— Крепите.

Солдаты примотали голову старика к высокой спинке, железами со скрипом развели челюсти. Готово.

— Полина,— сказал молодой доктор.— Щипцы.

Женщина, проходя рядом с Гаузе, кинула на него равнодушный взгляд. Гаузе вспомнил, что он отвратителен и страшен. Гадок. Отвернулся.

Старик рычал, выл, звякал металл — инструменты о столик.

Гаузе чувствовал отвращение сродни дурноте. Варварство. Тебя, Гаузе, приняли за беглеца. Отсюда же. Объект закрытый. Может, лагерь? Может, этот старик с усами — уголовник, убийца, и ты, Гаузе, ничего не подозревая, провел ночь вдвоем с ним. А может, диссидент? А может, власовец. Нет, должны разобраться. Прошли времена беззакония, канули в прошлое.

Старик выл, инструменты звенели, молодой доктор тяжело дышал. Гаузе бросил взгляд на старика. Любопытство — ходят же смотреть на зверскую казнь. В журнале от фотографии расстрела не отвернутся.

Лицо старика в крови, усы в крови. Бьется старик, хрипит, а в дверях — товарищ полковник. Весь из шариков, наблюдает. Встретил взгляд Петра Гаузе, прямым ходом к нему, присел на край нар, словно в гости заглянул.

— Как тебе у нас?— шепнул.

— Что происходит? Куда я попал?

Полковник шупал ткань джинсов.

— Товарищ полковник...

Полковник пальцем помахал перед носом, шепнул Гаузе на ухо, дружески:

— Я тебе, падло, не товарищ, тамбовский волк тебе товарищ. Так, может, ты вовсе и не П-234?

— Вот именно.

Старик завопил, полковник поморщился.

— Гаузе, говоришь?

— Гаузе, Петр Петрович.

— Дурак ты, что ватник снял. Теперь ты — П-234, навесим тебе еще одну десятку, помани мое слово. Иного выхода нам отчетность не позволяет. Если тебя не будет, на что мы П-234 спишем?

Звяк — зуб о алюминиевую тарелку.

— Коренные рвать? — спросил молодой доктор.

Полковник легко вскочил с нар, подбежал, заглянул в рот старику.

— Оставляй. Пускай побалуется. Мы не изверги.

Старик обмяк в кресле. Кровь струилась по серой рубашке, по кителю, на кальсоны, на сапоги.

Полковник вытащил из кармана синих галифе плоскую фляжку. Подошел к молодому доктору, тот голову быстро запрокинул, ему в горло из фляжки было налито. Потом полковник к женщине подошел. Та отвернулась.

— Полина, за службу, — сказал полковник. — Прими.

Пожал плечами, поглядел на Гаузе, словно хотел и ему предложить, но передумал, спрятал фляжку и пошел вон.

Солдаты наклонили кресло, свалили старика на пол. Женщина собрала инструменты со столика в чемоданчик. Отдельно унесла тарелку с зубами. Солдаты остальное унесли. Старик лежал, открыв рот — а зубов нет. Ни одного — только черные десны.

6.

В полдень принесли две миски с баландой. Откуда-то слово вспомнилось. Старик мычал, страдал. Может, ему теперь челюсти вставят?

— Вам челюсть вставят?

Старик головой покачал, взял свою миску, всосал жижу беззубым ртом, потом пальцами ошметки капусты в рот заложил, поглубже затолкал, сглотнул. Что-то сказал, а что — непонятно.

Старик вытер сапоги рукавом рубахи, добрал до стенки, стал в нее отстукивать. Потом послушал, что отвечают.

Но тут пришел солдат, позвал:

— П-234. На суд.

Старик от стучания отвлекся, хлопнул Гаузе по спине: иди, мол.

По обе стороны коридора запертые двери. Одинаковые. В коридоре сыро, голые лампочки кое-где.

Солдат провел Гаузе по узкой лестнице, по коридору — почище. Там, за решеткой, второй солдат ждал.

— Повестка есть?— спросил.

Гаузе послушно показал ему повестку.

— А фотография?— спросил солдат.

— Не было,— сказал Гаузе.

— Тогда иди фотографироваться. А то дальше не пустят.

Завели Гаузе в маленькую комнату. Там стоял аппарат на ногах, большой, старинный. Старый фотограф вышел из-за занавески, замахал руками:

— Нет! Нет, ателье закрыто!

— Надо,— сказал солдат.— Суд ждет.

Старичок убежал за ширму, вынес оттуда помазок, кусок мыла, горячую воду и стал Гаузе брить.

Солдат стоял в дверях, курил, отчего было такое шевеление в душе, что помереть хотелось. Гаузе отработанный дым втягивал ноздрями — со всей комнатки дым к нему тянулся. Покурил.

Старичок брил и все спрашивал:

— Не беспокоит?

Гаузе не отвечал. Гаузе думал. Потом спросил:

— Вы давно здесь?

— Ах, что вы,— сказал фотограф.— Разве можно?

Он унес парикмахерские инструменты, прибежал с коробкой красок. Пальцами по щекам — румянец размазал, голубым под глазами...

— Вы будете у меня интеллигентный человек.

Белилами — лоб. Замер. Спросил:

— Усы делаем?

Солдат подошел, поглядел.

— Гитлеровские?

— Можно гитлеровские. Тогда суд строже станет.

— Зачем же мне гитлеровские? — спросил Гаузе.— Я без усов обойдусь.

— Делай гитлеровские,— сказал солдат.

Старичок — чирк-чирк под носом. Гаузе уже знал, что

у него гитлеровские усы. Конечно, суду не понравятся такие усы. А старичок уже чуб на лоб начесывает, салом примазывает.

— Гадок? — спросил у солдата.

— Гадок,— сказал солдат.— Фотографируй.

Гаузе бы поднять руку, стереть усы и чуб, да рука не поднимается. В общем, все равно, это же скоро кончится.

Старичок нырнул под черное покрывало. Оттуда:

— Улыбайтесь!

Из объектива — стекло в сторонку — вылетела птичка, пискнула, спряталась.

— Все! Отличные кадры!

Старичок засунул руку сверху в ящик аппарата. Вытащил фотографии.

Гаузе поглядел.

Фотографии были Гитлера. В парадной форме, с Железным крестом на груди. Совсем на Гаузе не похожи.

— Это не мои фотографии.

— Ах, какая разница,— сказал фотограф.— Других мы не делаем.

Пошли они дальше. Через холл, по широкой лестнице. В большой зал.

Стол вдоль стены. За столом полковник сидит. Капитан Левкой. И еще один лейтенант.

Гаузе поставили у другой стены. Два солдата по обе стороны.

Офицер с Левкоем в шахматы играли. Полковник новый пакет надувал, целенький.

— Привели,— сказал солдат.— Вот повестка. И фотографии.

Офицеры стали фотографии разглядывать. Разглядывают, потом на Гаузе смотрят, сравнивают.

— Он,— сказал наконец полковник.— Фашист номер один.

— Гитлер,— сказал Левкой.— Никакой ему пощады.

— Никакой пощады,— сказал второй офицер.— Твой ход, Левкой.

Полковник отложил в сторону фотографии и повестку.

— Читай дело,— сказал он солдату.

Солдат тот вышел из стены. С папкой в руке. На папке большими буквами: «ДЕЛО».

Прочел:

— Слушается дело Сидорова Семена Ивановича. Он же Адольф Гитлер. Год рождения не установлен. Осужден в тысяча девятьсот сорок пятом году за укрытие своего прошлого и распространение порочащих слухов, по статье 58-а с конфискацией имущества и поражением в правах.

— Сколько ему сначала дали?— спросил полковник.

— Сначала ему смертная казнь через повешение пошла, потом помиловали. Двадцать пять.

— Я сорокового года рождения,— сказал Гаузе.

— Молчи, голубчик, не перебивай,— сказал полковник.— По тебе видно, что ты не старый. Не волнуйся, Адольф. Мы же тебя теперь за побег судим. Мы не мстители. Мы — товарищеская чрезвычайная тройка, понимать нужно.

— Но мне-то можно сказать? Ведь побега не было.

— Правильно,— сказал Левкой.— И быть не могло. От нас не бегают.

Второй офицер достал бутерброд, стал жевать, а Левкой сказал:

— Еще попрошу ему десять суток прибавить карцера. Он меня за палец укусил. Сопротивлялся при аресте.

— Я не сопротивлялся.

— Молчать!

Левкой палец поднял, всем показал. Палец был гладкий, некусанный, белый. Полковник покачал головой и сказал Петру Гаузе:

— Стыдно-то как. Людей за пальцы кусать. А об инфлексии ты подумал? А что если нарывать будет?

Левкой достал из кителя носовой платок, стал палец заворачивать.

— А за геноцид ему прибавим? — спросил второй офицер.

— Кровь за кровь,— согласился полковник.— Смерть за смерть. Еще пять суток. А теперь ты нам расскажи, что в Москве нового? Что в театрах? Как Уланова, пляшет еще?

— Подождите,— товарищи,— возмутился Гаузе.— Я

буду жаловаться. Вы совершенно невинного человека хватаете, судите...

— Увидите эту фашистскую сволочь! — взмолился Левкой.— А то я его собственными руками растерзаю.

— Да,— вздохнул полковник.— Придется увести. А ведь такой интересный разговор завязался.

И увели Гаузе. По дороге обратно он усы стер и хохол поправил.

И вернулся в камеру почти нормальный, только бритый.

7.

— Чего? — спросил беззубый старик.

— Десять лет прибавили,— сказал Гаузе.— И еще пятнадцать суток карцера. Под Гитлера гримировали.

— Многих гримируют,— прошамкал старик.— Только непохоже.

— Эй, Василий! — раздалось из-за окна, сверху.

— Здесь я!

— Держи.

По наклонной трубе — от окна вниз — пакет бумажный.

Старик в него вцепился, развернул. А там две челюсти. С железными зубами. Сверкают.

Вставил в рот, пощелкал. Хорошо.

— Хорошо? — спросили сверху.

— Хорошо? — сказал старик.

Оскалился на Гаузе.

— Хорошо?

— Хорошо.

— Три бы пайки сожрал.

А тут стук в дверь. Официальный.

— Войдите,— сказал Гаузе.

Полковник, Левкой с шахматной доской подмышкой, второй офицер с папкой.

За ними стол принесли, стулья. Портрет в золотой раме.

Чей портрет? Сталина.

Все это в камере рассталили.

Товарищеская чрезвычайная тройка рисовалась.

Офицеры сразу шахматы раскинули. А шахматы у них к доске приклеены. Навечно.

— Ты что здесь делаешь?— спросил полковник у Гаузе.— Мы же тебя уже осудили.

— Я здесь живу,— сказал Гаузе.

— Ну тогда оставайся. Смотри, как мы расправляемся с врагами народа. Читай, солдат!

Солдат папку у офицера взял. Раскрыл.

— Слушается дело Чапаева Василия Ивановича, год рождения не установлен. Осужден в тысяча девятьсот тридцать восьмом году за связь с врагами народа, измену Родине и особо тяжкие преступления по статье 58. Приговорен к двадцати пяти годам заключения. За неоднократные побег и полную безнадежность исправления 18 ноября 1973 года приговорен к смертной казни, вторично приговорен к смертной казни в следующем году за убийство секретного сотрудника администрации лагеря. Казнь не приведена в исполнение.

— Хватит,— сказал полковник.

«Вот кому Троцкий сапоги вручал,— догадался Гаузе.— Чапась. Герой гражданской войны».

— Это тот самый Чапаев?— спросил Гаузе у полковника.

— Мы других не держим,— сказал полковник.— И не мешай, а то и тебя приговорим.

— Но он же в реке Урал утонул. Я в кино видел.

— Молчи, Гитлер,— сказал Левкой.— По тебе тоже всевка плачет.

А солдаты снова зубо врачебное кресло ташат.

— Что перед смертью нам скажешь?— спросил полковник.— Скажи, только покороче.

Старик только головой взбрыкнул.

— Где Морозов? — рявкнул Левкой.— Где доктор? Кто будет нам смерть утверждать?

— Василий Иванович! — закричал в сердцах Петр Гаузе.— Вся наша страна любит и помнит Вас! Никто не забыт, ничто не забыто! У нас в глазах стоит ваша героическая гибель в реке Урал. Пионерские дружины и колхо-

зы названы вашим именем. Память о вас не сотрется в памяти народной.

Из этой речи можно заключить, что Петр Гаузе, человек прямой и честный, сущий русак, воспитан был в комсомоле и любил наблюдать телевизор.

— Ты слышишь, враг народа, что о тебе говорят?— спросил полковник.— А ведь врать не станут. О тебе, понимаешь, пионерские дружины названы, и даже колхозы, а ты побегам занимаешься. Ну неужели тебе не стыдно? Пожилой человек.

— И за палец меня укусил,— сказал капитан Левкой.

А второй офицер быстренько стащил с себя китель, набросил на плечи белый халат — оказался доктором Морозовым. Как же его Гаузе на своем собственном процессе не узнал?!

Солдаты пристегнули Чапаева ремнями, только усами он похож на легендарного героя.

Капитан Левкой с трудом оторвал ладью с шахматной доски, протянул привязанному герою.

— Пожуй,— говорит.— Перед смертью побалуй свой жслудок.

— Послушайте,— сказал Гаузе,— несмотря на несправильность того, что имст место, скажите, что вы собираетесь делать?

— Приводить в исполнение,— сказал доктор Морозов.— Приговор приводить.

А сам градусник достал и старику — подмышку. Тут же вынул и кивнул начальству.

— Можно начинать, пульс в норме, давление повышенное.

— Теперь тебе не уйти от справедливой кары,— сказал полковник.— Гляди. Крепкий.

Он развернул пластиковый пакет, попыжился, надул его, как детский шар.

— Покайся перед народом,— сказал полковник.— Покайся, Чапай. Много тревог доставил ты органам. И никто тебе не поможет. Нет же у тебя зубов. Нету?

А старик все не каялся.

— А как казнить будут? — спросил Гаузе у доктора Морозова.

— Сейчас увидите,— отпустил доктор. Патронов нет, веревки кончились. Но лично товарищ полковник Бессонов знает положение. Настоящий руководитель, капитан индустрии.

Полковник собственноручно накинул пакет на плечо старику Чапаеву, велел доктору Морозову подойти, шнурок у него из ботинка вытащил, начал пакет снизу к шее привязывать.

— Он же задохнется! — закричал Гаузе.

Тут капитан Левкой со всего маха сел толстым задом на Петра Гаузе, пришил его к нарам.

— Очень дешево и экономично,— сказал доктор Морозов.— Вы не видели моего термометра? Мне надо смерть констатировать.

— Ну гляди же, враг народа, на торжество твоих победителей! — сказал полковник.

Но тут, вместо того, чтобы глаза выпучить и задохнуться в мучениях, старик Чапаев сильно воздух в себя втянул, пакет к губам прилип, все засмеялись на тщету усилий жизни перед надвигающейся смертью. А старик железными зубами шварк-шварк — в пластике дыра!

— Зубы! — закричал полковник.— Вижу зубы. Железные! Кто ему дал зубы? Последний пакет погубили! Всюду враги народа! Всюду наймиты фашистско-троцкистской разведки. Левкой, погляди у П-234 есть зубы или он их Чапаеву одолжил?

Развернули Петру Гаузе рот, поглядели. А у него зубы на месте.

— Попрошу снять с меня орудие казни, так как она не состоялась. И еще дайте мне бумагу и карандаш, чтобы писать жалобу в Президиум Верховного Совета,— сказал старик.

— Снять пакет! — полковник ссутулился, постарел.— Назначить следствие. А тебя, Чапаев, мы все равно казним. Вот пришлют нам винтовки и веревки, обязательно казним.

Полковник быстро вышел. Остальные за ним. Только капитан Левкой задержался. Протянул Петру Гаузе листочек бумаги. Шевельнул носом — и нет капитана.

На листочке маленькими косыми буквами:

«Министру государственной
безопасности и внутренних дел
товарищу Л.П. Берия
и лично товарищу Сталину
от капитана госбезопасности
Л.Е. Левкоя.

З а я в л е н и е

Довожу до сведения присланного Вами для проверки состояния спецособлага № х под видом заключенного № 232 сотрудника, что начальник лагеря полковник Бессонов замечен мною в связи с врагами народа, а также нарушает режим и присваивает довольствие комсостава, а партийных собраний не проводилось более года».

— Странное письмо,— сказал Гаузе.— Почему мне?

— А потому что ты странный человек,— ответил Чап-ев.— Двадцать пять лет ревизии не было.

Есть мнение, что ты — ревизор.

Старик кейфовал на диване, нежился после победы.

— Что же мне делать?

— Подшей к делу и жди.

Тут старик достал из щели за нарами синюю папочку, на которой было печатными буквами выведено:

«ДЕЛО»

полковника МГБ Бессонова Терентия Васильевича.

Начато 29 августа 1976 года. Закончено расстрелом...»

Дата последняя еще не проставлена. А дата начала — сегодняшняя.

Ну и старик. Уже успел. Может они с Левкоем заодно? Кто их тут всех разберет?

Махнул Гаузе мысленно рукой, подшил в дело жалобу на начальника лагеря и спросил:

— Вы говорите, Василий Иванович, что здесь никто двадцать пять лет не проверял. Как это понимать?

— А так и понимай. У нас лагерь специальный. Для

особо важных преступников, которых следует забыть. К нам и до пятидесяти третьего года редко начальство заглядывало. А с тех пор никто и не приезжал. Даже не знаю — доходят ли до товарища Вышинского и лично до товарища Сталина мои бесконечные жалобы.

— Погодите! — воскликнул тут Гаузе. — Если к нам никто не приезжал, значит, о вас забыли!

— Нельзя забывать. Никто о нас не забывал. Просто усилили секретность, — сказал старик. — Так усилили, что птица без разрешения не пролетит.

— Нет, забыли, — упорствовал Гаузе. — Не может быть, чтобы патронов не привезли. Подумайте, Василий Иванович, — разве может быть, чтобы патронов не подвезли?

— С патронами ты меня уел. С патронами не объясню. А может, экономят?

— Неужели бы на вас пулю пожалели?

— Нет, на меня бы не пожалели. И все-таки, с чего бы им о нас забыть?

— Потому что времена изменились.

— Времена не меняются, — старик сказал. — Люди меняются, а времена не меняются.

— Сталин умер, Берию расстреляли. И как раз в пятьдесят третьем. Двадцать три года назад!

— Чего?

— Сталин, говорю...

— Врешь, — сказал старик. — Теперь-то я вижу, что ты и в самом деле — Гитлер, враг нашей Родины. Сталин никогда не умрет.

И как уж Гаузе старался, убеждал, но старик Чапаев был непреклонен.

— Потому что, — говорил он, — товарищ Сталин — мой друг и защитник.

И рассказал полководец Чапаев свою биографию.

8.

— Ранили меня на реке Урал белые гвардейцы и взяли в плен. А я в исподнем был. Спрашивают: «Хочешь ли ты смерть принять или будешь нам честно служить?» А я

отвечаю: «Как я есть мобилизованный насильно в Красную Армию крестьянин, то мне все равно, кому служить». Такова была моя военная хитрость. Ну, перехитрил я их, дослужил у них до конца гражданской, потерпел вместе с ними поражение, но скрылся от наказания, а поселился на хуторе, у одной вдовы, и жил спокойно, даже в колхоз вступил. Пошел как-то в кино, а там картину мне показывают про подвиги товарища Чапаева. Понял — про меня. Рассказал я жене об этом событии, а она мне говорит: «Объявись, может, пенсию выдадут». Сообщил я о себе куда надо, проверили мою биографию, стали думать, что со мной делать, если я героически погиб много лет назад. Привезли меня в конце концов к товарищу Сталину. Принял меня вождь и говорит: «Не знаю, что с тобой делать. Столько мы с тобой вместе боевых верст прошли, Царицын защищали, Колчака разбили, из одного котелка щи хлебали, а вот теперь не могу тебя в живых оставить». Пригрозил вождь, а я его спрашиваю: «Почему, Сосо, не можешь?» А он отвечает: «Не могу я народ обмануть. Народ полагает, что ты — погиб геройской смертью, а не нанялся врагам в наймиты». «Может,— спрашиваю,— отпустить меня обратно в деревню?». «Нет,— говорит,— там уже многие знали. Пришлось уже твою жену ликвидировать и других раскулачить. Нет, убивать я тебя не могу, хоть и настаивает на этом моя государственная безопасность. Лучше я, в память о походах, дам тебе вечный срок. Живи». Вот так, выпили мы с вождем, поблагодарил я его за милость и уехал сюда. А ты говоришь — умер. Нет, с такой мудростью не умрешь.

— Так чего же вы тогда бунтуете? — Гаузе спросил. — Покорялись бы!

— Вот тут ты не понимаешь,— Чапаев возразил.— Не знает наш вождь, что вдали от него подручные творят. Скрывают от него правду. Сталин только изолировать хотел — а им бы со свету сжить. И ты меня не сбивай, потому что я у меня идеалы есть. Дойду до Сталина и всю правду ему расскажу. А если, по твоей вражеской версии, Сталин умер — к кому я пойду? Вот достроим мы железную дорогу на помощь китайской революции, я тогда выйду по амнистии и все Сталину расскажу.

— Не нужно уже помогать китайской революции, сказал печально Гаузе, хоть и не рассчитывая на понимание.— Потому что власть в Китае захватили враждебные нам клика Мао Цзедуна.

Старик и возражать не стал такой крамоле и идиотству. Только подошел к двери и крикнул в задвижку:

— Возьмите от меня врага народа, сущего Гитлера, с которым я оставаться не могу — задушу его ненароком. Как Бухарина задушил, чтобы он на честных зеков начальству не стучал.

9.

Отделили Гаузе от честного полководца, повели по коридору. Солдат спросил его:

— Ну куда тебя, врага, подселить?

Открыл дверь соседнюю. Там сидит за столом человек в железной маске, забрало маленькое приоткрыл, хлеб туда крошками пихает.

— Принимайте врага,— солдат сказал.— Чапаев с ним жить не хочет.

— Почему же?— человек в железной маске спросил. Голос глухой, внутри маски звуки блуждают, с трудом наружу выбираются.

— А он вредные вещи высказывает. Будто товарищ Сталин дуба дал, а товарища Берию расстреляли.

— Расстреляли? Нет, такого я не приму. Веди дальше.

А в коридоре уже полковник Бессонов стоит.

— Что случилось? — спрашивает.

Объяснил солдат.

— Не знаю, что с тобой делать. Клевету распространяешь, надо бы тебя засудить, да суд на перерыв удалился. А что у тебя за папочка в руке?

— Эта?

Гаузе и забыл, что папку с делом Бессонова с собой из камеры унес.

Взял папочку полковник Бессонов, прочел заявление, вернул папку Гаузе и говорит:

— Не верь ты им, П-234. Собрание мы в прошлом

месяце проводили. Левкой на него сам не пришел. Значит, говоришь, Сталина с Берией расстреляли, а о нас забыли?

— Сталин сам умер.

Полковник к ушку Гаузе наклонился и прошептал:

— Очень даже допускаю. Давно пора.

Вслух как завопит:

— За такую клевету мы тебя в живых не оставим! Ты на что руку поднял? Ты кого обидел? Ты в лице наших вождей всех рядовых сотрудников безопасности обидел!.. Что же мне с тобой сделать?

— Я лучше уйду от вас,— сказал Гаузе.

— Нет, уйти ты не уйдешь, отсюда никто еще не уходил. Мы лучше тебя психом объявим. В госпиталь изолируем. А ну, охрана, выкинуть из больницы всех симулянтов!

— Но нет уже лагерей! — возмутился Гаузе.— Вы не имеете права!

— Лагерей нет, говоришь? — удивился Бессонов.— А наш как же?

— Ваш — это не лагерь. Это... мамонт! По ошибке существует. Как только узнают, вас разгонят.

— Слушай, П-234, а Министерство госбезопасности есть?

— Оно теперь называется Комитетом, и в нем сидят настоящие ленинцы.

— Есть значит?

— Но не имеет ничего общего...

— Ну, тогда все в порядке. Скоро понадобится. Ведите психа в больницу. Слов его всерьез не принимать!

10.

В больнице у Гаузе свой закуток, фанеркой от пустой палаты отгорожен. На койке одеяло, райская жизнь, отдых для измученной души. Только окно с решеткой.

Доктор Морозов знакомый, зубы рвет, градусники ставит.

— Здравствуйте,— говорит.— На лекарства не расчи-

тывайте. Нет для вас лекарств. К тому же нам приказано уморить тебя. Так что готовься. И распишись заранее.

Еще бумажка.

«Справка.

Дана в том, что заключенный Гаузе Петр Петрович скончался от диабета в лагерной больнице 1 сентября 1976 года.

Врач больницы,
доктор медицинских наук
Павел Морозов».

— Не буду расписываться,— сказал Гаузе.

— Придется,— сказал доктор.

— Ну ладно,— сказал Гаузе.

И на бумажке, сверху, как резолюцию, наложил:

«Умирать отказываюсь. П. Гаузе».

Доктор Морозов расстроился.

— Как же я такую справку людям покажу? Такую справку показать нельзя.

— И не показывайте,— сказал Гаузе.— А почему это мне ваша фамилия и имя где-то встречались?

— А я — человек известный.

— Доктор медицинских наук?

— Это — должность такая. А известен я с иной стороны. Я на папу своего написал. А потом меня кулачье убило. И погиб я героической смертью.

— Павлик! — сказал Гаузе.— Разумеется. Вам памятник на Красной Пресне стоит, к вам пионеров водят.

— Пускай водят,— сказал Павлик.— Вы только резолюцию свою со справки снимите, не могу же я с такой резолюцией вас диабетом уморить.

— Так значит и вас не убили?

— Убили, убили. Их как прижали, они во всем и признались. А со мной что делать? Пришлось меня изолировать, чтобы не портить картину классовой борьбы. Только вы не думайте, что я здесь заключенный! Я уже давно выслужился. Чин имею, докторскую диссертацию по медицине получил лично от товарища Бессонова. Скоро обещали академиком избрать.

— Врет он все — из-за фанерной перегородки донеслось. — Не быть ему академиком. Публикаций мало.

Тут заглянула знакомая — красивая женщина, что доктору ассистировала. Глаза у нее зеленые оказались, зрачок поперек, как у кошки. Злая.

— Там комиссары пришли, — говорит. — Принимай.

За открытой дверью в коридор шли вереницей старики. Двадцать шесть стариков насчитал Гаузе.

— Ну, я пошел, — сказал бывший пионер Павлик Морозов. — Бакинские комиссары пришли, будут от меня лекарств требовать. А откуда я им лекарств возьму?

Не стал Гаузе уточнять, как же комиссары в живых остались. А почему бы им и не остаться?

Опустел закуток. Гаузе решил, что пора ему в борьбу включаться. Ни минуты нельзя даром терять. Некоторые уже его бояться начали. Вот и начнем: постучал он в фанерную загородку. Там кто-то лежит. Больной, но живая душа.

— Вы меня слышите? — спросил.

— Слышу.

— Сталин умер, — сказал Гаузе. — Все лагеря закрыты.

— Ну уж и все, — ответил голос. — Поверить трудно.

— Ваш лагерь — историческая ошибка. Ее нужно исправлять.

— Нет, — сказали из-за фанерки. — Нельзя нашей стране без лагерей. Страха не будет. Погибнет без лагерей советская власть.

— В нашей стране восстановлены демократические права граждан. О них печется лично товарищ Брежнев. А о вас забыли. Надо сообщить. Помогите мне. Виновные будут наказаны.

— А кто же виновный?

— Хотя бы начальник лагеря Бессонов, который при мне пытался варварским способом убить героя гражданской войны товарища Чапаева.

— Ага, еще не помиловал, а уже наказывать собираешься. Вот твоя российская логика. Одних освободить, других засадить. Нет, не выйдет.

Отогнулась фанерка. Видит Гаузе — по ту сторону сто-

ит прибранная койка, на ней — в полном обмундировании, в сапогах лежит полковник Бессонов.

— Вот я тебя и проверил. Псих ты и есть.

Вскочил он на кровать Гаузе и стал его ногами топтать. Давил в болезненные места так, что завопил Петр Гаузе.

Прибежала тут медсестра Полина с зелеными глазами и метнула в начальника лагеря полковника МГБ Бессонова стеклянной кружкой от клизмы. Кружка вдребезги. Бакинские комиссары, что в дверях толпились, — в слезы: только они надеялись, что им клизму поставят, а нет клизмы. Полковник ушел.

Так Гаузе начал в госпитале жить.

11.

Ночью в госпитале темно, на окне решетка. Петру Гаузе не спится, голодно, курить хочется. Там, за лесом, люди в театры ходят, БАМ строят, озеро Байкал от загрязнения спасают — свобода! А здесь концентрационный лагерь-Китеж досасывает кровь у невинных жертв — единственное родимое пятно беззакония на всех просторах Родины. И долг Петра Гаузе, коренного русака, сообщить, пресечь и прекратить.

Присел Гаузе к столику, нашел там свою справку о смерти, забытую Павликом Морозовым, написал на ней при свете луны листовку:

«Товарищи заключенные! Вас обманывают! Сталин умер четверть века назад! Враг народа Берия расстрелян! Все остальные заключенные реабилитированы и вернулись к производительному труду! Требуйте немедленных контактов с областными и партийными организациями! Не сдавайтесь в борьбе за ленинские принципы, восстановленные Центральным комитетом!»

Убедительная листовка. Острая.

Гаузе листовку в комок свернул и в окошко между решетками запустил.

Комочек под луной белым мотыльком пролетел, только к земле приблизился, как из-за барака выскочил человек, Луна в погонах отражается. Полковник Бессонов не спит,

бдит. Подхватил листочек, сжевал, кулаком окошку погрозил. И все тихо.

— Ничего,— сказал Гаузе.— Мы — коренные русаки, народ твердый.

Только он в кровать нырнул, как в окне что-то показалось. Светлое.

Разделилось светлое на полосы, проникло сквозь решетку, собралось воедино.

Стоит в закуточке привидение.

Знакомый образ. В мундире генералиссимуса. С усами и орденами.

Товарищ Сталин. Полупрозрачный, Луна просвечивает.

Сказало привидение печальным голосом:

— Петр Петрович, не смущай мою державу. Учти, что ничего у меня не осталось, кроме убежища человеческих душ, которые скорбят по сильной руке и ждут моего возвращения, да этой территории. Ничего! Предупреждаю, руки прочь от моего лагеря! Во сне придушу.

— Нет,— говорит Гаузе, хоть и перепугался.— Это не материализм. Уйдите, пожалуйста. Вы меня своими дешевыми эффектами с пути не собьете. Что же, теперь прикажете всю жизнь здесь сидеть?

Но нет уже привидения — растворилось оно в темном воздухе, а в закуток дверь раскрылась — там Полина стоит.

— Ты с кем это беседовал?

— Со Сталиным. А вы что в таком виде?

Полина не ответила. Вид у нее грустный. Халат порван, на щеке царапина, волосы лохмами.

— Вас кто-нибудь обидел?

Достала Полина из стеклянного шкафчика йод, поморщилась, щеку вымазала. Сама сказала:

— Насиловали меня. Устала я от этого. Чуть я чем Бессонова обижу, начинают меня насиловать. Ну сколько это может продолжаться?

— Какое безобразие! — сказал Гаузе.— И это тоже будет учтено!

— Иди ты,— сказала Полина.— Как я есть лагерная блядь, то жаловаться некому. Спокойной ночи. Смешной ты все-таки.

И ушла.

Утром Петр Гаузе проснулся бодрый, голодный, к борьбе готовый.

Таких у нас не любят. Его бьешь, а он все борется.

За окном сирена. Лагерь поднимается.

Гаузе под конвоем в сортир сходил, утренней баллады похлебал. А там и снова сирена гудит, на работы заключенных созывает.

Гаузе — к окну, прижался к решетке, смотрит, какая жизнь там идет.

Народ из бараков на плац тянется, охранники ругаются, перекличка идет. Зеки пожилые, даже старые есть. В драных ватниках да в опорках.

Пора бы из лагеря выходить, но ждут.

Дождались.

Из большого дома капитан Левкой вышел. Носом повел, строгость во взгляде.

— Первый барак! — кричит. — На художественную самодетельность оздоровительного характера становись!

Побежали старики и пожилые люди, строятся в каре.

— Пирамиду, посвященную справедливой борьбе китайского народа против гоминдановских предателей и мирового империализма, строй!

И послушно лезут зеки друг другу на плечи, подставляют спины и колени, строят живую пирамиду, как на физкультурном празднике. Качается пирамида под студеным ветром, трудно.

— Наверху! — кричит Левкой. — Где держатель красного знамени?

Но нет никого наверху. Незавершенная пирамида. Потому что положено там стоять Сидорову, зеку № П-234, погибшему в лесу.

— В больнице он, — сказал кто-то.

И вот уже топот в коридоре — бежит солдат, хватается Гаузе.

— На торжественную пирамиду, бегом!

Привели Гаузе, в одних кальсонах, суют в руки красное знамя с пятью китайскими звездами, и лезет он по-

слушно по старческим плечам, а его зеки подгоняют: скорей, сил больше нету!

Добрался Гаузе до вершины. Знамя развернул. Далеко внизу Левкой успокоился, радуется торжественному виду.

Гаузе покачивается, словно плывет по бурному морю, ветер знамя из рук рвет. И момент подходящий. И кричит бесстрашный Гаузе:

— Товарищи! Вас обманывают! В Китае власть захватила клика Мао Цзедуна! Никакой поддержки клике! Вас обманывают...

Но рухнула пирамида, не выдержали старческие плечи. И с высоты грохнулся Петр Гаузе, держась за китайское знамя.

Левкой повелел:

— Бездельники, симулянты! Контры! Всех без горячего! Зеки строятся, а Гаузе в больницу вернулся.

В закутке изменения. Бессонов пришел, сталинский портрет принес, на стенку приколотил.

— Ты ему в глаза гляди,— приказывает.— Может, стыдно станет.

— Нет такого человека,— Гаузе настаивает.— Памятники его сняли, города обратно переименовали, колхозы тоже.

— А Сталинград? — Бессонов спрашивает.— Что с ним?

— Волгоградом называется,— сказал Гаузе.— На всех картах.

— Значит Волгоградская битва теперь? Ну и сволочь ты, П-234, но завираешься.

Махнул рукой, расстроился такому упорству. Ушел.

Вместо него другое явление: Полина. Красивая, только иодом шрам покрытый через всю щеку.

— Как тебя зовут? — спросила Полина.

— Петр Гаузе.

— А номер какой?

— Нет у меня номера. Теперь свобода. Все без номеров ходят.

— Не внушай иллюзий,— сказала Полина.— Ведь хочется верить.

— Вы верьте, обязательно верьте.

— Обидно разочаровываться. Хотя что мне — всегда одинаково.

— Здесь у вас привидения ходят, — переспросил Гаузе.

— Ага, я как-то видала, издали. Генерал какой-то. Наверно, из замученных. Одних генералов здесь много это замучили.

— Нет, не генерал. Сталин.

— Его сюда не сажали. Я бы узнала.

— Но ведь ходит.

— Нет, я бы узнала.

— Я его точно узнал. С погонами и с усами.

— Молчал бы ты лучше, Гаузе. И так тебя за Гитлера здесь держат. У них просто. Приговорят, в пакет и задохнешься.

— Но они уже сомневаются. Я в них сомнение заронил.

— Глупый ты, Петя. А что с того, что Сталин помер? Они этого Сталина и в глаза не видели. Они сами по себе. И никто их не тронет.

— Как увидят, так тронут. Обязательно тронут.

— А так уж ты уверен, что никто про наш лагерь не знает?

— Я убежден в этом.

— А с кем он по телефону разговаривает?

— Нет у него телефона. Провод разрезан.

— А я слыхала.

Тут Павлик пришел, Полину отослал по делу. Был он изволнован, молоденький, а старичок.

— Вы уж простите, — сказал, — если ваши сведения правильные, как мне можно рассчитывать работу по специальности найти?

— Как доктору медицинских наук?

— Нет, — сказал Павлик. На кровать с краю присел, чтобы потише говорить. — Я писатель. И художник.

— И что же вы написали? Воспоминания?

Невзлюбил Гаузе Павлика. Что ты будешь делать? Не за его прошлое, а за зубы Чапаева.

— Я роман написал. И еще повесть. И несколько картин имею. Кроме того, из корней и сучков могу делать

композиции. Я вам балерину Уланову покажу. Не отличите от настоящей.

Смылся Павлик, а тут уж и капитан Левкой в дверь лезет.

— Вы дали ход моему заявлению? А то я жду, а меня не вызывают. Это непорядок. Должны вы меня вызвать.

— Вызову,— сказал Гаузе.— Некогда сейчас. Вы бы мне помогли пока что отсюда уйти.

— Ни в коем случае! — испугался Левкой.— Это же нарушение.

— Тогда ждите.

— Жду. Надеюсь. Могу рассчитывать на место начальника лагеря? Кстати, должен вам сказать, что Бессонов держит под крылышком царского агента, провокатора из охраны.

— Кого же?

— Ах, не знаете?

Левкой улыбнулся, покачал перед носом Гаузе забинтованным пальцем.

— Вы тряпочку снимите, неудобно как-то.

Но Левкой не успел подчиниться — Павлик в дверь. Несет сооружение из корня. Напоминающее паука.

— Вот!— кричит.— Балерина Уланова. Похоже?

Тут он увидел капитана Левкоя. Оробел. Стал балерину за спину прятать.

— Ага,— сказал капитан.— Писатель! Художник! Где обещанное?

Но Павлик задом к двери — улизнул.

— Лови его! — Левкой за ним. Потом обернулся:— Вы, товарищ начальник, пошли со мной. Мы сейчас выследим его склад. Сейчас мы его выловим. Он туда побежал.

— А чего вы ищете? Куда он побежал?

— Он на склад побежал. Склад у него есть. Как кто в больнице умирает, он перед смертью у него на сохранение все самое дорогое берет. И куда-то складывает. Каждый раз обещает со мной делиться. И не делится. Понимаете, какая сволочь?!

Выбежали в коридор. Никаких следов Павлика. Сгинул.

— Сделаем,— сказал Левкой.— Обратите внимание.

Он встал на четвереньки.

— У меня,— нос к Гаузе повернул,— замечательный нюх. Я раньше розыскной собакой служил. В породе доберман-пинчер.

И побежали они по коридорам, все ниже под землю, по лестницам и закоулкам. Большой дом. Очень большой.

— Что тут раньше было?

— Сибирский граф один жил. Деньги на партию давал.

— А потом?

— Когда потом?

— После революции.

— Взяли графа.

Еще поворот. Дверь в стене притворенная. Подвал сводчатый. Под потолком люстра сверкает. Вещи свалены. Громадной грудой. Рядом Павлик Морозов, держит в руках балерину Уланову, дрожит.

— Попался, голубчик! — Левкой уже человеческое положение принял.— Что скажет про твоё поведение товарищ из Москвы?

— Он будет ходатайствовать. Как за литератора.

— Отдавай духовные ценности!

— Это все мое. Это все мне завещано.

— Отойди. Инвентаризация настала. Откуда начнем?

Говори, председатель комиссии.

И на Гаузе смотрит.

Гаузе любопытство разбирает.

— Давайте с рукописей начнем.

— Не погубите, все мое! Вот, глядите.

Павлик начальнику, Петру Гаузе, в руки тетрадку сует.

— Я сам написал.

На обложке написано:

«Евгений Онегин». И другим почерком: «Сочинение Павла Морозова».

Открыл тетрадку Гаузе — знакомые строчки, перу Пушкина принадлежат.

— Как это к вам попало?— спросил.

— Это я сам написал. Длинными ночами.

— Что-то знакомое,— сказал Левкой,— Где-то я это проходил. По-моему, в школе комсостава нам давали.

— Это Пушкин написал,— сказал Гаузе.

— В каком бараке?

— Пушкин умер.

— Ясное дело, умер, здесь все умирают. Никто отсюда живым еще не вышел.

— Вы меня не так поняли. Пушкин умер больше ста лет назад. И не в лагере.

— А где же? На воле?.. впрочем, неважно. Значит, это уже напечатано?

— Давно напечатано. А как сюда попало?

— Неужели не поняли? Я же объяснял. Он перед смертью в больнице у людей все отбирал.

— Это я написал! — плакал Павлик Морозов. — Все что здесь — я написал и сделал. Вот, глядите.

А Гаузе опечалился. Представил себе, как какой-то заключенный огрызком карандаша бессмертную пушкинскую поэму переписывал, чтобы человеческий облик не потерять.

А уже в руках другая тетрадка. И Левкой в ухо холодным носом тычет.

Такого произведения Гаузе еще не видал. «Роман» — написано. И две фамилии на первой страничке: «И. Бабель». И другим почерком: «П. Морозов»

— И он здесь погиб? — спросил Гаузе.

— А хороший писатель был? — спросил Левкой.

— Плохой, — поспешил с ответом Павлик. — Я за него исправления вносил. Евреев убирал.

Левкой быстренько самописку вытащил, свою фамилию вписал, морозовскую вычеркнул, бабелевскую и подавно.

— Как же смее! — возмутился Павлик, а Левкой сказал: — Тебе еще останется.

Ах, Гаузе весь затрясся — тетрадка лежит, «Осип Мандельштам» на обложке. Поэт хороший, тоже, значит, здесь замученный. Стал Гаузе к тетрадке подбираться, а Левкой тем временем на картинах и рисунках всяких свой автограф ставит. Павлик за ним бегаёт, старается свою долю в бессмертии отстоять.

— А это что? А это что? А это что?

— Это неинтересно, это пустяк, это так себе...

Еще шаг до рукописи Мандельштама остался. Соавторы передрались, в углу возятся. Только Петр Гаузе руку к

Мандельштаму протянул — видит: Павлик в уголке със-
жился, а в руке граната:

— Не подходи! — кричит. — Не нарушай мое авторское
право, а в другой руке «Евгением Онегиным» размахивает.

И понял Гаузе — не до стихов, хоть и бессмертных.
Сейчас рванет граната... И он со всех ног из подвала. И по
коридору.

А сзади взрыв!

Такой взрыв, что весь дом зашатался, камни со сводов
подвальных посыпались. Бежит Гаузе — куда, сам не
знает.

Занесло Гаузе в какой-то закут, дресь с петель взрывом
сдернута.

13.

— Кто здесь? — голос в темноте.

— Ах, если бы вы знали, сколько они всего погубили!

— Кто такие?

— Они наследство от умерших здесь делить стали.

— Жалко наследства, — сказал голос. Понятливый.

Хоть и темнота, кажется Гаузе, что он различает —
сидит перед ним древний человек.

— Вы кто такой? — спросил.

— Я вечный заключенный, — голос ответил.

И такое Петру Гаузе поведал.

Родился этот вечный заключенный в древности, много
за правду страдал, наконец, попал он на Русь, когда ее
татары покоряли. Стал он татар за бесчинства укорять,
они его заковали, лет на сто. А он все не умирает. Дожил
до Ивана Грозного, стал ему правду говорить про тяжелое
положение народа, и остальные годы правления этого царя
тоже в темнице провел. И что странно: казни его не берут,
голод не берет, пытки не домучивают. Такое ему от Бога
задание: ходить по истории человечества, правду говорить.
И сидеть за это. Долго ли, коротко ли, дожил этот старик
по тюрьмам до двадцатого века. Тут его и выпустили по
амнистии 1905 года и дали титул графа. Купил он себе
большой дом в лесу, достроил, стал правду проповедовать

и деньги большевикам на революцию ссужать. За что его и посадили вскорости. В семнадцатом году революция произошла, старика сразу же освободили, а потом вскоре и обратно посадили. В подвале того же дома, откуда он большевикам деньги на революцию ссужал. Вот и сидит. Ему теперь автоматически срок продлевают, да забыли, что он здесь. И жалко ему, что из-за этой забывчивости он не одну уж амнистию пропустил. Вот и попросил он Гаузе в конце своей исповеди:

— Как выйдешь наверх, скажи, что мне уж давно выходить пора. Наверно, несправедливости на свете не осталось и помирать мне можно. А если осталась, то мне прерыв нужен для свободного обличения.

— Вот сам выберусь,— Гаузе сказал,— тут же и тебе помогу. Только сложность одна...

— Какая же?

— Не сажают у нас теперь за критику. В худшем случае высылают из пределов нашей страны.

— Ну, это еще не страшно,— сказал старик.— Я в другую страну пойду. Может, найду, где режим кровавый.

— В Чили,— подсказал Петр Гаузе.— Там такие люди нужны.

На том и договорились.

Прикрыл за собой Гаузе дверь, пошел дальше по подвалам, все старался путь обратно к древнему правдолюбцу запомнить. Только забыл вскоре. Совсем заблудился, как в лесу, слава богу привидение Сталина встретилось.

— Я,— говорит Сталин,— тебя поджидаю. Хочу с тобой еще побеседовать. И еще один товарищ с такой же целью тебя ждет.

И пошел Гаузе вслед за привидением Сталина, тот впереди, как слабый источник света.

14.

Старый знакомец — человек в железной маске, ждал их, по камере ходил. Камера не маленькая: кровать с матрацем, электрокамин в углу, стол письменный.

— Здравствуйте,— сказал,— товарищ Гаузе.

Сел Гаузе на стул. Железница Миска и Сталин с двух сторон встали.

— Мы вас пригласили побеседовать, — Сталин сказал. — Дошли до нас слухи, что вы здесь не случайно, а с секретным заданием.

— Закрывать лагерь намереваются, — сказала Железница Миска.

— Я приму все меры, — Гаузе сказал.

— Вот этого делать и не следует, — Сталин сказал. — Неразумно. Мы еще пригодимся, слово вам даю.

— Простите, — сказал Гаузе, — с кем честь имею? А то мне вашего лица не видно.

— Берия он, — сказал Сталин. — Лаврентий Павлович. — Вы с ним по возрасту не встречались, а жаль. Душевный человек, мой сатрап. Убийца.

— Так вот вы какой! — сказал Гаузе. — Скрываетесь?

— Приходится, — сказал Берия. — Иногда глаз чешется, страшное дело. А не почешешь. А вы, значит, Гаузе. Как же, как же, вашего папеньку мы в тридцать втором из партии вычистили за сокрытие белогвардейского прошлого его мамы. А вашу тетюшку Ирину мы в тридцать седьмом расстреляли за связь со своим мужем, осужденным по пятьдесят восьмой. Я правильно вашу биографию излагаю?

Гаузе только отмахнулся. Чего сейчас старое ворошить. Главное прекратить все.

— У вас, — сказал он, — никакой надежды. Я все равно вас разоблачу. Лучше сдавайтесь. Ну чего вы ждете?

— Ждем, — сказал Берия. — Ждем и надеемся. Вот, видишь?

Из-под кровати белый телефон вытащил.

Трубку снял. Дал Гаузе послушать.

А там гудок длинный, потом женский механический голос говорит:

— Ждите ответа... Ждите ответа... Ждите ответа...

— Вот и ждем, — сказал призрак Сталина.

— Не дождетесь, — сказал Гаузе. — Ваш телефон с вокзальной справочной соединен.

Засмеялись бывшие вожди. Потом Сталин сказал:

— А ты отсюда живым не выйдешь, потому что от таких как ты бесстрашных нам большое беспокойство.

Сказал так, и набросились они на Гаузе.

Ну, с призраком несложно справиться. У него хватка слабая. Берия посложнее противник, только от возраста и долгого сидения силу потерял. Но все-таки двое на одного.

Возились они, возились посреди камеры, а тут в дверь полковник Бессонов заглянул.

— Кончайте,— сказал,— товарищи. Пошли, Гаузе, за мной. Нагулялся. Ох, дела, дела...

И увел Петра Гаузе из рук вождей. А пока провожал до больницы, вслух размышлял:

— Изжили они свое, еще как изжили, новую политику надо вырабатывать. Без них, на твердых, демократических началах единовластия.

Призрак сзади по коридорам плелся, бормотал:

— Отдай его нам. Мы погибнем, ты погибнешь.

— А вот я и не погибну,— огрызнулся Бессонов.— Я вывернусь.

В коридорах пахло гарью, на полу валялись куски штукатурки.

— Как там Левкой с Морозовым?— спросил Гаузе.

— Погиб твой Морозов, вечная ему память, большой писатель и ученый. К сожалению, ничего от него не осталось. И Левкой пострадал...

15.

— Где ты был, Петя? — Полина волновалась.— Тут без тебя столько событий, не представляешь!

— Знаю.

— А Левкой на твоём месте лежит. Раненый.

— А мне куда? В общую палату?

— В общей палате репетиция самодеятельности,— сказала Полина. Там зеки будут песни петь под руководством капитана Левкоя.

— В карцер?

— От карцера ключей не найдут. И дверь туда зава-
лило.

— На улицу?

— Нет,— сказал полковник Бессонов.— Вам, товарищ

проверяющий, придется провести ночь в комнате Полины. Я бы сам пошел, да дела. А ты, Полина, не сопротивляйся. Приказ.

Оставил он Петра вдвоём с Полиной.

— Вот такая история вышла,— сказал Гаузе,— Вы не боясь не опасайтесь.

— Я тебя и не боюсь.

В том же большом доме, под крышей, каморка, живет в ней медсестра Полина. Не то заключенная, не то вольная, не то лагерная блядь, не то сестра милосердия.

Кровать девичья, железная в углу. Зеркальце на тумбочке, стул, рукомойник, на стенах фотографии кнопками прикреплены. Окошко с решеткой.

— Здесь, на мансарде, слуги жили,— сказала Полина.— Помойся, если хочешь. Я за тебя беспокоилась. Боялась, что засыпало.

— Жаль, что я доставил вам беспокойство.

— Ты здесь — человек нормальный, не считая Чапая. Остальных всех передушили.

Вымылся Гаузе с мылом, вафельным полотенцем вытерся.

Полина косынку сняла, волосы начала расчесывать. Волосы рыжие, темные. Красота у нес кошачья, сказочная, гибкая.

Охранник ужин принёс. Пайка хлеба двойная, щи почти настоящие.

— Лично от начальника лагеря,— сказал.

Полина ни спасибо, ни звука.

Ушел солдат, Полина как хозяйка, говорит:

— Хотите почитать перед сном, на тумбочке книжка.

Книжка Сетона Томпсона про животных, с рисунками.

Вдруг снизу грянуло:

«По долинам и по взгорьям

Шла дивизия вперед...»

— Это что? — вскинулся Гаузе.

— Самодеятельность. Завтра конец месяца, план выполним, концерт будет. Капитан Левкой старается.

— Он мне сказал, что собакой работал.

— Преувеличивает.

— Я сам видел, как он по следу шел.

— Показуха. Не обращайтесь внимания. У него же родословной нету.

— С вами связана тайна,— сказал Гаузе.

— Какая уж тайна.

В Гаузе возникло странное трепетание. Вдруг понял в синих сумерках, что наступит ночь и лягут они спать. Вдвоем...

— Ай-ай-ай,— улыбнулась Полина.— У нашего молодого человека появились крамольные мысли. Не рассчитывай на взаимность. Разочаруешься.

— Почему вы так подумали?..

— Ты мне на колени поглядел. Робко, но сладострастно. Как старый генерал.

— Простите.

— Да ты не красней. Лучше мне о Москве расскажи. Посумерничаем.

Снизу завывало: «Степь да степь кругоооооом...»

Гаузе про Москву рассказывал, за окном темнело. Полина встала, лампочку вывернула. Стало совсем темно. Охранник из-за двери:

— Не положено, Полина. Отбоя не было.

— Молчи уж. Спать иди.

Певцы охрипли, но пели.

— Что ж,— сказала Полина,— и нам спать пора. Завтра вставать рано. Всех на работу погонят.

— Но ведь не нас с вами.

— Всех. Завтра план месяца выполнять надо. Социалистические обязательства. Дорогу кончаем на помощь китайским братьям.

— Чепуха все это. До китайской границы далеко.

— Это только кажется.

— И Железную Маску выгонят?

— А это кто такой? Я никогда не видела.

— Берия, Лаврентий Павлович. Его вместо расстрела сюда укрыли. Я так полагаю, что двойника расстреляли, а его верные люди — сюда. В забытый лагерь.

— Ты говоришь, что Берия здесь?

— А что такого? Завтра я Пушкина увижу — уже не удивлюсь.

Полина вдруг замолчала, померкла, в себя ушла. В дверь стукнула:

— Эй, солдат, выведи меня в сортир. Потом П-234 выведешь.

16.

Возвращался Гаузе из сортира в камеру, думать бы ему о побеге, о политических переменах, о призраке вождя, а он только об одном: ночь надвигается. Быть ему ночью вместе с Полиной. Глупо устроен человек — раб инстинктов. Где же твое благородство, Гаузе?

Странно преобразилась каморка, пока не было Гаузе. На тумбочке ночник-коптилка горит, у зеркала стоит прекрасная Полина, в шелковом пеньюаре, рыжие волосы распущены по плечам.

— Вы ложитесь, Петр Петрович, я сейчас.

Нет, не пеньюар это, а длинная рубаха до пола, сама, видно, сшила.

Плывет каморка над каменным домом, над подвалами страданий, над глухими звуками песни, держится, руководит капитан Левкой.

Гаузе быстро разделся, стесняясь своих черных трусов и серой рубахи. Простыни чистые, а подушка одна. Может, на полу лечь? Пол ледяной. До утра не доживешь. Не робей, Петр Гаузе, прекрасная лагерная блядь пригласила тебя к себе в постель.

— Я тушу свет,— сказала Полина. И ночник задула.

Под окном хриплые голоса — расходятся с репетиции зеки, идет семьдесят шестой год, двадцатый век движется к закрытию, Олимпиада в Монреале ознаменовалась новыми успехами советского спорта.

Теплое, душистое женское тело скользнуло под солдатское одеяло.

Гаузе, чтобы не упасть с койки, тянет дрожащие руки, обнимает красавицу Полину.

— Не так яростно,— улыбнулась Полина в темноте. Белые зубы сверкнули. А губы Петра Гаузе — ну что поделаешь со своими губами?— вытянулись, отыскивали завиток

волос над ухом. Вздохнула Полина, словно слилась на мгновение с Петром Гаузе... но только на мгновение.

Она уже на спине лежит. Только напряженная рука его плеча касается.

— Полина.

— Тридцать пять лет Полина.

— Мне уйти?

— Куда ты уйдешь?

Молчание.

Гаузе целиком на кровати не помещается, одна нога в воздухе висит. Одежда не хватает. Но к Полине больше не тянется. Любовь должна быть добровольной.

— Ах,— говорит Полина,— совсем забыла, милый.

Поднимается на локте, обнаженной грудью задевает Петра, а он себя успокаивает: ничего, это анатомия, так женщины устроены, вот и все, а мне она, как сестра.

— Вот, держите.

И вкладывает ему в руку пачку сигарет «Дукат» и спички. А сигареты старые, таких не делают, семьдесят две копейки на дореформенные деньги.

— О, спасибо!

Какое счастье закурить.

— Вот блюдечко, будете пепел стряхивать.

Луч прожектора метнулся, бесстыдно в окно залез. Полина лежит, на локоть оперлась, смотрит на Гаузе. Протянула руку, одеяло подоткнула, под Гаузе, чтоб не мерз.

— Расскажите о себе,— попросил Гаузе.

— А что обо мне рассказывать...

— О прошлом.

— О прошлом? Оно далеко было. Я сюда девочкой попала.

— За что?

— А разве дети попадали в лагеря за что?.. Была у меня мама, только я ее не помню, потом какая-то тетя приходила. Пропала. Бабушка была...

— А потом?

Над кроватью стоял полковник Бессонов. Как вошел — непонятно.

— Разговариваете? — ласково спросил. — Услаждаешь ли ты, Полина, нашего дорогого гостя?

Гаузе вскочил, черные трубы

— Не смейте,— кричит,— думать...

— А я по делу,— сказал Бессонов.— Ключи мы нашли. Вход расчистили. Все в порядке. Не будем мешать Гаузе, больше мешать. Иди к своему Чапаеву, ты не оправдал наших надежд.

17.

Чапаев сел на нарах, зубы блестят, сапоги блестят, глаза за блестят.

— Молодец, джигит, вернулся!

— Ти-ха,— сказал Бессонов.— Чтобы спать. Завтра трудовой день.

Свет погасили, тихо, сыро.

Шепот Чапаева:

— Вернулся! Теперь мы их вдвоем разнесем. Камня на камне не оставим. У меня программа есть: активного непротивления...

Гаузе отвечает лениво: да-нет, а сам думает о любви.

Так и заснул под шепот Чапаева.

Такой приснился странный сон Петру Гаузе. Вещий или лживый — кто разберет?

18.

К утру приморозило. Гаузе это хорошо почувствовал. Мороз в подвал залез, стенки украсил изморозью, усы Чапаеву закалил, застеклил ледком.

Шум в коридоре. Баланду узникам несут. Охранник в парадной форме, медаль на груди, красный флажок в углу поставил, пайка полновесная, ударный день, большие события, конец месяца, конец великой стройки.

По лестницам, наверх, двери раскрываются — стариков из камер выталкивают — на свежий воздух.

Наверху капитан Левкой стоит. Рожа в бинтах — малиновый кончик носа наружу. Хрипит.

На плацу подпрыгивают, ежатся на морозце зеки —

темная масса, ватники драные, на ноги смотреть страшно. Остатки людей. Другой жизни и нет — а кем раньше были? Вождями? Писателями? Учеными? Тайными людьми? Страшными преступниками? Невинными идеалистами? Кто посильнее душой — погибли, такие раньше погибают.

Чапаев с Гаузе отдельно стоят. Железной Маски нету. Даже на аврал не вывели.

Левкой речь хрипит:

— Граждане заключенные! Сегодня как никогда вы должны доказать, что полностью раскаялись в страшных злодеяниях. Честным созидательным трудом вливайтесь в труд нашей республики! Августовский план невыполнен на двенадцать процентов. Если не закроем его, останемся без премий и горячей пищи. Сегодня мы должны сломить последнюю перемышку, отделяющую нас от светлого будущего. Да здравствует вечная и нерушимая дружба между советским и китайским народами! Да здравствует наш вождь и учитель, первый друг заключенных, родной товарищ Сталин! Да здравствует железный нарком, министр безопасности товарищ Берия! Ура!

— Ура,— мямлили шеренги.

Колонны двинулись к надзирателям, зеки послушно ватники растегивали, надзиратели по бокам проводили, по карманам, а вдруг кто бомбу с собой несет. Тепла жалко, тепло ценное. А некоторые на Гаузе оглядывались — слух о нем прошел. Может, и не зек он, а в самом деле проверяет? А вдруг Сталин умер?

Крамола конечно, не может он умереть, какие доктора на воле, какие лекарства! Нет, не может...

— Эй, штрафная команда, вперед!

Обыскивают Петра Гаузе — а нет ничего у Гаузе. Левкой сзади ждет, топчется, за воротами уже тихонько шоколадную конфетку Петру Гаузе подsunул. Сжевали ее вдвоем с Чапаевым. Одна жалость — конфетка-то из черного хлеба слеплена, хоть и обертка настоящая.

Дорога грязная, истоптанная, скользят зеки, в лужи падают, конвой сердится. По сторонам из леса волки выбежали — наблюдают, не отстанет кто-нибудь? Ведь тогда и пища!

— А вот и насыпь без рельсов.

— Мы эту дорогу строим? — спрашивает у Чапаева

— С сорокового года строим.

— А рельсы где?

— Рельсов не подвезли. Своих мало осталось.

Часа два шли, даже согрелись. Вот и насыпи конец — и обрыв она упирается.

Рухат зеки обрыв, копают его, а на вершине обрыва стоит призрак товарища Сталина, рукой поклаивает, чтобы скорее работали. Тоже, значит, на аврал вышел. Гаузе с Чапаевым землю на насыпь отвозят тачками, а рядом зеки шпалы тянут, вдесятером каждую, надрываются.

— Скорей! — конвой подгоняет. — Навались! Сегодня или никогда.

Кого-то в сторонку отвели, по роже бьют, не ленись в такой торжественный день. Волки из леса вышли, вдоль насыпи расселись, глядят, чтобы никто не убежал. В такой торжественный день и волки празднично настроены.

И увлекает Петра Гаузе героинка коллективного труда. Уже не холодно ему, и не голодно, и даже курить не хочется. Работа создает человека. Смысл в ней есть — потому что она Работа. Что дом строить, что колокол отливать: покажи русскому человеку настоящую работу, он обо всех лишениях забудет. Такая у русского народа натура.

Скоро развалится перемишка — уже слышно, как на встречу стучат. И как назло ручная сирена зудит: обед.

С неохотой отрываются зеки от работы, в очередь встали, кому двести граммов пайка, кому — премиальный пирожок с капустой. Едят, на Гаузе поглядывают. Понимает Петр Гаузе, что сейчас самое время встать и рассказать этим старикам о переменах на воле. Пересилил усталость Гаузе, поднялся, чтобы речь начать, а тут капитан Левкой, пронизательный, замотанный бинтами, подскочил:

— Поел? Готов! На работу!

И растащили зеков по рабочим местам.

Чапаев рядом тачку тащит и говорит:

— Не расстраивайся. Я договорился в первом бараке. Ты с сообщением сегодня ночью выступишь, с информацией. Очень люди истосковались по свежему слову. У нас же радио сломанное. Только музыку передает.

— Не разговаривать нужно...— начал было Гаузе, но тут шум, грохот, крики. Рухнула перемычка.

Рухнула перемычка, славный момент наступил.

— Ура! — охранники закричали.

Зеки рады бы покричать, но сил нет, валяются на насыпь, охранники сами вперед ринулись, землю руками разбрасывают — увидеть спешат тех, кто им навстречу идет.

А там, навстречу, тоже охранники.

Такие же.

Обнимаются с нашими. Победа!

А за охранниками зеки, лежат на той, дальней насыпи, без сил.

Странно все это Гаузе, не такого он ждал. Неужто и второй лагерь в лесу спрятан?

А тут рельсы подтащили — сторонись! Два хлыста с каждой стороны.

Полковник Бессонов спешит. За ним лагерные художники свернутый брезент несут. Развернули брезент вертикально, укрепили. С двух сторон на нем паровоз изображен. Видно — несется на всех порах по завершённому пути. Из трубы дым, красный лозунг на передке.

Висит брезент поперек насыпи, на месте перемычки. С какой стороны ни посмотришь — паровоз несется.

Встал полковник Бессонов перед паровозом, не боится быть задавленный.

Фотограф-парикмахер камеру притащил, птичка вылетала. Снимает Бессонова на память потомству. А по бокам охрана.

— Открываю движение по великой магистрали! — говорит Бессонов.— Награждаю отличившихся ударников внеочередным свиданием с родными и дополнительной посылкой, как только свидания и посылки возобновятся.

Обежал Бессонов брезент, с той стороны эту операцию повторил.

— Так куда же дорога ведет?— Гаузе у Чапаева спросил.

— Ясное дело, никуда,— Чапаев ответил.— Тридцать лет ее строил. Большой круг мы совершили и сегодня замкнули. Четные бараки с нашей стороны, нечетные — с той. Неужто до сих пор не понял?

Вернулись к лагерю в темноте. Охранники волновались, покрикивали, волки глазами, как угольями, из чащи сверкали, звезды на небо высыпали, как волчьи глаза.

Перед лагерем, когда до тепла барачков осталось всего ничего, колонну остановили. Ждать на морозе. Видно было, бегают по лагерю охранники, что-то произошло. У ворот сам полковник Бессонов руками машет.

Так и простояли, наверно, полчаса, чуть не вымерзли совсем. На счастье, охранники тоже люди, морозу подвержены. Лейтенант к воротам сбегал, покричал там, пожилой лейтенант, под шестьдесят, ему на пенсию бы, а не зеков по лесу гонять. Сдвинулось, погнажи.

Гаузе так замерз и измотался, что не заметил, как в карцере оказался.

— Что случилось? — беспокоился Чапаев. — Сегодня ночью нам с тобой в барак идти, агитацию проводить. А что если шмон?

— Как же мы в барак попадем?

— Там, за нарами, ход.

— И никто не знает?

— Им особо не попользуешься.

А почему — не сказал.

Сопит Чапаев, возится на нарах, а Гаузе сел на табурет, переживает — давно Полину не видал. И на строительном аврале ее не заметил. Как она тут?

— Кто такой? Что такое? — это Чапаева голос.

Из щели, узкой, черной — кошке не уместиться — Полина вылезает.

— Не выдавайте, Василий Иванович.

— Ты как сюда попала? Как нашла тайное место? Тридцать лет ни один чекист не нашел.

— От нужды найдешь.

Гаузе к Полине бросился, руки ей жмет.

— Рассказывай, дорогая. Как ты, что с тобой?

Чапаев даже сплюнул от такой нежности. Отвык.

Полина на нарах скорчилась комочком, зубы стучат:

— Я Берю убила.

— Кого? — Чапаева удивить трудно. А сейчас железная челюсть — бах на пол.

— Берию. Железную Маску.

— Он здесь содержался?

— Да, — это Гаузе подтвердил. — Я с ним разговаривал.

— Разговаривал — а мне ни слова.

— Когда же? Мы с тобой железную дорогу строили.

Снова Гаузе к Полине обернулся, гладит ее по руке, успокаивает. Она дух перевела, рассказала:

— Я от тебя узнала, что он здесь. За столько лет не догадалась. Лагерь пустой, все на работах, я полы мою. Взяла таз, тряпку, вниз пошла. У конвойного ключи взяла — он меня знает — стала камеры отпирать. Вот и нашла Железную Маску. Может, я бы и не убила, но он меня как увидел, обнимать бросился. Кричать-то мне нельзя — охранник ушел, подвалы глухие. Тут я его руки узнала.

— Чего? — не понял Гаузе.

— Руки узнала. Видела я эти руки. Давно еще, в той жизни. И задушила я его. Не знаю как, но задушила. И бежать...

— Ты не бойся, — сказал Чапаев. — Они тебя по баракам ищут.

И тут тихий смех раздался.

Стоит посреди камеры призрак вождя народов Сталина, призрачную трубку сосет, ухмыляется.

— Хотел Лаврентий пересидеть, пересидать, времени своего дожидаться. А не дождался. Теперь я один остался...

— Товарищ Сталин, — Чапаев вскинулся, руки по швам. — Докладываю, что подвергался унижениям и издевательствам. Вы, товарищ Сталин, даже не знаете, какие зверства здесь вашим великим именем прикрывались.

— Ах, знаю, все знаю, — призрак сказал. — Только выбились они из-под моего контроля. Ну ничего, Чапаев, мы с тобой их всех скрутим... А пока прощайте, надо что-то с вами сделать.

— С нами? — Чапаев удивился.

— А с кем же? Нельзя же безнаказанным преступление оставлять и тех, кто укрывает преступников, — тем более. Министра убили и думаете, я вас прощу?

— А ты промолчишь, когда выйдешь!

— Промолчу! — Гаузе заявил, а сам от Полины скрыт. Ради нее готов промолчать.

— Не верю, — Сталин сказал, призрачным трубчатым из призрачного рта вынул. — Никому не верю.

— И правильно делаешь, — сказала Полина. — Он промолчит, я не промолчу.

— Я со своей стороны также не имею права, — сказал Чапаев.

— Вот видишь, — сказал Сталин.

Гаузе стыдно стало, что он малодушнее других оказался. Но ведь ради любви!

Сталин исчез.

Словно и не было.

— Бежим, — сказал Чапаев. — Скорее!

Чапаев за нары нырнул, копается там.

— Скорее!

А Полина Гаузе за руку взяла. Держит, пальцы длинные, сухие.

А по коридору шаги. Голос Бессонова:

— Они в карцере у Чапаева.

Голос Левкоя:

— А как узнали?

— Товарищ Сталин сказал.

Чапаев в щели скрылся, остальные за ним протискиваются. В черную дыру.

Последнее: дверь в камере скрипит, открывается. И голос Бессонова:

— Утекли. Пускай воду. Затопляй подвалы!

20.

Они ползли бесконечно по черному лазу, думали, что навсегда там останутся, но, к счастью, древний старик-правдолюбец навстречу вышел, свечу принес.

— Я тоже ухожу, — сказал. — Только своим путем. Они воду пустили. Скоро все здесь затопят.

И в стену ушел, свечку, правда, оставил.

Вышли за зоной, в лесу.

Там, у лаза, волк стоит, бережет выход. Что делать?

— Погодите,— Полина сказала.

Вышла первой из лаза и пошла на волка. Волк хвост поджал — и к кустам. Оттуда и смотрел, как они мимо идут. Двое в ватниках, на третьей холщовое платье, как мешок.

Снег пошел, рано ему, а снег. К ботинкам липнул.

— Пожрать ничего не взяли,— сказал Чапаев.— Слона бы сейчас съел.

Дорога плохая — бурелом, овраги, заросли. Да еще снег идет и тает.

Погоня настигла их на рассвете, когда уж не было сил брести по черному лесу. Свечка кончилась, огарок сжевали втроем, хороший огарок, дореволюционный.

Погоню волки навели. И Сталин тоже. Так и бежали они впереди, перед охранниками — волки и вождь.

Когда не было уже мочи бежать, выбежали они, падая и спотыкаясь, оборванные, мокрые, грязные, на обрыв над рекой. Река на помрачительной глубине струилась, отражая в себе рассветное небо.

Волки сходятся полукругом. Полина их с трудом взглядом удерживает, за волками Сталин рукой указывает, сзади охранники из кустов лезут.

— Что ж,— сказал Чапаев,— прощайте, товарищи. Вторая река в моей жизни роковая. Или переплыву, или снова кино про меня снимайте.

Разбежался и сиганул с обрыва. Без крика, без звука.

— Полина,— сказал Петр Гаузе.— Я тебя люблю.

— Спасибо,— сказала Полина. А сама все на волков смотрит.

Взялись они за руки. Полковник Бессонов из леса показался.

— Жалко,— сказал Гаузе,— что не удалось нам закрыть этот лагерь. Последний.

— Да,— сказала Полина, которая современной обстановки не знала,— на один меньше бы стало.

И прыгнули они вниз, с непостижимой высоты, к серебряной полосе безымянной лесной речки.

И летели, не отпуская рук.

Упали, но не разбились. На мягкое упали. На шерстяное.

— С приездом,— сказал Чапаев. Тоже живой.

— Это что такое? — спросила Полина.

— Тише,— сообразил Гаузе.— Пускай они думают, что мы разбились.

Сверху голоса галдят, кто-то фонариком светит. Но темно еще, да и луч не достает.

— Капитан Левкой,— Бессонов приказывает.— Спустись вниз с отделением, подбери их на берегу. А если кто еще признаки жизни показывает, добей из милосердия.

Чапаев вниз заглянул, с карниза, на котором лежали. А там глубина, полдороги не пролетели.

Где же мы? Гаузе, руками дорогу ощупывая, вдоль карниза пополз. Вот бы сейчас свечку зажечь.

— Хотите верьте, хотите нет,— сказал Чапаев,— настоящим мясом пахнет.

Перед Гаузе горбик. Спуск вниз. Две загнутые палки...

— Мамонт! — крик шепотом.— Я же мамонта искал. А вот он, мамонт.

Мамонт когда-то здесь в обрыв вмерз, в вечную мерзлоту, а вот теперь, с обвалами да потеплениями, обнажился. Какой-то охотник мимо проезжал, в Академию наук сообщил, Академия Петра Гаузе в командировку послала. Он лодку опрокинул, чуть не погиб, в лагерь попал. Вот какие совпадения бывают. Гаузе мамонта не нашел, а мамонт сам нашелся.

— Не могу я больше,— прошептал Чапаев,— должен я в него вгрызться.

— Может, мясо испорченное,— сказал Гаузе. В самом деле ему мамонта жалко стало. Научная реликвия, не для питания.

— Хоть какое,— Чапаев сказал.— Я тридцать лет мяса не видел.

— Это же мамонт,— сказал Гаузе.— Ему тридцать тысяч лет.

Чапась ножик вытащил, ножик сверкнул. Светало.

— А мы ведь все равно в ловушке,— сказала Полина.— Вниз не прыгнешь. Наверх не подмимешься.

А Петр Гаузе об этом думать не хочет.

— То, что я тебе наверху сказал, это правда.

Полина сидела, колени подтянув к подбородку, глядела на светлеющий горизонт.

— Знаю,— сказала она.— Я тебя тоже полюбила.

— Эй! — это сверху Бессонов кричит.— Маска, я вас вижу! Поднимайтесь!

— Сам спускайся! — сказал Чапаев.

— Они надо мной! — снизу кричит Левкой.

— Они подо мной! — сверху кричит Бессонов.

— Где веревка?— это Сталин спрашивает.

— Сержант — срочно в лагерь, веревку принеси! — это Бессонов.

Убежал сержант. А до лагеря часа два, а то и больше. Чем дольше, тем лучше. Может, какой-нибудь охотник по реке проплывет. Или рыбный инспектор. Да и веревка у них гнилая...

— Не бойся, мы уйдем,— успокаивает Гаузе Полину.— Руку в ладоши забрал, греет. От Чапаева только голова наружу торчит, так глубоко в мамонта ушел. Вдруг охнул старик, выполз наружу, нагнулся вперед и обильно на Левкую выблевал.

— Молодой человек! — кричит Бессонов сверху.— Вы заблуждаетесь, если полагаете, что добьетесь справедливости. Ни один здравомыслящий человек не поверит, что в лесу стоит забытый лагерь. Знаете что они подумают? Подумают, что если стоит, значит это кому-то надо. И не нам соваться. В этом смысл всей нашей истории. Кому-то надо! Вы меня слышите?

— Разберутся,— отвечает Гаузе. Не хочется ему думать об этом.— Разберутся.

— А мне ничего не угрожает,— сказал Бессонов.— Я никого не репрессировал без суда и следствия. Я не садист и не преступник.

— Разберутся,— ответил Гаузе.

— Я строил стратегическую дорогу.

— Без конца и без начала.

— Земля тоже круглая, но никто не считает преступни-

ком Господа Бога. Сейчас мы спустим веревочку, поднимайтесь, будем считать инцидент исчерпанным. Я вас на кухню определяю. Или в больницу. Вам должность доктора медицинских наук. Решайтесь.

— Нет, спасибо.

— Неужели вы в самом деле думаете, что в кабинете нового министра безопасности, фамилии которого я, к сожалению, не знаю, нет прямого аппарата, связанного с моим лагерем? Телефон молчит, но когда нужно он звонит.

— Разберутся.

— Вас первого посадят в лагерь. За клевету.

— Разберутся.

Уже совсем рассвело. Левкой с охранниками ступеньки в обрыве выдалбливает, чтобы подняться. Ну, это еще не скоро. Полина задремала, голову на колени Петру Гаузе положила, от мамонта тяжелый дух идет. Вербки все нет, охранники сверху головы склоняют, сами давно мясного духа не слышали. Чапаев в мамонте шурует, для Гаузе это как нож по сердцу, но молчит.

Вот охранник бежит.

— Где веревка?

— Нет веревки, товарищ начальник. Беда.

— Чего еще?

— Охрану-то мы сняли, сюда побежали, а зеки разбежались.

— Быть того не может... а волки?

— Волки же тоже здесь.

— Догнать их!

— Что там случилось? — Левкой снизу кричит.

— Лагерь кончился! — торжествует Гаузе. — Нет больше лагеря.

— Молчать! Никто лагеря не закрывал. Поплутают по лесу и вернутся. Никуда не денутся. Они другой жизни не знают. Добровольно в лагерь придут. Сейчас быстро покончим с этими и пойдем зеков собирать.

— Как?

— Кидайте на них сверху камни. Бревна кидайте. Все кидайте. Объявляю их вне закона!

И стали охранники камни собирать, пень выворачивают...

— Лезьте сюда,— приказал Чапаев. Подвинулся, место освобождая.

Заползли Полина с Гаузе внутрь мамонта. Чапаев край шкуры сверху закинул, закрыл.

Сотрясается мамонт от ударов, от лишнего груза. Еще камень, еще бревно... вот и пень упал...

И вывалился мамонт из обрыва, рухнул вниз — капитана Левкоя в лепешку, скатился в реку и поплыл словно плот.

— Не догоните! — Чапаев шкуру откинул, наружу вылез, как из подводной лодки.

Но ошибся.

Проплыл мамонт недолго, на мель сел.

22.

Островок посреди реки. У островка и застрял мамонт.

Бегут к берегу охранники, волки, Сталин.

Протока-то глубокая, холодная, не преодолеть вброд. Бегают по берегу, ругаются.

Чапаев на мамонте сидит, с отвращением на кусок мяса смотрит.

— Бессонов! — кричит.— Беги в лагерь. А то тебе стеречь некого будет.

А тот в ответ приказывает:

— Строить плот!

Разбежались охранники по берегу, бревна ищут, плот вязать думают. А Чапаев их мясом дразнит. А тут еще Гаузе добавляет:

— Товарищи военнослужащие. Вас обманывают. Время изменилось. Спокойно возвращайтесь домой, к семьям, к честному труду.

— А я вас засужу! — кричит Чапаев.— Жизни не пожалею! По судам загоняю!

Вздыхают охранники, тянут бревна.

Посреди островка холм песчаный, в нем яма. Теплая,

сухая. Ушла туда Полина, Гаузе и он. Чего не было на песок. Гаузе ей руку на плечо положил.

— Тебе не противно?— Полина спрашивает.

— А почему?

— Я — убийца. Я человека задушила этими руками.

— Он давно умер.

— Для тебя. Для меня — только что. А может, и не умер...

— Полина, не думай, я все знаю о твоём прошлом.

— Ничего ты не знаешь.

— У нас будет дом, работа...

— Ты знаешь, почему я его убила?

— Не это сейчас главное.

— Это. Меня девочкой, в десять лет, к нему привели. Он девочек любил. Поэтому я и руки его узнала. Руки не меняются.

— Ой,— замолчал Гаузе, но руку не убрал. Держит.

Полина подниматься начала.

Тут Гаузе ее к себе двумя руками привлек.

— Милая, забудь...

— Никуда нам от них не деться. Доберутся до нас. Всюду доберутся. Мы же беглые.

А сама гладит его, грязный ватник распахнула, глаза дикие, зеленые, кошачьи. Губы мягкие стали, податливые.

У Гаузе глаза застилают, дыхание прерывается.

— Не надо,— шепчет,— не сейчас...

— Другого не будет. Ничего больше не будет... Возьми меня, Петя.

И взял ее Петр Гаузе на песчаном острове, под бегущими облаками, под далекие перекрики охранников.

И был он ее первым мужчиной. Не было других...

— А как же? — спросил он потом.

— За то я и в лагере была, что не смог он.

— Но ты говорила, что ты...

— Я тебя ждала. Я тебя все эти годы ждала.

Они лежали под ватником, прижавшись друг к дружке.

И тут Чапаев закричал:

— Ребята, скорее! Поезд отправляется!

А они готовы уж были никуда отсюда не уходить, с этого острова, здесь и погибнуть, кончился их путь.

Нет, иное.

Выбежали они на холмик.

Видят: по реке вал воды идет. Видно, в верховьях дожди сильные, наводнение.

Охранники от берега вверх. Один Бессонов, упрямый человек, у кромки воды стоит.

Призрак Сталина руки раскинул, водяной вал пытается удержать, а воды сквозь него хлещут.

— Скорей! — Чапаев торопит.

Мамонта первой волной качнуло.

Полина с Гаузе на мамонта взобрались.

Подняло мамонта водой.

Чапаев на голову взобрался, между бивней сидит, шестом отталкивается.

Подхватила вода полковника Бессонова, понесла вниз, наперегонки с мамонтом, но отстал полковник, пропала под ледяной водой его голова в фуражке с синим околышем.

Плывет мамонт по реке.

Гаузе Чапаеву говорит:

— Ты потерпи, скоро настоящее мясо увидишь. А мамонт для науки нужен. Я тебе запрещаю.

Тон у Гаузе изменился, потому что он свой долг перед наукой ощущает.

Вот и дорога по берегу показалась. Едут по ней самосвалы на стройку БАМ, дорогу с концом и началом. Глядят шоферы из окошек с удивлением на мамонта с пассажирами.

Так Петр Гаузе мамонта нашел.

ПОКАЗАНИЯ ОЛИ Н.

Меня зовут Ольгой. Мне шестнадцать лет. Я проживаю в поселке Гроды, перешла в десятый класс. Отец оставил маму, когда мне было три года, мама работает медсестрой в больнице.

Эти показания я даю добровольно, по собственной инициативе.

Об Огоньках я узнала в первый раз два года назад, когда по телевизору показывали первый из Огоньков, который нашли в Кеении. Может быть, о них говорили раньше, но я не помню.

Я как сейчас вижу изображение на экране телевизора — белая капля, которая касается земли и дрожит. Обозреватель сказал, что это удивительное и еще неразгаданное природное явление. Вернее всего — следствие вулканической активности. Ученые изучают температуру и характер явления. Тогда это не произвело впечатления, может, потому, что Огонек был маленький и разрушений не причинил.

В следующий раз об Огоньке говорили в передаче «Очевидное — невероятное». Оказалось, что этих Огоньков в той местности насчитывается несколько, а один из них стал причиной большого лесного пожара. Два ученых, которые обсуждали эту проблему, высказывали соображения, что раз температура Огоньков очень велика, такой на Земле раньше не наблюдали, значит, это плазма. В местах, где горит Огонек, всегда есть движение воздуха, который стораёт в его пламени. Один из ученых говорил, что Огонек — это шаровая молния, только стабильная, а другой

уверял, что это природная ядерная реакция. Хотя радиации не отмечено.

Я не могу сказать, когда Огоньки стали обыкновенным делом. Сначала о них говорили только по телевизору и в газетах, на последней странице, где пишут о всяких курьезах. Потом стали говорить все чаще, потому что Огоньки оказались не такими уж безобидными. И главное — они стали появляться в разных концах Земли. Я помню, как меня поразили кадры Огонька в озере Чад. Из озера бил фонтан с паром, а изнутри его подсвечивало — это было похоже на фонтан на Сельскохозяйственной выставке в Москве.

В июле приехала тетя Вера. Она живет в Перми. Она рассказала, что у них там много разговоров об Огоньке, который нашли на колхозном поле. Там играли мальчишки, один из них подбежал слишком близко и обжегся. Этот Огонек оцепили войсками и всех из деревни выселили. Но в газетах тогда еще о наших Огоньках не писали.

В первый раз я испугалась, когда показывали большой Огонек в Риме. От него начался пожар — выгорело несколько кварталов. Представляете — вокруг черные балки, пепел, а посреди на пустыре горит Огонек.

В августе я видела по телевизору, как в Соединенных Штатах бомбили Огонек в пустыне Невада. Над пустыней стояли пыльные столбы, вспыхивали красные взрывы. А потом показали Огонек. Он переместился на дно воронки от бомбы и горел даже ярче, чем прежде. Будто нажрался взрывчатки.

В сентябре прошлого года было опубликовано сообщение Организации Объединенных Наций. И тогда всем стало известно, что в мире уже горит несколько сот Огоньков и с каждым днем число их увеличивается.

Ким, он учился со мной в одном классе, принес тогда к нам домой памятку. Там было написано, как следует себя вести, если ты увидел неучтенный Огонек, и куда звонить: не приближаться, по возможности огородить это Явление и следить, чтобы не произошло возгорание.

Хотя уже наступала осень и Огоньки начали менять жизнь всей нашей Земли, для нас, в поселке, они оставались иллюзией. Мы продолжали ходить в школу, и Сесе,

это прозвище Сергея Сергеевича, все так же кидал свою шапку на стол и говорил: «Здравствуйте, громадяне». Мы ездили всем классом на картошку. Там как все время шли дожди, работать в поле было трудно. Дожди шли везде, и говорили, что виноваты в этом тоже Огоньки. Те из них, что возникли на дне озер, рек и океанов, вызывали сильное испарение и нарушали баланс погоды. Осенью Огоньков было уже так много, что мы почти не видели солнца.

Тогда, в поле, это и случилось.

Был ветер, дождь перестал, и почему-то нам не хотелось уходить в сарай, где нас разместили. Ребята разожгли костер, мы пекли на нем картошку. Мы немного пели. Потом пришли Ким с Селивановым, они ходили в магазин за водкой, но водки не достали. Я была рада, потому что уже видела раз Кима пьяным, и это было отвратительное зрелище.

Даша Окунева начала спрашивать Сесе, что он думает об Огоньках, насколько это опасно. Сесе отвечал, что нельзя недооценивать эту опасность для человечества только потому, что естественно желание человечества спрятать голову в песок. Потом Сесе понял, что никто его не слушает, потому что не хотелось слушать о плохом. Я тогда подумала, что мы ведем себя, как будто говорим об ороре. Эта болезнь для других, не для нас, есть специальные люди, ученые, которые занимаются вакцинами и лекарствами. Они в конце концов обязательно догадаются и сделают, что надо. А раз мы не можем помочь, то лучше не думать. Ким тихо сказал мне, что нужно поговорить. Я знала, о чем он будет говорить. Все знали, что я ему нравлюсь. Он хотел, чтобы мы ушли в кусты на краю поля и он меня целовал, но у меня не было настроения, а Селиванов стал кричать от костра, что все видит. Я сказала: «Не надо, Ким, пожалуйста. Совсем не такой день».

— А какой день?— спросил он.— Дождика нет.

Чтобы переменить тему, я спросила, как его мать. Клавдию Васильевну еще на той неделе увезли в Москву, в больницу, у нее подозревали орор.

— Ты не бойся,— сказал он,— я не заразный.

— Я не боюсь.

Мне стало его жалко, потому что многие избегали их

дом. Можно сколько хочешь говорить, что орор не заразный, но люди боятся, потому что ведь как-то заражаются.

Я поцеловала Кима в щеку, чтобы он не думал, что я такая же, как другие. Наверное, он понял. Он пошел обратно к костру, ничего больше не говоря.

Мы стали есть печеную картошку.

Даша Окунева сказала:

— Смотрите, к нам кто-то идет.

Она показала на деревню — там загорелся фонарик, будто кто-то шел по полю.

Фонарик не приближался. Он горел совсем низко, у самой земли. Сесе вдруг поднялся и пошел туда.

Он прошел шагов сто, не больше. Оказалось, что фонарик горит недалеко — просто в темноте не разберешь.

Сесе остановился и сказал:

— Вот и дождались.

Он сказал негромко, но мы в этот момент молчали и слышали. Я сразу поняла, что он имеет в виду.

Мы подошли к Огоньку. Огонек, словно живой шарик, лежал на земле. Он был ослепительно белый, и жар от него чувствовался в нескольких шагах, хотя размером Огонек был не больше детского кулака.

Он был такой легкий, словно воздушный шарик, который прилег на землю, уставши летать, но мы знали, что у этих Огоньков очень глубокие корни — тонкие плазменные нити, пронзающие землю на метры. Уже были случаи, когда такой корешок доставал до подземной воды и получался взрыв. Может взорваться что угодно, но Огонек останется, несокрушимый, легкий и даже веселый.

Летучая мышь пролетела низко над Огоньком, не сообщив, что это такое. Она исчезла, ярко вспыхнув.

Мы вернулись к нашему костру и затушили его.

Картошку доедать не стали — никому не хотелось. Мы пошли к правлению, чтобы позвонить в Москву. Даша Окунева начала плакать. Холмик, лучший математик, хороший мальчик, он мне в прошлом класса нравился, пока я не начала ходить с Кимом, стал говорить Даше, что ничего страшного не случилось. Уже сообщали, как успешно идут опыты по нейтрализации.

Мы не оборачивались и шли быстро.

В правлении мы прошли к председателю в кабинет. Он был очень огорчен тем, что пропало несобранное поле. Приедут из Москвы, обнесут его колючей проволокой, будут делать опыты, топтать картошку. Теперь никого туда не загонишь убирать — кто пойдет?

Председатель нас отпустил, но автобуса или грузовика в колхозе для нас не нашлось, и мы пошли пешком, до станции было шесть километров. Моросил дождь. Мы сидели на влажных скамейках под навесом у кассы. Середина сентября, а казалось, что вот-вот пойдет снег. Холмик разговаривал с Сесе, а я слушала. Ким с Селивановым исчезли — им сказали, что какая-то тетка у станции продает самогон.

За лесом, по ту сторону путей, пылало багровое зарево. Что-то горело. Зарево отражалось в очках Сесе и Холмика. Они казались мне марсианами, которые живут совсем иначе, чем обыкновенные люди. И еще я тогда подумала — может, совсем не к месту: пройдет десять лет, и если мы будем живы, то Сесе и Холмик сравняются. Сейчас между ними большая разница в десять лет, а тогда будет небольшая разница в десять лет.

— Почему мы должны все и всегда понимать?— слышала я слова Сесе.— Обезьяна не знает, как работает двигатель, но знает, что ее везут в машине.

— Но мы же люди,— говорил Холмик.— Мы учимся. Всему можно научиться.

Они разговаривали совсем как раньше.

— Научиться с какой целью?

— Чтобы решить задачу, чтобы побороть препятствие.

— Я далек от мысли одушевлять природу,— сказал Сесе,— но я вижу определенную закономерность между нашими усилиями и ее реакцией на них. Пока человек был частью природы и подчинялся ее законам, антагонизма не было. Но стоило ему выделиться из нее, как он себя ей противопоставил. И началась война.

— Вы нас так не учили,— сказал Холмик, и мне показалось, что он улыбнулся.

— До некоторых вещей лучше доходить собственным умом.

— И вы видите в этом систему?— спросил Холмик.

— Скорее логику. Действие — противодействие. Когда-то давно люди перебили мамонтов. Жрать стало нечего. Но они выпутались — научились пахать землю. Заодно свели леса. Снова кризис. И снова люди выпутались. Последнее столетие мы называем техническим прогрессом. А для меня это — эскалация противостояния. Ты этого не помнишь, а мы учили всеобъемлющую формулу: «Нам нельзя ждать милостей от природы. Взять их у нее — вот наша задача». Это лозунг рабителя.

— Я помню другой лозунг: «Если враг не сдается, его уничтожают», — сказал Холмик.

— В применении к природе он неплохо действовал.

Из темноты надвинулся ослепительный глаз товарного поезда, и мимо пошли стучать темные громады вагонов. Грохот поезда заглушил слова Сесе и Холмика. Я видела, как они сдвинули головы и кричат друг другу.

— Любая система должна иметь средства защиты, — услышала я голос Сесе, когда поезд наконец утих. — Мы двинулись в наступление, будто нашей целью было убить Землю. И наше наступление начало наталкиваться на проблемы, которые были рождены этим наступлением. Мы губим леса и реки, уничтожаем воздух, повышаем уровень радиации. Результат — вспышки новых болезней. Рак, СПИД, орор...

— Вы не правы, Сергей Сергеевич, — сказал Холмик. — Это не ответ природы, а наше действие. Мы воздух портим и сами не дышим.

Было очень тихо, и их слова были слышны всем. Все слушали, о чем они говорят.

— Возьмите орор, — сказал Холмик. — Сначала его вирус бил исподтишка, выборочно, а потом мутировал. Но вирус потому изменился, что его травили лекарствами, а он хотел выжить. Значит, это не природа, а только один вирус. И мы его сделали таким.

— А я убежден, — сказал Сесе. — Мы бьем по природе, и чем сильнее, тем сильнее отдача. Пока мы не угрожали самому существованию биосферы, а лишь вредили, то и ответные шаги системы были умеренными. Они не угрожали нам как виду. От рака умирают выборочно и чаще к

старости. Но как только мы перешли критическую точку, то и меры стали кардинальными.

— Вы имеете в виду Огоньки? Тогда я тоже не согласен.

Кто-то в полутьме хихикнул. Холмик обожает спорить.

— Почему?

— Потому что Огоньки угрожают не людям, а всему живому.

— Не знаю,— сказал Сесе.— Когда система, лишенная разума, сопротивляется системе, претендующей на обладание разумом, действия ее непредсказуемы.

— А вот идут две системы, обладающие разумом,— сказал Карен.

По платформе шли Ким и Селиванов. Они шли, упершись плечами друг в друга, изображали пьяных. Я сразу поняла, что им ничего не удалось отыскать. И Сесе тоже обрадовался. Селиванов начал говорить нарочно пьяным гоолосом, кто-то из мальчиков спросил, чего же они не позаботились о друзьях, а Селиванов сказал, что на вынос не дают. Сесе вдруг озлился и потребовал, чтобы Селиванов перестал говорить глупости.

— Все равно сгорим,— сказал Ким.— Трезвые, пьяные— все равно. Все глупо.

— Перестань, Ким,— сказала Даша Окунева.— Мне тебя слушать противно.

Тут пришла электричка. Она была почти пустая. Мы сели тесно, чтобы согреться,— в электричке было холодно и полутемно. В последние недели электричество сэкономили, некоторые электрички сняли, на улицах горели лишь редкие фонари, а днем в домах отключали свет.

Огонек возле нашего поселка появился в конце октября. Даже странно, но он не появился раньше. Как-то Холмик сказал в классе:

— Какая-то дискриминация.

Он предпочитал шутить об Огоньках. Это делали многие, у них защитная реакция. Потому что люди ко всему привыкают. Даже к Огонькам. Никто их уже не считал. Загорался новый, сообщали куда следует, потом приезжала команда, обносила место проволокой, ставила предупредительную надпись, хотя и без этого никто к Огоньку не

подойдет. И уезжала. А мы продолжали жить. Потому что сами по себе Огоньки никому не вредили. Не Огонек ухудшал нашу жизнь, а то, что с ним было связано.

У Кима умерла мать, но ее не привозили хоронить — ороров хоронят в больнице. Ким с отцом ездили туда. Раньше Ким сидел на парте с Селивановым, но, когда стало известно, что мать Кима умерла от орора, Селиванов отсел от него. Я подумала тогда, что мне надо было сесть рядом с Кимом. Но я не села. Потому что не хотела, чтобы кто-то подумал, что я навязываюсь.

В конце октября было объявлено, что в этом сезоне школу не будут топить и потому с морозами занятия прекращаются. Это было крушением. Наверное, в Москве или в Париже люди больше знают и говорят об Огоньках. А у нас это не так заметно. Конечно, свет на улицах не горит, но у нас он всегда горел плохо. И в магазинах совсем плохо с продуктами, даже с хлебом перебои. Но нас никогда хорошо не снабжали. И дожди идут, и яблоки не созрели. Но картошку все-таки собрали. Люди покупали в магазинах соль и спички. Мать тогда сказала: «Как будто война». Я не поняла, а она пояснила: «В России, когда грозит война, всегда скупают соль и спички». Когда Сесе пришел в класс и сказал: «Ребята, занятия на неопределенное время отменяются», мы сначала обрадовались, потому что не поняли, что это означает. А когда поняли, почти все испугались. Даша спросила: «А как же я в институт попаду?» Но еще глупее была реакция Карена. Он как закричит: «Да что вы! Если мы в этом году десятый не кончим, я в армию загремлю!» Кто-то сказал: давайте будем рубить дрова. Но Холмик напомнил, что у нас в школе батареи центрального отопления. Сесе старался быть оптимистичным. Он объяснил, что перерыв будет только до весны. Как только потеплеет, уроки возобновятся.

Он сказал, что мы будем заниматься самостоятельно по программе, которую он даст, что можно будет ходить к нему домой на консультацию. Он так горячо говорил об этом, что мы поняли — школа для нас кончилась.

Ким пошел со мной из школы. По улице мело. Мы прошли мимо нашего Огонька. За последние дни он под-

рос, стал с футбольный мяч, жар чувствовался издалека, воздух стремился к Огоньку, чтобы сгореть.

Ким дошел до моего подъезда. Наш дом двухэтажный, барачного типа, остался еще с первых пятилеток. Мне было холодно. Ким хотел сказать что-то важное. Поэтому он закурил. Потом сказал:

— Оля, выходи за меня замуж.

Это было совсем неумно. Бред какой-то.

— Ты что,— сказала я.— Я об этом не думала.

— Я серьезно говорю,— сказал Ким.— Если ты боишься орора, я тебе даю слово, нам всем — отцу, братьям и мне — в Москве делали анализ, мы не носители.

— Я не о том. Мне шестнадцать лет. Тебе тоже. Я понимаю, если бы тебе было двадцать, ну хотя бы восемнадцать. Люди не женятся в нашем возрасте.

Я, наверное, говорила очень серьезно, как учительница, и он рассмеялся.

— Ты дура,— сказал он.— Люди не женятся, а мы поженимся.

— Ты мне очень нравишься,— сказал я.— Честное слово. Но давай поговорим об этом через два года.

— Через два года мне будет не с кем говорить,— сказал Ким.— Потому что мы с тобой будем мертвые.

— Не говори глупостей.

— Ты это тоже знаешь. И трусишь. А я тебе говорю — пукай у нас будет счастье.

— Это не счастье,— сказала я.— Это не счастье — делать то, чего мы не хотим.

— Я хочу.

— Ты глупый мальчишка,— сказала я.— Ты трусил.

— Я не трусил. Я лучше тебя все понимаю. Мать умерла при мне.

— При чем тут это?

— Это все вместе,— сказал он.— Почему ты хочешь подохнуть просто так, даже не взяв, что упеешь?

— Ты думаешь, если плохо, то все можно?

— Завтра об этом догадаются все. И законов не будет.

— Пир во время чумы?— спросила я.

— Конечно. Ты подумай. Завтра я спрошу.

— Уходи,— сказала я.— Мне это неприятно.

Тогда Ким ушел.

Я смотрела ему вслед — такой обыкновенный мальчишка. Хорошенький, чернявый, на гитаре играет, в авиамodelьном кружке занимался. И мне стало страшно.

Я не пошла домой. Был день, светло. Только холодно.

Я поднялась по Узкой улице, мне захотелось посмотреть на наш поселок сверху. Дверь в церковь была открыта, и перед ней было много людей. Внутри пели. Я никогда не видела столько людей у церкви. А внутрь даже не войдешь. Я вдруг подумала — сейчас по всей Земле люди куда-то идут, чтобы только не сидеть дома. Одни в церковь, другие в мечеть, третьи в райком, потому что хочется найти защитника.

Я вышла на обрыв. Река рано замерзла, и по ней неслась снежная пыль. Ветер был ужасный. Я вдруг посмотрела вверх и подумала — почему все говорят про летающие тарелочки? Вроде бы их видели? Почему они не прилетают? Надо бы сказать маме про Кима — может, это смешно? Но потом я поняла, что мама страшно испугается. Она каждый день приносит с работы разные истории — про самоубийства, про грабежи. На станции я сама видела военные патрули — никогда еще не было военных патрулей на тихой пригородной станции.

Я не знаю, почему стало так плохо с энергией, но это было во всем мире. Но вечерами телевизор еще работал. Через несколько дней после того как закрылась школа, я увидела по телевизору съемку Земли со спутника — не помню, как называлась передача. Мама тоже была дома. Она была еле живая после дежурства. Она рассказывала, как в больнице делают железные печки. Им привезли дрова — некоторые предприятия закрыты, и все рабочие рубят лес, чтобы не замерзли города. Мы сидели дома и смотрели на Землю сверху. И тогда я поняла, как плохи наши дела. Огоньков на Земле было много тысяч. Они горели точками по всей суше, только не равномерно — в некоторых местах они пылали впритык друг к другу, в других местах, например, в тундре, их было куда меньше. Всего их было столько, словно какой-то злодей истыкал иголкой полотно Земли.

Мы с мамой знали, что Огоньки не только плодятся, но и растут. Мама сказала:

— Еще совсем немного, и они соединятся.

— И тогда будет новое Солнце,— сказала я.

А диктор говорил, какие исследования ведут ученые разных стран. Потом об энергетическом голоде и изменении климата на Земле из-за того, что происходит интенсивное испарение. Облачный слой почти непроницаем для солнечных лучей, и растения не получают света и тепла. Произошло резкое похолодание, и надо ждать сильных бурь.

Я почти перестала спать. Я видела, что случилось, когда новый Огонек проснулся под домом у станции. Дым был до самых облаков — весь дом сгорел, даже не все успели убежать. И мне начало казаться, что если я засну, то под нашим домом тоже появится Огонек.

Потом налетела первая из больших бурь. Она началась ливнем. Ливень сожрал снег, на реке появились полыньи. Ливень не прекращался, а ветер становился все сильнее. С некоторых домов сорвало крыши. Мать оставалась в больнице — их перевели на казарменное положение. Бензин выдавали только «скорой помощи» и милиции.

Я как-то пробралась к маме — очень проголодалась. Дома все кончилось, я думала, что у мамы должна быть какая-то еда. Больные лежали в коридорах и в холле. Некоторые просто на полу. Мать вынесла мне тарелку супа, и я съела его, сидя у горячей печки. Мама была совсем худая, глаза красные, она сказала, что у них больше всего сердечников и астматиков — люди умирают от перепадов давления и недостатка кислорода. Еще там было много покалеченных и даже с огнестрельными ранами — мама шептала мне про то, как милиция сражалась с бандой грабителей и было много убитых и раненых. Она велела мне переехать в больницу — тут спокойнее, а дома опасно. К тому же в больнице не хватает санитарок, от меня будет польза. Потом она рассказала, что возле госпиталя был Огонек, но он погас — это было так странно, что приезжала комиссия из Москвы.

Когда буря немного улеглась, я пошла домой, чтобы собрать вещи, и встретила Холмика. Я его давно не видела.

Холмик сказал, что он в дружине — они собирают в магазинах и на складах продукты и теплые вещи, свозят это в стационарные склады, которые охраняют солдаты.

Он сказал:

— Каждый должен делать полезное.

Мы с ним стояли совсем близко от Огонька, что горит во дворе дома. Я к этому Огоньку привыкла. И каждый день смотрела, как он понемногу растет.

Холмик был возбужден, ему казалось, что он делает что-то нужное. А я, насмотревшись на больных, сказала ему со злостью:

— Ты хочешь, чтобы мы умерли на неделю позже?

— Я хочу, чтобы не умирали.

— У тебя есть надежда?

Я спросила это потому, что хотела, чтобы меня кто-нибудь успокоил.

— Да,— сказал Холмик.— Потому что Земля больна оспой. А каждая болезнь проходит.

Мы отошли под стену, где меньше дуло. Я спросила, кого из наших он видит, Холмик сказал, что с ним в дружине Селиванов. Я удивилась, потому что Селиванов тупой и бездельник.

— Люди меняются,— сказал Холмик. Потом подумал и добавил:— У нас тоже не все ангелы. Некоторые берут для себя.

Но не стал объяснять, относилось это к Селиванову или нет. И еще сказал:

— Вчера расстреляли трех мародеров. Только я не пошел смотреть.

— А Кима не видел?

— Нет. Селиванов говорил, что он уехал в Москву.

— Спасибо.

— Ты за что благодаришь?

— Неважно. А как Сесе?

— Ничего,— сказал Холмик, но так сказал, что я сразу же стала настаивать: что случилось?

— Он болеет,— сказал Холмик.— У него орор.

— Не может быть!

— Почему?

— Ты сам видел, сам?

Я поняла, что все могут умереть или заболеть, а Сесе не может, не должен, потому что это несправедливо!

— Да,— сказал Холмик.— Я его видел.

— Он в Москве? В больнице?

— Нет. Он дома. В Москве больницы переполнены. Теперь, у кого орор, остаются дома.

— Я скажу маме — его возьмут к нам в больницу.

— Не возьмут. И он сам не согласится. Он же понимает.

— Что здесь можно понимать?

— То, что в больницах еле справляются с теми, кому можно помочь. Орорным помочь нельзя, ты же знаешь!

— Но ведь говорили про сыворотку!

— Оля, я пошел, ладно? Некому делать сыворотку.

Он убежал, а я пошла домой. Я думала, что надо навестить Сесе. Кто за ним ухаживает? Ведь он жил один.

Я вернулась к Огоньку. Он был такой же, как вчера. Я думала, как я мало о нем знаю. Ведь он живой или почти живой. Он растет. Он хочет нас всех убить. Или он не знает, что убивает? Между мной и Огоньком был железный столбик — его поставили, когда огораживали Огонек. Если стоять, прижавшись щекой к углу дома, то край Огонька касается столбика. Коснулся, мигнул, отодвинулся. Снова коснулся... Уйди, говорила я ему, пожалуйста, уйди... Долго смотреть на Огонек нельзя — болят глаза. Оспа Земли, повторяла я про себя. Оспа, которая может покрыть всю кожу, и тогда больной сгорит. И это случится очень быстро. Если бы я знала, что я сейчас умру, но мама будет жить и Холмик будет жить,— это было бы плохо, но не так страшно, честное слово. Но если знать, что вместе со мной умрут все, даже самые маленькие ребятишки и вместо всех домов и церквей, музеев и заводов будет только огонь — это страх непереносимый.

И у меня в сердце была такая боль, что я даже забыла о Сесе. Холодно-холодно и тошнит.

У самого дома меня вырвало. Может, быть, потому, что я давно не ела, а тут целую тарелку супа съела в больнице. Может, от ужаса. И сколько жить в этом ужасе? Мама говорила в больнице, что у них много самоубийц, которые

не сумели себя убить. Оказывается, больше половины самоубийц остаются живыми.

Я включила телевизор, но он не включился. Ливень стучал в окно, и я не сразу поняла, что там человек, который тоже стучит. Я не подумала, что это может быть Ким, и открыла. Мне было не страшно — мне было все равно.

Ким был в кожаной куртке и кожаных штанах. Совсем пижон. И кепка у него была черная, кожаная. Он отпустил черные усики.

— Привет,— сказал он.— Где мать?

— В больнице,— сказала я.— А мне сказали, что ты в Москве.

— Я в Москве,— сказал он.— Там все лучшие люди.

Я поняла, что он пьяный.

— Ты чего приехал?— спросила я.— Домой?

— Нет. Я к тебе приехал. Ты помнишь наш разговор?

— Кимуля,— сказала я.— Неужели ты об этом можешь думать? Я сегодня была в больнице. У мамы. Ты бы посмотрел. И Сесе болен.

— Пустые слова,— сказал он и глупо засмеялся. Он сел в кресло и вытащил из-за пазухи пистолет, настоящий, черный, блестящий, словно мокрый.

— Видишь?— сказал он.— Пир во время чумы. Предлагаю участие.

— Дурак ты, Ким,— сказала я.

— Я на тачке приехал,— сказал он.— Дружок ждет. Мы славно живем. Москва большая.

— Ну чего ты выступаешь?— сказал я.— Меня ты не удивись.

— Ты не поверила? Смотри.

Ким засунул руку в верхний карман куртки и вытащил оттуда горсть каких-то ювелирных бранзулетов.

— Хочешь?— сказал он.— Все твое!

— А зачем? Кому это теперь нужно?

— Находятся чудачки. Даже не представляешь, сколько. Меня в организации уважают. Я двух милиционеров пришил. У нас знаешь сколько баб — а я к тебе.

— Ты еще маленький,— сказала я.

Он поднял пистолет и прицелился в меня.

— Оляка,— сказал он, будто играя роль,— у тебя нет выбора. Ты моя.

— Уходи,— сказала я.— Мне собираться надо, я к маме в больницу переезжаю.

Он пошел ко мне, не выпуская пистолета, и я стала отступать, мне все еще не было страшно.

Вдруг он отбросил пистолет и схватил меня.

— Я докажу! — повторял он.— Я сейчас докажу.

Он стал валить меня на диван. Он разодрал мне на груди платье и оцарапал шею. Если бы я тогда испугалась, я бы, конечно, погибла — он бы сделал все, что хотел. Но я не боялась, и мне было скучно и противно словно я смотрю со стороны. Я думала — как сделать ему больно? Простите, но я укусила его в нос. Это как-то неприлично звучит — а он закричал, и я поняла, что правильно сделала. Я побежала к открытой двери на улицу, хотя знала, что там его дружок.

Я выскочила на улицу. Там в самом деле была «Волга», за рулем сидел парень, но он не смотрел в мою сторону. Я не могла звать на помощь — была такая буря! А услышат — кто посмеет выйти?

Я обернулась и увидела, как Ким прыгнул в машину. «Волга» рванула с места.

Я забежала за угол и чуть не попала под «газик».

Это был зеленый «газик» с красной звездой на боку. Я отскочила к стене и увидела напряженное лицо солдата за рулем. И тут же «газик» затормозил — чуть не столкнулся с машиной. Ким открыл дверь и начал стрелять по «газику». Оттуда выскакивали люди. Они тоже стреляли. Один из солдат упал, головой в лужу. Был грохот и крики, а мне казалось, что это ко мне не относится. Потом все кончилось. Я видела, как солдаты заносили своего в «газик», а Кима и его дружка положили в «Волгу». Туда сел солдат, и «Волга» уехала. Офицер из «газика», в мокром плаще, подошел ко мне и спросил:

— Других не было?

— Нет,— сказала я.

— Ты иди домой,— сказал офицер.— Иди, тебе здесь нечего делать.

Лил дождь, а лужа, в которой раньше лежал солдат,

была красной. Я пошла домой, но не дошла, а остановилась возле Огонька. Мне не было жалко Кима, потому что это был чужой Ким.

— Вот видишь, к чему это приводит,— сказала я Огоньку. Я была совсем мокрой, в рваном платье. И тут я увидела, что за то время, как я не встречалась с Огоньком, у него появился младший братишка. Я смотрела на железный столбик. Мой старый Огонек еще больше подрос, край его залез на столбик, а малыш был совсем маленький, как мухоморенок рядом с мухомором.

Идти в таком виде к маме в больницу было нельзя, только пугать ее. Я вернулась домой и почти сразу заснула — такая у меня была реакция.

Ночью я просыпалась от страха. Я задним числом перетрусилась. Мне казалось, что кто-то пробрался в дом, и сейчас он со мной что-то сделает, а может, убьет, но я не могла встать, чтобы проверить, заперта ли дверь.

Я проснулась поздно. Было тихо. И я целую минуту лежала совсем спокойно в хорошем настроении и думала: почему не надо идти в школу? Потом минута прошла, и я все вспомнила. Было полутемно, хотя часы показывали девять часов. Я выглянула в окно — над улицей нависла черная туча, вот-вот выплеснется. Я стала быстро собираться. Кожаная кепка Кима лежала на полу. Я выкинула ее в мусорное ведро. Потом собрала свою сумку — только самые нужные вещи, словно собиралась на экскурсию.

Но в больницу я не пошла. Я подумала, что, пока я буду ходить в больницу, Сесе может умереть. Я оделась потеплее, перерыла всю кухню, пока нашла полпачки сахара — даже странно, что не видела ее раньше. Больше мне нечего было отнести Сесе.

Я поспешила к Сесе, пока не началась новая буря. Воздух был тяжелый, и я сразу запыхалась, пришлось перейти на шаг.

У дома я встретила Шуру Окуневу, старшую сестру Даши. Она спросила меня, не видала ли я ее Петьку. Он убежал на улицу, а она волнуется. Я сказала, что не видела. И спросила: Сесе дома? Это был глупый вопрос.

— Ты что, не знаешь?— спросила Шура.— У него же орор, может, он помер.

— Ты что, не знаешь?— спросила Шура.— У него же орор, может, он помер.

— А ты к нему не ходила?

— Ты что! У меня ребенок. Мне бы его сохранить.

— Я к нему пойду.

— Ольга,— сказала Шура убежденно.— Нельзя. Он все равно что умер. А это верное заражение, ты у любого спроси — сегодня орор хуже чумы.

— Я пойду.

— Тогда больше ко мне не подходи, и вообще к людям не подходи! — закричала Шура.

Я понимала, что она психует: в такие дни иметь ребенка — это вдвое хуже.

Шурка побежала дальше, крича своего Петьку, а я пошла к Сесе.

Дверь к нему была открыта. Я спросила, есть ли кто дома. Сесе не ответил, и я вошла. Он был совсем плохой. Страшно худой — скелет, а на лице и на руках красные пятна. Руки покорно лежат на одеяле, и сам он покорный.

Он увидел меня — глаза расширились.

— Здравствуйте,— сказала я,— я пришла, может, помочь?

— Не подходи, Николаевна,— сказал он.— Нельзя.

— Ничего,— сказала я, но осталась стоять у двери. Я даже не подозревала, что человек может так измениться. Я понимала, что он скоро умрет.

На столике стоял пустой стакан.

— Вы пить хотите?— спросила я, чтобы не стоять просто так.

— Не надо.

Я прошла к кровати, взяла стакан и пошла на кухню. На кухне было запустение, но кто-то здесь недавно был. Значит, кто-то ходит. А я боялась.

У плиты стоял газовый баллон, и в нем еще оставался газ. Я включила его, поставила чайник, достала сахар. Вернулась к Сесе.

— Вот видишь,— тихо сказал Сесе.— Не повезло.

— Ничего,— сказала я,— вы еще поправитесь.

— Спасибо.

— А кто к вам приходит?

— Холмов.

— Холмик? А мне он ничего не сказал.

— Это опасно. Вы, ребята, не понимаете, как опасно.

— Все очень опасно,— сказала я серьезно.— Потому что меняются люди.

— А как там Огоньки?— спросил Сесе.

— Вчера новый родился за нашим домом,— сказала я.— Совсем маленький.

Он закрыл глаза, потому что ему было трудно говорить

— Я буду у мамы в больнице, я возьму лекарств.

— Не надо,— еле слышно сказал Сесе.— Они нужны живым.

Чайник закипел, я сделала сладкий напиток. Потом напоила его.

Сесе не разрешал, но он был такой слабый, почти невесомый, и я его все равно напоила. Мне было бы стыдно этого не сделать. Он закрыл глаза, а я сказала ему, как я его люблю, как я всегда его любила, потому что он самый красивый и умный. Еще с седьмого класса. Он вдруг начал плакать — только слезами, лицо было неподвижно. Он велел мне уйти.

На улице меня поймал такой ливень, какого я еще не знала.

Было темно, как глубокой ночью, и я даже заблудилась. Я шла и все время наталкивалась на стены. Я плохо соображала. Но тут я увидела наш Огонек. Я добралась до угла дома, стояла там и смотрела на Огонек с ненавистью, как будто он был виноват в болезни Сесе.

Было все еще темно, но дождь вдруг ослаб. Я поглядела на железный столбик и увидела, что край Огонька не достает до него. А маленький Огонек не увеличился.

Я стояла и глядела на Огонек. Не знаю, сколько простояла. И тут услышала далекий крик. Почти сразу большой Огонек съехался, а второй, малыш, мигнул и исчез. Значит, правда, что они могут исчезать.

Потом я забежала домой, взяла сумку и направилась в больницу.

По дороге встретила Шурку Окуневу.

Она поднималась от реки, еле живая, словно ее палка-

ми побили. Она тащила на руках Петьку — Петьке уже шесть лет, он тяжелый, она запыхалась. Она увидела меня и начала кричать, словно я была виновата:

— Я же звала! — кричала она. — Я же звала, и никого!

— Нашла? — спросила я. — Вот и хорошо.

— Ты не понимаешь! — кричала Шурка. — Холмик утонул. Ты понимаешь — Холмик утонул! Он мосто Петьку вытащил, а его унесло! Я сама видела!

— Где? — Я бросила сумку. Я побежала к реке.

Вслед кричала Шурка, потом она бежала за мной, она не замечала, что Петька тяжелый и мокрый, она все время повторяла:

— Я же не могла... он за бревно держался, он Петьку вытолкнул, а река — ты же знаешь...

Река была вздувшейся, громадной, по ней неслись бревна, части домов, какие-то ящики... Ни на берегу, ни в воде не было ни одного человека.

— Может, его выбросило на берег? — Я просто умоляла Шурку подтвердить, а она не смогла.

— Я видела — его голова, там, на середине, появилась и все...

Я взяла у нее Петьку, он устало плакал. Мы поочередно несли его на косогор. Уже наверху я спросила ее:

— Ты кричала?

— Ой, как я кричала! — ответила Шурка.

Я отдала ей Петьку.

— Согрей его, — сказала я.

— Я кричала — и никого, — повторила Шурка и ушла.

И тогда я решила, что к маме пока не пойду. Мне нужно поговорить с кем-то, кто захочет поверить.

Я пошла до станции.

Солдаты и дружинники разгружали из вагонов мешки. За путями, у стрелки, горел Огонек. Я увидела того лейтенанта, который говорил со мной вчера.

— Мне надо в Москву, — сказала я. — Обязательно. Может, я ошибаюсь. Но если я не ошибаюсь, тогда есть надежда.

— Поезда не ходят, — сказал он. — Ты же знаешь. И в Москве такие пожары...

— Тогда я вам скажу.

Его позвали, но он посмотрел мне в глаза и крикнул:

— Погоди, без меня!

А мне сказал:

— Говори, девочка.

И я ему сказала про совпадения. Про то, как увеличился Огонек, когда пришел Ким, про то, как он чуть-чуть уменьшился, когда я пришла от Сесе, как погас малыш, когда Холмик вытащил Петьку, а сам не мог выбраться из реки.

Мы с лейтенантом добрались до Москвы на его «газике».

И я все это повторила здесь.

Я знаю, что есть надежда. Никто раньше об этом не догадался, потому что не искал связи между нами и Огоньками. А если нет надежды, ее надо искать там, где не искали.

Нет, я не могу остаться здесь. Холмика нет, и некому даже напоить Сесе. Вы просто не представляете, какой он человек.

И мама, наверно, уже с ума сходит.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>История и фантастика</i>	5
-----------------------------------	---

Часть первая. Возможное прошлое

• Космический десант	9
• Красный олень — белый олень	17
• Братья в опасности!	28
• Агент царя	33
• Эдисон и Грубин	37
Звенящий кирпич	40
Диалог об Атлантиде	46
Апология	51
Садовник в ссылке	57
• Можно попросить Нину?	70
Дискуссия о звездах	83

Часть вторая. Невозможное будущее

• Перпендикулярный мир	97
• Спасите Галю!	159
Титаническое поражение	182
• Тревога! Тревога! Тревога!	193
• Тише, простой марсианин!	203
• Районные соревнования по домино	214
Последние сто минут	222
• Старенький Иванов	232
Мамонт	242
• Показания Оли Н.	299

**Кир Булычев
(Игорь Всеволодович Можейко)**

ИЗБРАННОЕ

Том 2. Тиран на свободе

**Составитель А. Алексеев
Редактор А. Аникеев
Художник Б. Жутовский
Художественный редактор Т. Сологуб
Технический редактор А. Сливко-Кольчик
Корректор Г. Асланянц**

**Подписано к печати 25.11.92. Формат 60х84 1/16. Гарнитура „Таймс”.
Усл. печ. л. 20,0. Уч.-изд. л. 19,6. Тираж 25 000 экз. Заказ № 278.
Цена договорная.**

**ПП „Чертановская типография” МГПО
113545, Москва, Варшавское шоссе, 129а.**

